

А З Е Ф

РОМАН ГУЛЬ

РОМАН ГУЛЬ

А З Е Ф



РОМАН ГУЛЬ

А З Е Ф

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

ИЗДАНИЕ 4-е ИСПРАВЛЕННОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСТ». НЬЮ-ЙОРК. 1974

COPYRIGHT © 1974 BY ROMAN GOUL
New York
All rights reserved

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Книга «Азеф» это — переработка моего романа «Генерал БО». Об истории этого романа и о том, почему я его сейчас выпускаю, я хотел бы сказать. По-русски первым изданием в двух томах «Генерал БО» вышел в Берлине в 1929 году в издательстве «Петрополис». Книга быстро разошлась. В том же году «Петрополис» выпустил второе издание в одном томе. «Генерал БО» имел успех и на иностранных языках. В 1930 году он вышел по-немецки,¹ по-французски,² по-латвийски³ и двумя изданиями по-английски, в Англии и Америке.⁴ В 1931 году роман вышел по-испански.⁵ В 1932-м — по-литовски⁶. В 1933-м — по-польски.⁷ Кроме изданий книгами «Генерал БО» печатался в нескольких иностранных газетах.

¹ ROMAN GUL. *Boris Sawinkow. Der Roman eines Terroristen.* Autorisierte Uebersetzung von F. Frisch. Paul Zsolnay Verlag. Berlin—Wien—Leipzig. 1930.

² ROMAN GOUL. *Lanceurs de bombes. Azeff.* Traduit par N. Guterma. Librairie Gallimard Paris. 1930.

³ ROMANS GULS. *Kaujas organizācijas generalis.* Romans. Ar autora atļauju tulkojis Valdis Greivins. A. Gulbia Romanu bibliotēka. Rīga. 1930.

⁴ ROMAN GUL. *General Bo.* Authorised Translation by L. Zarine. Edited by Stephen Graham. Ernest Benn Limt. London. 1930.

ROMAN GUL. *Provocateur.* A Historical Novel of the Russian Terror. Authorised Translation by L. Zarine. Edited with an Introduction by Stephen Graham. Harcourt, Brace and Company, New York. 1930.

⁵ ROMAN GOUL. *Los Lanzadores de bombas. Azeff. Savinkov.* Traducido por Amando Lazaro y Ros. Zevs Editorial. Madrid. 1931.

⁶ R. GUL. *Sprogstancios bombos.* Romanas. Pirmoji Dalis. Verte P. Kezinaitis. Kaunas. 1932.

⁷ ROMAN GUL. *General Bo.* Powiesc. Przełożyła z rosyjskiego Halina Pilichowska Towarzystwo Wydawnicze "Rój", Warszawa. 1933.

и при первом чтении ее, двадцать лет тому назад. Это был «Азеф» Романа Гуля. О Романе Гуле я мало знаю. В то время наши издатели еще не подражали своим англо-саксонским коллегам, у которых есть хорошая привычка давать на суперобложке биографические данные об авторах. Всё что я знаю, это то, что Роман Гуль — русский, что он был в Пензенской гимназии товарищем Тухачевского, маршала, возглавлявшего Красную армию и расстрелянного в 1937 году, биографию которого Гуль написал, и что Гуль жил в Париже.

Исторический документ и одновременно произведение искусства

Но я помню, как Мальро очень высоко оценил «Азефа». Часто говорят, о критическом чутье Андре Жида и недостаточно — о чутье Мальро, этого тоже большого открывателя талантов. Это Мальро поставил на должное (одно из первых) место американского романиста Дашиэля Хаммет, тоже неизвестного. Мальро так восторгался «Азефом» потому, что персонажи этого романа, русские социалисты-революционеры и террористы начала века были прототипами его героев из “*La Condition Humaine*”. Основное дело Азефа — убийство министра Плеве предвещает 1917 год, революцию в Шанхае и все последующие события, заставившие Мальро сказать, что мир начинает быть похожим на его книги. И именно в «Азефе» мы находим первые наброски этого мира.

Роман «Азеф» ценен потому, что эта книга пророческая: русский терроризм 1900-х годов — это начало пути к тем «Десяти дням, которые потрясли мир», и после которых мир никогда уже не пришел в себя. Это — романсированный документ с историческими персонажами, некоторые из которых были еще живы, когда книга вышла в свет. Могут сказать, что книги такого рода слишком еще близки к изображаемым событиям, чтобы не стать эфемерными, что последняя война породила такие же книги, как «Сталинград» Пливье, «Капут» Малапартэ, которые едва ли будут перечитываться, и что именно этим может быть объяснено и оправдано и забвение романа «Азеф». Ну да! Я всё это хорошо знаю. Такова судьба многих литературных свидетельств. Но «Азеф» это не только документальный роман, это и произведение искусства и искусства совершенного и очень личного.

Каждая глава романа разделена на отрывки, иногда очень короткие, несвязанные друг с другом, переносящие читателя

от одного лица к другому, с одного места на другое, и эти места совершенно разны, потому что русские террористы начала столетия много путешествовали: из Петербурга в Сибирь, из Женева — в Париж и в Москву. Этот прием напоминает «синхронизацию» Дос Пассоса, его же повторил и Сартр в «Путях к свободе». Но у Гуля этот прием совсем не отнимает художественной тонкости и всегда мотивирован содержанием романа. Это единство того, о чем писатель рассказывает с тем, как он об этом говорит, характеризует Гуля, как большого романиста. Роман Гуля тоже мастерски владеет даром описания, всегда объективного и острого. В его романах множество подробностей, но никогда нет ничего лишнего. Это обилие связанное со скупостью средств изображения — другой признак мастерства.

Незабываемые фигуры

В «Азефе» есть совершенно незабываемые фигуры. Сам Азеф, огромный, тучный, гнусавый, на тонких ногах, с маленькими руками и ступнями; Азеф — глава террористической организации и одновременный агент полиции; Азеф, распределяющий в своих тонких расчетах, какие покушения он проведет и какие выдаст Охране; Азеф — совершенное воплощение отталкивающего образа двойного агента. Это тип людей, которых теперь мы узнали в бесчисленных вариантах. Только своим чудовищным обликом Азеф превосходит всех этих эпигонов второй мировой войны. Он положил начало этому типу двойных агентов, по крайней мере, если не в истории, то в литературе.

Борис Савинков — глава боевой организации, фигура привлекающая не меньшее внимание, чем и фигура Азефа. Его маскарад в заговоре на Плеве, его перевоплощение в элегантного, богатого англичанина, представителя британской велосипедной фирмы. Он — дэнди, дилетант и в то же время убежденный революционер. Он любит женщин и ночные кабаки. Это тип бунтаря-дворянина, возненавидевшего класс, к которому он должен бы был принадлежать по своим вкусам. Он упорен в революционной борьбе и скептик относительно целей революции. Он не идеалист, как его товарищи по террору, которые все более или менее романтики. И всё же он не нигилист. Это тонкая, сложная и яркая натура... Борис Савинков это "L'homme révolté" Камю.

Другие многочисленные действующие лица романа показаны не менее живо. У каждого свой характер, свой мир идей, свои мечты. Достижение автора не умаляется тем, что он взял материалом романа действительность. Он не исказил ее и сумел создать художественные образы. Но если бы даже автор дал нам только образы Азефа и Савинкова, которые он превратил в человеческие «типы» Роман Гуль вполне заслужил бы того, чтобы не быть забытым.

Интересно, как бы встретила публика переиздание «Азефа».

Christian Mégret

*«Глухо стукнет земля,
Сомкнется желтая глина
И не станет того господина,
Который называл себя я».*
Б. Савинков

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Едучи с Николаевского вокзала по Невскому, Борис Савинков улыбался. Он не знал — чему? Но не мог сдерживать улыбку. Потому, что улыбался он открывающейся жизни. Возле Александровского сада Савинков, оглянувшись, увидел темнобурый Зимний дворец, во всем его расстрелиевском великолепии, озаренный солнцем.

2

Во дворце, в кабинете императора, выходящем окнами на Неву, статс-секретарь Вячеслав Константинович Плеве докладывал о мерах к подавлению революционного движения в стране. Император знал, что именно он, Плеве, будучи директором департамента полиции раздавил революционеров.

У статс-секретаря умное лицо. Топорщащиеся усы. Энергический взгляд. Плеве докладывал императору быстро, горячо говоря. Но Плеве казалось, что император, не слушая, думает о постороннем.

Император кивал головой, задумчиво говорил: — Да, да. И снова забывал голубые глаза на твердом лице статс-секретаря.

3

Извозчик ехал по Среднему проспекту Васильевского острова. Глядя по сторонам, Борис Савинков увидел явление, на бечевке спускающееся с балкона третьего этажа серого, запущенного дома. Савинков, указав на него, ткнул извозчика в спину.

По высокой, винтовой, полутемной лестнице он поднялся на третий этаж. Пахло запахами задних дворов. Но дома на Среднем все одинаковы. И Савинков дернул пронзительно заколебавшийся в доме звонок.

Дверь не отворялась. За ней даже ничего не было слышно. Савинков дергал несколько раз. Но когда хотел уж уйти, дверь порывисто распахнулась. Он увидел господина в пиджаке, без воротничка, с безумными глазами. Минуту господин ничего не говорил. Потом произнес болезненной скороговоркой:

— Что вам угодно, молодой человек?

— Тут сдается комната?

Человек с сумасшедшими глазами не мог сообразить сдается ли тут комната. Он долго думал. И повернувшись, пошел от двери крикнув:

— Вера, покажи комнату!

Навстречу Савинкову вышла девушка, с такими же темными испуганными глазами. Она куталась в большую шаль.

— Вам комнату? — певуче сказала она. — Пожалуйста проходите.

— Вот, — проговорила девушка, открывая дверь.

Комната странной формы, почти полукруглая. Стол с керосиновой лампой, кровать, умывальник. Савинков заметил в девушке смущение. «Наверное комнат никогда не сдавала».

— Сколько стоит?

— Пятнадцать рублей, но если вам дорого...

Девушка, смутившись, покраснела.

— Нет, я беру за пятнадцать, — сказал Савинков.

— Хорошо, — и девушка, взглянув на него, еще больше смутилась.

4

Императорский университет показался Савинкову муравейником, в котором повертели палкой. Съехавшиеся со всей России студенты негодовали потому, что были молоды. В знаменитом коридоре университета горела возмущением толпа. Варшавские профессора послали министру приветствие по поводу открытия памятника генералу Муравьеву, усмирителю польского восстания. И от давки, волнения, возмущения, Савинков чувствовал, как внутри у него словно напрягается стальная пружина. Он протискивался в аудиторию. Вместо профессора Фан дер Флита на кафедру взбежал студент в русской рубашке с закинутыми назад волосами, закричав:

— То-ва-ри-щк!

Савинкова сжали у кафедры. Он видел, как бледнел оратор, как прорывались педеля, а студент кричал широко разевая рот. Аудитория взорвалась бурей аплодисментов молодых рук. У Савинкова похолодели ладони, внутри острая дрожь. Взмыв на кафедру, он крикнул во все легкие: — Товарищи! — и начал речь.

5

За окном плыла петербургская ночь. От возбужденья речь, толпой, Савинков не спал. Возбужденье переходило в мысли о Вере. Она представлялась хрупкой, с испуганными глазами. Савинков ворочался с боку на бок. Заснул, когда посинели окна.

Утром Вера проводила теплой рукой по заспанному лицу, потягивалась, натягивая на подбородок одеяло. За стеной кашлял Савинков.

— С добрым утром, Вера Глебовна, — проговорил весело в коридоре.

— С добрым утром, — улыбнулась Вера, не зная почему, добавила: — А вы вчера поздно пришли?

— Да, дела всё.

— Я слышала, выступали с речью в университете — и не дожидаясь сказала: — Ах, да, к вам приходил студент Каляев, говорил, вы его знаете, он сегодня придет.

— Каляев? Это мой товарищ по гимназии, Вера Глебовна.

Смутившись под пристальным взглядом, Вера легко заспешила по коридору. А когда шла на курсы, у Восьмой линии обдал ее снежной, за ночь выпавшей пылью сине-кафтанный лихач. И эта снежная пыль показалась Вере необыкновенной.

6

Студент Каляев был рассеян. Долго путался в линиях Васильевского острова. Даже на Среднем едва нашел нужный дом.

На столе шипел самовар. Горела лампа в зеленом, бумажном абажуре. Савинков резал хлеб, наливал чай в стаканы, слушал Каляева.

— Еле выбрался, денег, понимаешь, не было, уж мать где-то заняла — с легким польским акцентом говорил Каляев.

— С деньгами, Янек, устроим. Университет, брат, горит! Какие сходки! Слыхал о приветствии профессоров?

У Каляева светлые, насмешливые глаза, непохожие на быстрые, монгольские глаза Бориса. Лицо некрасиво, аскетически-худое.

— Рабы... — проговорил он.

— Единственная революционная организация это — «Касса». Я войду и тебе надо войти, Янек.

Каляев был задумчив, не сводя глаз с абажура, он сказал:

— Вот я ехал сюда в вонючем вагоне, набит доверху, сапожищи, наплевано. Всю ночь не спал. А на полустанке вылез, — тишина, рассвет, птицы поют, стою у поезда и всей кожей чувствую, до чего жизнь хороша!.. а приехал — памятник Муравьеву, жандармы, нагайки, — Каляев махнул рукой, встал, заходил по комнате.

Над ночной стеной серых, грязных домов, в петербургском небе горело несколько звезд.

— Горят звезды, — тихо сказал Каляев, глядя в окно, — в небе темно, а звезды всё-таки есть. Горят и не гаснут.

Савинков, смеясь, обнял его.

— Ты поэт, Янек! Хочешь прочту тебе свое последнее стихотворение?

В зеленоватом, от лампы, сумраке Савинков закинуто встал, зачитал отрывисто:

«Шумит листьями
Каштан
Мигают фонари
Пьяно.
Кто то прошел бесшумно
Бескровные бледные лица
Ночью душной в столице
Ночью безлунной
Полной молчанья
Я слышу твои рыдания
Шумит листьями
Каштан
Пьяно,
А я безвинный ищу оправданья».

— Хорошо, по моему, — улыбаясь сказал Каляев. — Знаешь кого я люблю?

— Кого?

— Метерлинка.

Вера знала его быстрые шаги по коридору. Знала, что торопливо отпирает дверь. Савинков знал, почему торопился со сходки. Поднимаясь, внутренне проговорил: — «В окне свет». — Войдя, услышал: — Вера поет вполголоса за стеной. И чем слышней пела Вера, тем сильнее хотелось ее видеть.

Мотив кончился. Потом возник. Савинков услышал: мотив пошел в столовую. Снова стал приближаться. Когда был у двери, Савинков распахнул:

— Как вы напугали — вздрогнула Вера.

Движение было: поддержать. Савинков сказал:

— Я только что пришел, зайдите, Вера Глебовна, посидим.

Вера волнения его не видела.

— Вы сегодня не ходили на курсы?

— Почему?! Была.

— Ах были? Слушали Лесгафта, он любимец курсисток...

— О Петре Францевиче так стыдно говорить.

— Почему?

С Шестой линии со звоном, грохотом, вывернувшись, загремели пожарные. На далекой каланче запел жалобно набат. Вера обрадовалась пожару, чтоб встать. Подойдя к окну, сказала:

— Пожар.

— Да.

В темноте, среди белого снега, с факелами, по улице скакали пожарные. Бежали люди. Сзади смешно ковыляла толстая женщина с палкой.

— Где-то горит, — проговорил Савинков. Вера чувствовала, он так близко, что нельзя обернуться. Вера не успела подумать, хотела закрыть глаза, вырваться, повернуться. Вместо этого — закружилась голова. Савинков, держа ее, целовал глаза, щеки, руки. Вера почувствовала запах одеколона. Что говорил, не разбирала. Видела что бледнеет, став необыкновенно близким. И, почувствовав, что под шопот падает, Вера закрыла глаза. Не испытывая счастья, обхватила его за плечи.

На Подъяческой у курсистки Евы Гордон бушует собрание. Комната тяжело дышит дымом. Но квартира без-

опасна. Потому так и спорят члены кружка «Социалист». Брюнетка с жгучим семитским профилем, Гордон стоит у двери. Посредине жестикулирует марксист-студент Савинков, требуя политической борьбы, сближения с народниками. Слушает рабочий Комай, упершись руками в колена, с лицом, словно вырубленным топором. Курит студент Рутенберг. Поблескивает черным пенсне краснорыжий человек средних лет с лошадиным, цвета алебаstra, лицом М.И. Гурович, сидит он возле рабочего Толмачева, смуглого цыгана ращепившего складкой переносицу, чтобы лучше понять Савинкова.

Савинков говорит о борьбе, о терроре. Приливает к сердцу Толмачева тоска. Хлопает в мозолистые ладоши. И Гурович аплодирует, крича:

— Правильно!

— Товарищ Гурович, тише! — машет хозяйка, — вот уж какой вы, а еще старший.

— Ах, что вы товарищ Гордон!

— Правильно, Борис Викторыч! — кричит Комай. Савинков протягивает руку за остывшим чаем. Но руку горячо жмет Гурович.

— Удивительно говорите, большой талант, батюшка, — отечески хлопает по плечу.

— Расходитесь, расходитесь товарищи...

— Не все сразу.

— Вам на петербургскую, товарищ Савинков?

Савинков и Гурович выходят с Подъяческой. Оба чувствуют, как было накурено в комнате. Охватила сырость ночных мокрых тротуаров. А Ева Гордон открывает окно. И зелено-синим столбом тянется дым кружка «Социалист» вверх, в побледневшую петербургскую ночь.

9

Из-за Невы бежал синеющий рассвет, дул крепкий приневский ветер, Гурович в темносинем халате с пушистыми кистями сидел, задумавшись, в кабинете. Эту весну он решил провести в Крыму. Лицо было сосредоточено. Он что-то обдумывал. Потом на листе ин-фолио вывел — «Директору департамента полиции по особому отделу».

Просторная квартира выходила на набережную. Нева просыпалась. В елизаветинские окна врывалось солнце, заливая Гуровича за столом ярким светом.

Вера была счастлива. Брак с Борисом иначе нельзя было назвать. Но всё же малым углом сердца хотела большего. Больше ласки, участия, ждала тихих слов, чтоб в любви рассказать накопившееся.

— У меня нет жизни без тебя, Борис.

Савинков смотрит, улыбаясь. Думает: женщину трудно обмануть, она по своему слышит мужчину.

— Ты, Борис, меня меньше любишь, чем я тебя. Ведь когда ты уходишь, у меня замирает жизнь. Ты даже не представляешь, как я мучусь, боюсь, когда ты на собраниях.

— Впереди, Вера, еще больше мучений. Я ведь только начинаю борьбу.

— И я пойду с тобой. Разве не было женщин в революции?

— Женщины в революции никого не любили кроме революции, — говорит Савинков, блестя монгольскими углами глаз.

Каляев сегодня был бледнее обычного. Худые плечи, прозрачные глаза, скрещенные, похожие на оранжерейные цветы, руки с тонкими кистями. Он казался Савинкову похожим на отрока Сергея Радонежского с картины Нестерова. Каляев задумчиво забывал в пространстве светлые глаза. Говорил Савинков.

— Янек, хочется дела — расхаживал он по комнате. — Хочу практики, я, Янек, не люблю теории, живой борьбы хочу, чтобы каждый нерв чувствовал, каждый мускул, вот я и против тех, кто в нашей группе придавлен экономизмом, отрицает необходимость борьбы рабочих на политическом фронте. Возьми вог «Рабочую мысль», ведь читают с жадностью, даже пьяницы, старики читают. Задумываются, почему, мол, студенты бунтуют? Стало быть нельзя смотреть на рабочего, как на дитя. У него интересы выше заработной платы. А у нас не понимают, поэтому отстают от стихийного подъема масс. А подъем, Янек, растет на глазах. И горе наше будет в том, если мы, революционеры, не найдем русла по которому бы пошла революция. Ты знаешь, вот Толмачев, молодой красавец слесарь, рассказал я им на Александровском сталелитейном о народовольцах-террористах. Едем с завода, а он вдруг — эх, Борис Викторович, как узнал я от вас, что в Шлис-

сельбурге еще 13 человек сидят — душа успокоиться не может! — Чем это кончится? Бросит такой Толмачев кружки наших кустарей, выйдет на улицу и всадит око-лодочному нож в сердце!

Вера любила, когда горячился Борис. Он действительно походил тогда на барса, как смеясь говорил Каляев: — «ходил как барс, по слову летописца».

Савинков резал комнату большими шагами.

— Ты о чем, Янек, думаешь? — проговорил, остано-вившись.

Каляев поднял нервное лицо, сказал:

— Разве не стыдно сейчас жить? Разве не легче уми-рать, Борис, и даже... убивать?

12

Жандармский ротмистр близко нагнулся к карточке на двери, был близорук. Потом рванул звонок четыре раза, не оборачиваясь на солдат.

Савинкову показалось — потоком хлынули жандармы, а их было всего четверо. Ротмистр с злым, покрытым бле-стящей смуглью, лицом шагнул на Савинкова.

— Вы студент Савинков? Проведите в вашу комнату.

В комнате, опершись руками о стол, стояла бледная Вера.

— Проститесь с женой.

Сдерживая рыдания, обняв Бориса, Вера не могла ото-рваться от его холодноватых щек. Но лишь — взглянула. Он ответил взглядом, в котором показались любовь и неж-ность.

Находу застегивая черную шинель золотыми пуговица-ми с орлами, Савинков вышел с жандармами. Вера слыша-ла шаги. Видела, как тронулись извозчики. Наступила ка-кая-то страшная тишина. И Вера, рыдая, упала на кровать.

13

Ночь была теплая, весенняя. Город таял в желтом паре фонарей. Прямые улицы, бесконечные мосты в эту ночь стали прямее, бесконечнее. Савинкову казалось, жандарм едет с закрытыми глазами. На Зверинской обогнали весе-лую компанию мужчин и женщин. Оттуда летели визги. Савинков видел: — путь в Петропавловку. «Ничего не на-шли, неужели провокация?» — думал он. Извозчик поехал по крепостному мосту.

Савинков вздрогнул, перекладывая ногу на ногу.

— Холодно? — спросил жандарм.

Из темноты выступили мрачные здания, кучи кустов, «как в театре» — подумал Савинков. Вырастали бездвижные силуэты часовых. Они слезли с пролетки. Шли по двору крепости. Желтый свет фонарей освещал лишь короткое пространство.

От ламп в конторе Савинков закрылся рукой.

— Пожалте — сказал офицер.

Савинков пошел по длинному коридору.

— Сюда — сказал голос.

Савинков вошел в темноту камеры. И дверь за ним замкнулась.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В детской братьев Савинковых, на карте Европейской России, Вологодская губерния была розового цвета. На уроках отечественной географии не нравилось Борису Савинкову слово «Во-лог-да». Было в нем что-то холодное, розовое, похожее на тундру и клюкву.

А теперь ссыльный Савинков идет по Вологде. Скрипит на морозе деревянный тротуар. На Галкинско-Дворянской, где живет он в доме костела, даже тротуара нет. Можно утонуть в пушистых сугробах. Краснорожие мальчишки-воложане, похожие на анисовые яблоки, возятся день-деньской с салазками против дома.

Политикантишке, как зовут северяне-туземцы ссыльных, не пристало, конечно, рассуждать об обычаях Вологды. Чай тут пьют с блюдечка, при этом свистят губами, словно дуют в дудку. Город хлебный, рыбный, лесной.

Это не Москва и не Петербург, где агитаторы, студенты, рабочие, интеллигенты. Тут тишь да гладь. Северный, суровый край Вологда.

И всё-таки много хлопот губернатору графу Муравьеву. Со всей империи шлют сюда поднадзорных. Сколько нужно полицейских чинов, чтобы только по утрам поверять: — все ли целы.

К Савинкову в дом костела ежедневно приходит стражник Щукин. И каждую минуту говорит: — Здравствуйте, господин Савинков.

— Здравствуй, Шукин.

Переминается у порога дегтем смазанными сапогами Шукин, хмыкает. Он добродушен, это видно по усам.

— Видишь, никуда не убежал.

— Да куда тут, господин Савинков, бежать. Леса. Лесами куда убежишь? Да и бежать чего, живете дай Бог всякому. Прощайте, господин Савинков.

— Прощай, Шукин.

Но только вначале был доволен Вологдой Савинков. Когда отдыхал, когда вернулся голос, после девяти месяцев крепости ставший от молчания похожим на голос кастрата. Теперь всякий шум не казался громовым, как в звенящей тишине тюрьмы. Но всё скучней и скучней становилось ему в вологодских снегах.

Как-то, идя в глубоких ботах по Галкинской-Дворянской, Савинков решил: бежать. Думал в Вологде о многом. Но больше всего об одном выстреле. И чувствовал необыкновенное, захватывающее волнение.

В переданном тайно письме описывали, как в вестибюль Мариинского дворца вошел высокий министр Сипягин в теплой шубе с воротником. За ним следом в адъютантской форме с пакетом — красивый юноша-офицер. Передавая пакет Сипягину от великого князя, офицер выпустил пять пуль в министра. Тучный министр Ванновский сбегая на помощь Сипягину по лестнице, кричал: — Негодяй! Раздеть! Это не офицер, это ряженный!

Савинков шел по потухающим вологодским улицам. Улицы мертвые, тихие. Огни вогнаны в натопленные спальни, в опочивальни, в гостиные с плюшевыми креслами в пуговичках, с граммофонами, качалками, с чаем с малиновым вареньем, с шафраном, шалфеем, с хлебным квасом.

2

По России народнической агитаторшей тогда ездила бабушка русской революции Катерина Брешковская. В Уфе видалась она с Егором Сазоновым. В Полтаве с Алексеем Покотиловым. В Саратове, Киеве, Курске, Полтаве, Каме-нец-Подольске, Царицыне, Варшаве — везде побывала властная, старая каторжанка, вербуя партии новые силы.

В Ярославле виделась с ссыльным Каляевым. Он передал ей письмо Савинкова. Брешковская была на пути в Вологду, где становилось Савинкову невыносимо жить.

Мерещился выход на сцену, залитую миллионами глаз, блистала и смерть и слава.

Савинков распечатывал телеграмму.

«Приеду пятницу. Вера».

Савинков забыл о Вере. Правда, писал ей, что кругом сука, бело, что в голове бродят стихи. Но он не ждал ее.

А как ехала, как волновалась Вера! Всё выходила из продымленного табаком вагона с розлитыми по полу чаем и детской мочей. Но не потому, что пищали кривоногие дети, топочась по полу мчащегося вагона, и надоели священник с попадьей пившие девятый чайник. Вера выходила, мысли не укладывались в хрупкой голове, поднимали со скамьи.

Стоя у окна, Вера чувствовала, как волнение за Бориса сплетается с волнением за дочь. Но от чувства к Борису в углу груди билось крылом, учащалось сердце. И Вера всматривалась в окно: неслись темные ели, на порубе широкой плешью пролетел лесопильный завод с ходящими там людьми, которых Вера никогда не увидит.

От налетавшего ветра Вера прикрылась рукой, не попала бы в глаз гарь. Вспоминала монгольские, скошенные глаза. «Ах, Борис, Борис».

Рубленные дома рванулись вихревой лентой, кругом зашумел воздух. С закрытыми глазами можно было узнать, что поезд мчится сквозь строения. На красном казенном здании: «Товарная станция Вологда». Летят мимо люди, ели, дрова, шпалы, розовые штабели кирпичей. Поезд заревел. И Вера увидела совершенно такую платформу, как себе представляла.

— Простите пожалуйста, — перед Верой стояла очень худенькая девушка, похожая на воробья, — вы к ссыльному Савинкову? вы его жена?

— Да, я Савинкова — и не в силах держать чемодан Вера опустила его.

— Борис Викторович просил вас встретить и проводить — заторопился, краснея, воробей — ссыльным запрещено у нас встречать на вокзале. Давайте чемодан.

— Ах, да что вы.

— Ну, понесемте вместе. Борис Викторович далеко от вокзала.

Подбежал широченный носильщик с бляхой на груди. Вера, смеясь, сказала:

— Возьмите пожалуйста, нам не под силу.

Вера села в широкие сани. Была рада, что носильщик веселый. Что буланая вятка веселая. И девушка веселая. А главное солнце весело разлилось пятном огненного масла в голубоватой прозрачности.

3

Савинков стоял у окна, смотря далеко в улицу, откуда должна была выехать Вера. Он думал, что в сущности Вера, конечно, хороший человек. На Галкинскую-Дворянскую вынырнула буланая голова вятки. Он сказал: — Вера. Действительно в санях была Вера.

Она не помнила, как вылезала, как шла по сеням. Помнила, как открыла дверь и бросилась к Борису.

— Ну, ну, Вера, ну, ну — смеясь, усаживал ее Савинков — у меня прежде всего дисциплина, умывайся вот тут, а потом — Анисья! — крикнул он — давайте-ка самовар!

Вера, как после сна, проводила рукой по лицу.

— Я всё не верю, что я у тебя, что это ты. Ты очень изменился.

— Полысел, постарел, но такой же «бесконечно милый»?

— Милый, милый, — шептала Вера.

Не стучась, черным валенком кухарка Анисья раопачнула дверь и тяжело ступая пятками, деревянно пронесла к столу самовар.

4

Где-то над Сухоной задержалось еще огненное солнце. А на сугробы улиц уж легли от домов тени.

Савинков и Вера шли по деревянным скрипящим тротуарам. Зимний сумеречный вечер тих. Снег потерял белизну, став синим. Над ним плывет благовест сорока церквей. И в зимнем воздухе неуловимо чувствуется весенняя талость.

— Вот ты здесь и мне ничего больше не надо. Я сама вся другая... Душа наполнилась. А без тебя всё казалось, что я пустая, кривобокая какая-то — смеется Вера. — А сейчас всё так хорошо.

Савинков смотрит в снег, курит папиросу, она раскуривается огоньком в синих сумерках.

— Если б ты знал только какая Танюшка чудная. Очень похожа на тебя. Какая это радость. Я теперь, знаешь, на нерожавших женщин смотрю с жалостью. Они все

кажутся мне несчастными и даже те, которые работают с вами, такие как Фигнер, Перовская.

— Это другие женщины. — Савинков отбросил папиросу в сугроб.

— Может быть. Когда мне в больницу принесли кормить девочку, я думала, что сердце не выдержит...

Савинков смотрел в тающую даль улицы.

— Как называется эта улица? Здесь такие смешные названия.

— Трехсвятительская.

В окнах Трехсвятительской пестрели абажурами керосиновые лампы.

— Как тут тихо.

— Вера, у меня есть дело.

Вере хорошо. Даже не вслушиваясь, смотря на проходившую в окне с лампой женскую фигуру, сказала:

— Да?

— На-днях ко мне приедет от эс-эров. Я решил бежать... за границу...

Они выходили на площадь. Из собора от вечерни густой толпой шли люди. Было видно в церковные двери, как тушили большую люстру. Вера хотела бы умолять, просить, уговаривать...

— Что ж... это бесповоротно?

— Я жду каждый день. Побег зависит от этого приезда и от погоды.

Дом костела, где жил Савинков, был темен. У калитки Вера сказала:

— Стало быть опять... одна...

Анисья в сенях вздувала лампу.

5

Когда утром постучали в дверь, Вера вздрогнула.

На пороге стояла плотная, старая, незнакомая, плохо одетая женщина. У нее было красное, обветренное лицо с грубоватыми чертами.

— Спасибо, голубушка — говорила женщина Анисье, кивая ей головой, пока Анисья не ушла.

— Борис Викторович Савинков? — сказала она.

— Да.

— В Баргузине морозы в 40 градусов — проговорила старуха.

«Что такое?», подумала Вера.

— Бывали, говорят, и сильнее — влибнулся Савинков.

— Ну, вот мы и знакомы! Катерина Брешковская — трясла она руку Савинкова. — Слыхали верно? а?

— Боже мой, ну, как же, Катерина Константиновна? Вот не думал.

Брешковская приложила палец к губам.

— Ушей-то за стенами нет?

— Ни-ни, всё спокойно, мы во флигеле. Моя жена, — сказал Савинков.

— Очень, очень приятно, тоже наша? Ну, конечно, конечно, — говорила бабушка.

— Прежде всего, Катерина Константиновна, вы, разумеется, с нами откушаете.

— От трапезы не отказываюсь, путь высок и далек, — смеялась бабушка.

Вера вышла на кухню. Идя, поняла, что эта высокая, стриженная старуха увезет ее счастье. «Зачем? Для чего?» Вере хотелось рыдать.

— Анисья, голубушка, — сказала она, — дайте еще тарелку и нож с вилкой.

Входя в комнату, услышала:

— Каляев вам передал? Янек? Ну, как он, бодр?

— Чудный, чудный — растягивая «у» говорила Брешковская.

6

Брешковская была весела, разговорчива, курила папиросу за папиросой. Вере было странно, что вот эта женщина и есть знаменитая бабушка русской революции. Брешковская много ела. Оставляя еду, обводила пронзительным взглядом темносерых глаз. — Так-то вот, батюшка, — говорила — не так-то это просто было после двух-то каторг да семилетнего поселения опять в борьбу да в жизнь броситься. В Забайкалье-то жила, в глуши, среди бурят. Степь кругом голая. О России ни весточки, так слухи одни, да всё тревожные. Всё старое, мол, забыто, огульно отрицается, марксисты доморощенные появились, все блага родине завоевать хотят, так сказать, механически, ни воля, мол, ни героизм не нужны, бабьи бредни, да дворянские фантазии. Да, да, батюшка, тяжело это было среди бурят-то узнавать, в степи-то, да не верилось, неужто ж, думаю, наше всё пропало, для чего же столько воли, да крови, да

жизней отдано? Не верилось... нет... нет — качала седой головой старуха, улыбаясь буравящими глазами.

— Вы когда же вернулись, Катерина Константиновна?

— По Сибири то, батюшка, в 1892 году, со степным бурятом Бахмуткой тронулась, через Байкал, ах, какая эта сибирская красота! ах, какая у нас, батюшка, могучая родина то! а? А в Москву прибыла только в 97-м. Разрешили тогда уж в Европейскую Россию приехать. Вот приехала, да чего скрывать с большим страхом приехала. Всё думаю неужто ж наше то всё погибло, неужто и молодежь то не наша. Пришла я в Москве на первое собрание, всякая там молодежь была, ну да марксистов то больше, стала говорить первую после каторги речь, а вышел плюгаш, мальчишка осмотрел меня с ног до головы, «да куда вы, говорит, старушенция, лезете, вашего Михайловского, говорит, давно Бельтов разбил. А процесс ваш 193-х был дворянским процессом. И Народная ваша воля была с пролетариатом не связана». Осмотрелась я — все молчат. Взяла свою сибирскую шапку с ушами, плюнула, да пошла прочь! А вслед мне барышня из самых модных кричит: — «Что это за Брежневщина, такая тут шляется!»

Брежневская отставила тарелку, крепко утерлась салфеткой, и, улыбнувшись, оказала весело:

— Да, да, батюшка, нелегко это всё было слышать. Ну да, теперь то уж иное дело пошло. У нас теперь сил то во сто крат больше, наша то закваска сильней оказалась, так то!

— Вы говорите о социалистах-революционерах?

— А о ком же? О них, о них, только смешно мне теперь когда везде так говорят — социалисты-революционеры. Ведь это же я назвала их так. Думали о названии. А чего тут думать? Говорю, постойте, вы считаете себя социалистами? Да. А считаете себя революционерами? Да. Ну так и примите, говорю, название — социалистов-революционеров. На этом и согласились. Так то, сударь, всё великое в миг рождается, — и бабушка раскатисто засмеялась.

— Да, да — прерывала молчание Брежневская. Вера поняла, что старуха ждет, когда Вера выйдет. Вера встала, вышла. Накинула шубу. С трудом отперла примерзшую щеколду. Завизжала калитка. Вера шла, не зная куда, закрываясь муфтой.

— Ну в чем же дело то? — понизив голос, подсаживаясь к Савинкову, начала бабушка. — Тоже марксизмом по-первоначалу то увлеклись? Да? А теперь захотелось волюшки да свободушки, распрямить крылышки, да? то-то!

Она не давала говорить.

— Да марксистская программа меня не удовлетворяет, Катерина Константиновна, во-первых, пробел в аграрном вопросе.

Брешковская кивнула головой.

— Во-вторых, жить и работать пропагандно тоже не по мне. Хочу террора, Катерина Константиновна, настоящего народовольческого.

— В террор хотите? — сказала, пристально взглядываясь в Савинкова. — Что ж, в добрый час, батюшка, чего же в сторонке то стоять, к нам, с миром надо работать. Решили рубить, чего ж тут взяли топор и руби. Только как же — отсюда то? Ведь за границу надо бежать?

— Конечно, — проговорил Савинков. — Не здесь же начинать. Настанет весна, убегу. Я уж обдумал.

Прищурившись, Брешковская вспоминала свой побег по тайге из Баргузина с Тютчевым.

— Ну, да — заговорила страстно и тихо старуха, — бегите, дорогой, бегите и прямо в Женеву к Михаилу Гоцу, там все наши сейчас, я сообщу, а вы перед побегом бросьте открыточку на адрес Бонч-Осмоловских, в Блонье, Минской губернии «поздравляю, мол, со днем рожденья».

Когда Вера вошла, бабушка рассказывала:

— Мы с Гоцем то сначала не поладили. Он мне говорит: — «все вы к крестьянству льнете, бабушка, а пора уж с этим кончать». Ну, а потом помирились. Вернулись? — обратилась бабушка к Вере. — А я вот видите всё сижу, никак выбраться не могу, да ведь редко доводится с такими людьми то как Борис Викторович поговорить, душу то отвести.

— Что вы, что вы, я очень рада, вы бы у нас переночевали, Катерина Константиновна.

Брешковская засмеялась.

— Ах, барынька, сразу видно что плохая вы конспираторша, да разве ж можно у поднадзорного мне каторжанке ночевать? Что вы, милая. Это раз было в Минске...

— начала новый рассказ бабушка, но мельком увидав часы, спохватилась.

— Ох, силы небесные, заболталась. Мне ведь с сегодняшним ночным дальше. Вот если б вы меня до вокзала проводили, Борис Викторович.

Брешковская поднялась. Когда вставала, Савинков заметил, что стара уж бабушка, пересидевшие кости подняла с трудом.

— Вы куда же сейчас, Катерина Константиновна?

— В Уфу. Там много народу. Есть и из марксистов, Ленин, Крупская. Только, ох уж не люблю, грешница, я этих механиков, не нашего поля ягоды, не нашего, — говорила бабушка, надевая сибирскую мужскую шапку с наушниками.

9

Началась весна. Снега пошли таять голубыми ручьями. В апрельский голубой день уехала Вера. Савинков ходил к пристаням говорить с архангельскими рыбаками, об Архангельске, о кораблях в Норвегию. Присматривался, нет ли подходящего. Даже пил с рыбаками водку в трактире Проскурятина. Но толком рыбаки ничего не рассказывали. А время шло. Ждать было трудно. Савинков без обдумыванья решил бежать в понедельник.

В широком, английском пальто, на рассвете вышел он из дому. Находу, в утреннюю свежесть сказал: «начинается».

На вокзале с чемоданчиком прошел в купе первого класса. Как бы отвернувшись, наблюдал в дверное стекло платформу, закрываясь «Новым Временем», пока не ударил третий звонок. Из отходящего поезда Савинков выскочил. На платформе в синих рейтузах ходил спокойно жандарм. Начальник станции медленно шел в служебную.

А навстречу уже побежали ели. Окно наполнялось прелею просыпающихся лесов. Свежесть мешалась с гаревом дудящего паровоза. Савинков был похож на англичанина, ехавшего на архангельские лесопильни.

Но когда рельсы стали раздваиваться и по сторонам замигали дощатые домики, у Савинкова екнуло сердце. «Не запереться ли в клозете, из окна буду видеть всю платформу?» Поезд шипел тормазами. «Ерунда», — сказал Савинков, идя по коридору.

В буфете I-го класса под пыльной пальмой Савинков крикнул: — Кофе и сухарей!

— Когда отходит пароход на Печеньгу? — спросил англичанин лакея, поднесшего кофе.

— На Печеньгу-с сегодня в 5.15.

— Через час?

— Так точно.

— Сколько езды до пристани?

— Минут пятьдесят.

Савинков бросил рыжий рубль и кинулся к выходу.

Извозчицья кляча вскачь шла по архангельской площади.

— Да скорей же! — кричал Савинков.

У пристани был виден дымивший трубами пароход с золотой надписью над клюзом «Император Николай I-й». По сходням шли люди. В касе, не торопясь, плавали пухлые руки барышни-кассирши.

— Скорей, барышня, пароход отходит!

Руки выкинули билет, отсчитывая сдачу.

За минуту до отхода, в давке, на сходнях Савинков скользнул на пароход.

«Запереться?» Савинков повернул ключ каюты. Минута длилась, как год. Низким, пронзительным гудом заревел «Император Николай I-й» и архангельские берега начали медленно отходить...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Центр партии социалистов-революционеров был у кресла Михаила Гоца. Гоц огонь и совесть партии. Худой, с вьющейся из-под шеи, добролюбовской бородой и библейскими глазами, Гоц несколько лет сидел в кресле. Кресло его возили на колесиках. Шестилетняя каторга Гоца началась избиением политических в Средне-Колымске. После избиения у Михаила Гоца появилась опухоль на оболочке спинного мозга.

Когда Савинков позвонил на женевском Бульваре Философов в квартиру Гоца, у кресла сидели: — теоретик партии с шевелюрой рыжих волос и косящим глазом

В. М. Чернов, Е. К. Брешковская и светлорусый студент с экземой на приятном лице Алексей Покотилов.

Входя, Савинкову показалось, что кто-то болен. И рыжий человек, очевидно, врач.

— Батюшки! Михаил Рафаилович! вот он беглец то наш! — бросилась Брешковская и с Савинковым крепко расцеловалась. — Вот он! — тащила его к креслу Гоца.

Гоц приподнялся, с улыбкой светящихся глаз смотря на Савинкова, протянул больную сухую руку.

Рыжий широкий человек отошел, не выражая никакого восторга.

— Да, не теребите его, бабушка, дайте умыться, прийти в себя, — ласково сказал Гоц. Покотилов поправил Гоцу подушку.

Умываясь в соседней комнате, Савинков слышал, как заговорил «врач».

— Ну, прощай, Михаил, тороплюсь — говорок был рядческий, быстренький с кругленькими великорусскими интонациями.

— Да куда ж ты, Виктор, он расскажет много интересного.

— Другой раз послушаю — засмеялся быстреньким смешком рыжий человек. И тяжелыми шагами вышел в переднюю.

Чувство Савинкова было, словно, он приехал в семью. И Катерина Константиновна не каторжанка, а действительно бабушка, вынувшая из комода мохнатое полотенце.

2

Облокотясь на ручку кресла, Гоц не сводил глаз с сидевшего перед ним Савинкова.

— Ваше имя Борис Викторович? — улыбался он. — Ну, вот что, Борис Викторович, хоть все мы тут свои, о делах поговорим завтра, выберем время, а сейчас расскажите беллетристику, как бежали, как всё это удалось. Вы когда из Вологды?

— Из Вологды 3-го — начала Савинков. Но в этот момент в комнату вошел невысокий шатен, в штатском платье, худой, в пенсне.

— А, Владимир Михайлович! Знакомьтесь, товарищ только что бежал из ссылки.

— Зензинов, — сказал молодой человек.

— Савинков.

— Да рассказывайте же, Бог с вами совсем! — затопилась Брешковская.

Савинкова никто не перебивал, он был изумительный рассказчик. Смешно обрисовал Вологду. Рассказал, как чувствовал себя до Архангельска англичанином. Как гнал извозчика, обещая дать по шее. Как его мучили пухлые руки кассирши. Тут все смеялись. Как заперся в каюте. Каково Белое море. Каковы норвежские фиорды. Как пришли таможенные чиновники, которых принял за жандармов. Тут опять все смеялись. Как поразили его норвежки грандиозностью форм. Гоц по-детски залиvisto захохотал, твердя: — «нет, это вы преувеличиваете, я в Норвегии бывал, это вам такие попались». — «Да, ей Богу, Михаил Рафаилович!» И семья с отцом Гоцем и бабушкой Брешковской радовалась, что прибежал талантливый, энергичный товарищ.

Было поздно, когда Савинков с Покотиловым и Зензиновым вышли из квартиры на Бульваре Philosophes.

— Мне всё кажется, я в Вологде, а это только так, — декорация. До того всё отчаянно быстро.

— Это далеко не Вологда, — сказал Покотилев.

— Ночевать пойдемте ко мне. Я тут недалеко — и в словах Зензинова Савинков ощутил уважение.

— Пойдемте, — сказал он. — Спать хочется чертовски.

3

На утро, когда Савинков опять пришел к Гоцу, Гоц сидел в медицинском кресле посреди комнаты.

— Как спали на новосельи? А? Лучше чем в Вологде с вашим Щукиным?

Савинков увидел при свете дня, как бледны руки Гоца, как немощно худое, мертвое тело. Живы лишь юношеские, еврейские глаза, взятые от другого человека.

— Бабушка говорила, вы хотите работать в терроре, Борис Викторович?

— Да, в терроре.

— Но почему же именно в терроре? — заволновался Гоц. — Это странно, почему не в партии вообще, если вы ей сочувствуете?

— Об этом говорить трудно, — сказал с заминкой Савинков и заминка Гоцу понравилась. — Если надо, я буду работать и в партии, но мне хотелось бы в терроре.

Блестящие глаза Гоца крепко навелись на Савинкова.

Савинков чувствовал: — он Гоцу нравится и Гоц ему верит.

— Давайте немножко повременим, Борис Викторович. Поживите в Женеве, познакомьтесь с товарищами, я поговорю с кем надо. А вам в первую голову надо познакомиться с Черновым и с «Плантатором» Иваном Николаевичем.

— Кто это «Плантатор» Иван Николаевич?

— А вы его увидите.

4

Теоретик партии социалистов-революционеров, изобретатель идеи социализации земли в России, Виктор Михайлович Чернов жил в Женеве. В части прекрасного швейцарского города, подходившей к озеру. Из кабинета Виктора Михайловича открывался живописный вид на синеголовые горы.

Правда, внутренность этого кабинета была не швейцарской. Газеты, книги заваливали стол. Пепельница переполнена окурками. В беспорядке лежали исписанные бисером листы рукописей, гранки «Революционной России». Над столом висел портрет Михайловского, с автографом.

Такую комнату можно было встретить и в Москве. Разве только особенностью ее было то, что прямо к портрету Михайловского прислонялись шесть удочек с закрученными лесками и красными поплавками.

Ежедневно после работы Виктор Михайлович удил окуней в Лемане. Клёв был хороший. Окуни радовали, что хоть они были такими же, как родные, тамбовские.

Когда Савинков вошел в комнату Чернова, за письменным столом сидел тот ширококостный человек, косматый, рыжий с косящим глазом, которого у Гоца он принял за врача. Но Савинков не успел сейчас сразу рассмотреть Чернова. Рядом сидел человек, привлечший всё его внимание.

Человек был грандиозен, толст, с одутловатым желтым лицом, и темными маслинами выпуклых глаз. Черепверху был сужен, лоб низкий. Глаза смотрели исподлобья. Над вывороченными, жирными губами расплющивался нос. Человек был уродлив, хорошо одет, по виду неинтеллигентен. Походил на купца. Но от безобразной, развалившейся в кресле фигуры веяло необыкновенным спокойствием и хладнокровием.

— А, здравствуйте, здравствуйте, молодой человек, — быстренько проговорил Чернов, вставая навстречу, и вели-

корусские глаза его скосились, не глядя на Савинкова. Рука, пожавшая руку Савинкова, была квадратна, короткопала.

— Михаил говорил о вас, говорил. Знакомьтесь.

Жирно развалившийся человек, не поднимаясь и не называя себя, подал в контраст с Черновым длинную руку с дамской ладонью. «Урод», пронеслось у Савинкова.

Савинков сел, им овладела неловкость, увеличившаяся тем, что, взглянув на толстого, он поймал каменный исподлобья взгляд, животом дышавшего человека.

— Что, Иван, на товарища так устался, — захохотал Чернов. — На что Касьян взглянет, всё вянет. Видишь, молодой человек смущается.

— Почему смущаюсь? Я вовсе не смущаюсь, — проговорил Савинков.

— Я пойду, Виктор, — сказал вдруг, поднимаясь, толстый. И, не глядя на Савинкова, пошел к двери.

— Что ж ты, пообедали б, ухой из окуньков накормил, не хочешь, пади в дорогую ресторацию с вином идешь? — похлопывая толстого по свисающим предплечьям говорил Чернов.

Савинков увидел, у толстого не по корпусу тонки ноги, всей необычайной грузностью он жиблется на тонких ногах.

— Ну, вот, — затворяя дверь, произнес Чернов. — Говорил Михаил о вас и я с вами потолковать хочу, дело то наше общее, артельное. Один горюет, артель воюет. Ну, вот, стало быть хотите работать у нас, в терроре, хорошее дело, молодой человек, хорошее, только надо уяснить себе какова эта работа. — Чернов распластал на столе большие руки и заговорил.

— Да, террор дело святое, кормилец, святое, товарищи работающие в нем отдают себя всецело. Учтите, молодой человек, духовные и телесные силы, кроме того подготовьтесь теоретически. Надо знать, что террор бывает тро-який, во-первых, эксцитативный, во-вторых, дезорганизу-ющий и в-третьих, агитационный. Если с одной стороны наша партия признает необходимым и святым все три вида террора, то всё же нельзя конечно понимать идею террора упрощенно.

В эту минуту вошла женщина с приятными чертами лица, несшая в руках салатник.

— Витя, — сказала она, — я вам вишни. — И поставила салатник между Черновым и Савинковым.

— Спасибо, Настенька! Ешьте, пожалуйста, молодой человек, берите, соединим, так сказать, приятное с полезным. — Необычайно быстро, словно семечки Чернов брал вишни, выплевывая косточки на блюдец. Значительно замедлив речь, Виктор Михайлович склонялся над салатником. Савинков видел, как толстые пальцы выбирают самые спелые ягоды, даже расшвыривает вишни, быстро говоря, Виктор Михайлович.

— Я, молодой человек, с своей стороны ничего против вашей работы в терроре не имею. Вас я не знаю, но рекомендации бабушки достаточно. Но если вы думали, что я заведу террором, так нет, ошиблись, не мой департамент. Я, так сказать, теоретик нашей партии, может что и читали, подписываюсь Гарденин. Что же касается террора, то вам придется потолковать, конечно, с Иваном Николаевичем, товарищем Азефом, благо вы и познакомились. Большой человек, большой. С ним и потолкуйте. Я поддержу, поддержу, да.

Доев вишни, словно кончив лекцию, Чернов встал и подал руку.

— Да, молодой человек, — говорил он, провожая Савинкова, — борьба требует святых жертв, ничего не поделаешь, должны приносить. Зайца, как говорится, на барабан не выманишь. Должны из любви к нашему многострадальному народу, да, — прощайте!

По женевской улице Савинков шел, покручивая тросточкой. — Занятно, — пробормотал он. Больше чем о Чернове думал он об «Иване Николаевиче». Странное чувство оставил в нем этот брюхастый урод на тонких ногах, с пудовыми черными глазами и отвислыми губами негра: — Азеф понравился Савинкову: — в уроде была сила.

5

Через три дня, идя по Большой Набережной, Савинков смотрел на белосиний Монблан. По озеру бежали гоночные лодки с загорелыми выгибающимися телами гребцов. Мальчишка-булочник в фартуке и колпаке, провозя в вагончике булки, поклонился Савинкову, как знакомому. День был горяч, душен. Придя домой, Савинков разделся, в белье лег на диван. Но вместо дум он почувствовал, как качается, плывет в дрёме тело.

Короткий звонок заставил его приподняться. На звонок не ответили ничьи шаги. Мадам Досье ушла в церковь. Савинков, накинув пальто, пошел к двери. Раздался второй звонок. Стоявший видимо решил достояться.

— Кто тут? — спросил Савинков, и, глянув в глазок, увидел темножелтое лицо и вывернутые губы Ивана Николаевича.

— Что это вы как конспиративны, в глазок смотрите, — гнусавым смешком пророкотал Азеф, идя по коридору. — Ах, да вы без порток, спали, что ль?

— Посидите, пожалуйста, я сейчас, Иван Николаевич.

Стоя у окна, Азеф смотрел на улицу. Бросил взгляд на стол, где лежали исписанные листы. Отойдя, тяжело сел в кресло, опустил голову. Он походил на быка, который может сорваться и пропороть живот.

Когда вошел Савинков, может длилось это час, может секунду: — Азеф смотрел на Савинкова, Савинков на Азефа. «Как из камня», — подумал Савинков.

— Мне говорили, вы хотите работать в боевом деле? — гнусаво произнес Азеф, — правда это?

Темные, беззрачковые глаза и всё выражение лица стали вдруг ленивыми, почти сонными. Азеф был в дорогом сером костюме. Ноги обуты в желтые туфли, галстук зеленоватый.

— Да, вам говорили правду.

— Почему же именно в боевом? — медленно повернул голову Азеф и глаза без зрачков, исподлобья уставились на Савинкова.

— Эта работа мне психологически ближе.

— Пси-хо-ло-гиче-ски? — процедил Азеф. И вдруг внезапно расхохотался высоким, гнусавым хохотом. — А вы знаете, что за эту психологию надо быть готовым к веревочке? — и Азеф чиркнул рукой по короткому горлу.

— Вы не курите? — раскрыл портсигар Савинков.

Азеф как-бы не заметил портсигара. Встал, раскачивая колоссальное тело на тонких ногах, прошелся по комнате. Савинков заметил, ступни, как и руки, маленькие. Азеф стоял у окна, глядя на улицу. Не поворачиваясь, проговорил гнусавым рокотом:

— Хорошо, вы будете работать в терроре.

Повернувшись, сказал неразборчиво:

— Беру только потому, что просил Гоц и бабушка,

так бы не взял, тут много шляется. — Не глядя на Савинкова подошел к столу. На столе лежали нелегальные брошюры: «Народная воля», «За землю и волю», Азеф, взяв одну, пробормотал:

— Ну, что, хорошие книжки?

— Да, как вам сказать...

— Эти книжки сделают то, что у России через несколько лет косточки затрещат, — гнусаво проговорил Азеф и, взяв мягкую шляпу, пошел к двери. У двери остановился.

— У вас деньги есть? — Вынув из жилетки две бумажки, кинул на стол. — Завтра в восемь, в кафе «Националь», я найду вас, — и мотнув бычьей головой без шеи, Азеф скрылся за дверью.

6

На Монбланской набережной в кафе «Националь» играл оркестр. Черными фрачными фалдами трепыхали лакеи. Веранда выходила на Женевское озеро. За озером виднелись далекие горы.

По озеру скользили яхты, лодки, пароходы. С озера тянул сыроватый ветер. За столиками, у перил пили какие-то напитки две мощеобразные англичанки. Были тут и французский писатель, и румынский министр, и два прусских офицера в штатском.

В сумерках и Азеф смотрел на играющую огнями воду. Он ни от кого не отличался, походя на директора какого-нибудь концерта. На безымянном пальце у него бриллиант. В белом костюме рядом с ним сидел элегантный молодой человек, по виду могший быть секретарем директора концерта.

Несколько наперев жирной грудью на стол, Азеф проговорил тихим рокотом:

— Вам скоро надо ехать в Россию. Ставим крупное дело. Послезавтра выедете в Германию, поживите, выведите, нет ли слежки. Если будете чисты, проедете в Берлин, а там, в воскресенье встретимся в 12 дня в кафе Бауер на Унтер ден Линден.

Англичанки чему-то смеялись. Толстый француз с тонкокурчавыми волосами читал «Матэн». Возле него мальчик с бледным личиком ел пирожное. Рыдала скрипка и в такт танцам Брамса в оркестре качался первый скрипач.

— Прекрасно, но если я иду на дело, не находите ли

вы, что мне надо знать несколько побольше, чем то, что вы сейчас сказали, — отпивая вино, проговорил Савинков.

— Если будете убивать, то не неизвестного, а определенное лицо, — лениво проговорил Азеф. В Берлине дам указания, явки, всё узнаете, — прогнусавил он, скучно осматривая террасу.

По террасе шла женщина, смуглая, черные волосы лежали взбитым валом, она походила на креолку.

— Не плоха? — улыбнулся в бокал Азеф. Эфиопские, мясистые губы расплылись в непонятное с первого взгляда.

— Вы женаты? Где ваша жена?

— В Петербурге.

— Скверно. За ней могут следить. Вы ей писали?

— Нет.

— Не пишите. Наверняка следят. Где она живет?

— На Среднем. А вы женаты, Иван Николаевич?

— Моя жена в Швейцарии, — нехотя ответил Азеф.

— Сегодня утром, — заговорил он. — Брешковская говорила, что какой-то Каляев придет к воскресенью в Берлин. Я с ним должен увидаться. Вы его знаете?

— Это мой друг.

— Вы думаете, он подходящ для нашей работы?

— Безусловно. Он едет только для этого. Берите его обязательно, Иван Николаевич.

— Я беру только того, кого считаю сам нужным взять.

Азеф помолчал. И вдруг улыбнулся засветившимися глазами, отчего всё его лицо приняло ласковое, почти нежное выражение.

Когда они шли по веранде, на них обращали внимание. В их фигурах был контраст. Савинков много ниже, худ, барствен. Азеф толст, неуклюж, колоссален, дышал животом.

7

— Хороший вечер, — проговорил Азеф. Савинкову показалось, что выйдя из кафе, Иван Николаевич стал проще и доступнее.

— Если с вами пошли по одной дорожке, а может еще и висеть вместе придется, — гнусаво говорил Азеф, — надо хоть поближе познакомиться. Вы ведь из дворян?

— Дворянин. А что?

— Я еврей, — улыбнувшись, сказал Азеф, — две боль-

ших разницы. Вы учились, кажется, в Варшаве? Ваш отец мировой судья?

— Откуда вы знаете?

— Гоц говорил. Только не понимаю, зачем вы пошли в революцию? Жили не нуждаясь. Могли служить. Зачем вам это?

— То-есть что?

— Революция.

Савинков коротко рассмеялся.

— А декабристы, Иван Николаевич? Бакунин? Ну, а Гоц? Он же ведь богатый? Вы странного мнения о революционерах.

— Исключения, — бормотнул Азеф.

— Ну, а зачем же вы в революции? Вы инженер?

Азеф мельком глянул на Савинкова.

— Я другое дело. Я местечковый еврей, не мне, так кому ж и делать революцию. Я от царского правительства видел много слез.

— И я видел.

— Что значит, вы видели? Видели одно, вы чужое видели. Я свое видел, это совсем другое. — Ну, да ладно. Мне пора. Стало быть не забудьте в воскресенье в 12 в кафе Бауер. — Простившись, Азеф повернул в обратную сторону.

Над Женевским озером, в тучах, выплыл матовый полулунок. Азеф не видел его. Он шел тяжело раскачиваясь. Возле знакомого кафе, на рю Жан-Жак Руссо, Азеф стал оглядываться по сторонам, ища женщину.

8

— Как рад, что зашли, — приподнялся в кресле Гоц. — Я назначил? Позабыл. Так устал, было собрание, но ничего, потолкуем.

Гоц был еще мертвенней и бледней.

— Вы были у Виктора и Ивана? Они говорили. На товарищей вы произвели прекрасное впечатление. Иван Николаевич берет вас к себе. Он разбирается. Он большая величина. Вам надо будет всецело подчиняться ему, без дисциплины дело террора гроша ломаного не стоит... Да, Иван Николаевич о вас очень хорошо отзывался. Стало быть завтра поедете. Кроме вас едут еще два товарища. Паспорта, явки, деньги, всё у Ивана Николаевича. В организационные планы и технику мы не входим.

Глядя на Гоца, Савинков думал: «нежилец, жаль».

— Ну, о делах вот собственно всё. Ваше желание исполняется, идете... — Гоц оборвал, любовно глядя на Савинкова: — молодого, перенесшего тюрьму, крепость, ссылку, теперь идущего на смерть.

— Вы знаете на кого?

— Предполагаю.

— На Плеве, — тихо сказал Гоц. — Вы понимаете насколько это необходимо, насколько ответственно? Ведь он нам бросил вызов, заковывает Россию в кандалы.

— Я считаю за величайшую честь, что выхожу именно на него.

— Может быть мы и не увидимся больше. Давайте останемся друзьями, вы можете сделать многое: вы смелы, образованы, талантливы, берегите себя, Борис Викторович. Скажите, вы ведь пишете? Вашу статью в № 6 «Рабочего дела» Ленин страшно расхвалил в «Искре». Знаете? Но статьи — одно. А у вас беллетристический вид. Скажите, не пробовали?

— Пробовал, — сказал Савинков. — Вот недавно написал.

— Что?

— Рассказ.

— О чем? Расскажите, это интересно! — заволновался Гоц.

— Выдумка из французской революции. Называется «Тоска по смерти».

— По смерти? — переспросил Гоц. — Тоска? Не понимаю. Расскажите.

— Сюжет простой, Михаил Рафаилович. В Париже 93-го года живет девушка, дочь суконщика. Отец ее влиятельный член монтаньяров, партия идет к власти, семья живет в достатке. Жанна весела, спокойна. Но вдруг однажды она подходит к окну и бросается в него. Все в отчаянии, не понимают причины самоубийства. Разбившуюся Жанну вносят в дом. Возле нее рыдает мать. Все спрашивают Жанну о причине, но Жанна на всё отвечает «я не знаю». А через несколько минут умирает и шепчет «я счастлива».

Гоц забеспокоился.

— Всё? — сказал он.

— Всё.

— Только и всего? Так и умерла? С бухты барахты бултыхнулась в окно? Неизвестно почему?

— Рассказ называется «Тоска по смерти».

— Я понимаю, — загорячился Гоц. — Но это же упадочничество! Здоровая девушка бросается в окно и говорит, что она счастлива.

— Может быть она была нездорова? — улыбнулся Савинков.

— Ну, конечно, же! Она у вас психопатка! Очень плохой сюжет. И как вы до этого додумались? Не знаю, может вы хорошо написали, но выдумали очень плохо. И зачем это вам, революционеру?

Гоц помолчал.

— Идете на такое дело и вдруг такое настроение. Что это с вами? У вас действительно такое настроение?

— Нисколько.

— Как же это могло взбрести?.. Знаете что, Борис Викторович, — помолчав, сказал Гоц, — говорят, у надломленных скрипок хороший звук. Это наверное верно. Но звучать одно, а дело делать — другое, — вздохнул Гоц. Я вас так и буду звать: надломленная скрипка Страдивариуса! А? А стихи вы пишете?

— Пишу.

— Прочтите чтонибудь.

«Гильотина — жизнь моя!

Не боюсь я гильотины!

Я смеюсь над палачом,

Над его большим ножом!»

— Вот это прекрасно, вот это талантливо! — радостно говорил Гоц. — Ну, идите, дорогой мой, — приподнялся он. — Увидимся ли только? Дай бы Бог.

Они крепко обнялись и расцеловались.

9

Над Берлином светило желтое солнце. В 12 часов в кафе Бауер на Унтер ден Линден не было никого. Сидели три проститутки, отпаивая усталую за ночь голову кофеем.

Пять минут первого в кафе тучно вошел Азеф. Не глядя по сторонам, сел к стене. Заказав кофе, он взял «Фоссише Цейтунг» и стал читать хронику.

Десять минут первого вошел Савинков, одетый по заграничному, вроде туриста. По походке было видно, что

жизнь он любит, нет забот и хлопот. Еще с улицы, сквозь стекло он увидал Азефа.

— Здравсти, садитесь. — Азеф отложил «Фоссише» в сторону, и, не поднимаясь, подал руку.

— Где вы были?

— В Иене.

— Почему же не во Фрейбурге? Ведь я же сказал вам во Фрейбург.

— А чем собственно Иена отличается от Фрейбурга? В следующий раз поеду во Фрейбург.

— Странно, — сердито сказал Азеф, — вы могли мне понадобиться. Ну, всё равно. «Хвостов» не заметили?

— Никаких.

— Уверены?

— Как в том, что передо мной мой шеф, Иван Николаевич.

Азеф отвел в сторону скуластую голову.

— Стало быть готовы к отъезду?

— В любую минуту.

— Сейчас, — Азеф вытянул часы, — придут двое товарищей, поедут вместе с вами. А в час, — гнусавым рокотом добавил, — должен быть Каляев.

— Неужели?

— Я не знаю, почему «неужели»? — сказал Азеф, снова взяв «Фоссише», рассматривая объявления, — говорю, что будет, я его еще не видал.

Азеф разглядывал объявления фирмы Герзон, изображавшие бюстхальтеры. Оторвавшись, сказал:

— Да, ваша партийная кличка «Павел Иванович». Запомните.

Стекло на окне на улицу, захватывавшее почти всю стену, было приподнято. Но воскресный Берлин тих. С улицы не шло никакого шума. Монументальный шутцман в синем мундире стоял на углу в бездействии. Изредка были видны его поднимавшиеся большие, белые перчатки.

Оглядываясь, в кафе Бауер вошли двое. Азеф шумно отложил газету. Савинков понял, товарищи по работе.

В одном безошибочно определил народного учителя. Борода клинушкой, глаза цвета пепла, жидкая грудь. Был худ, может быть, болен туберкулезом.

Другой, смуглый с малиновыми губами, с которых не

сходила полуулыбка, был выше и крепче спугника. Его руку Савинков ощутил, как чугунную перчатку.

Азеф заказывал обоим, не спрашивая о желаньях. Оба выражали фигурами незнание языка. Лакей смотрел на них снисходительно. Когда же он ушел, четверо налегли на стол грудью.

— Прежде всего, познакомьтесь, — гнусавой скороговоркой сказал Азеф, — товарищ Петр, Иван Фомич, Павел Иванович.

Товарищ Петр не стёр улыбки. Иван Фомич оглядел Савинкова.

— Вам я уже сказал явки, — обратился Азеф к Ивану Фомичу и Петру, — тебе, Павел Иванович, сообщу.

Савинков понял, перейти на «ты» нужно.

— Вы, Иван Фомич, едете завтра вечером через Александрово в Петербург, купите пролетку и лошадь, купите не дрянь и не рысака, а среднюю хорошую лошадку, задача — наблюдать выезды Плеве. Он живет на Фонтанке в доме департамента полиции. К царю ездит еженедельно с докладами. Вы легко сможете установить дни и часы выезда. Они обставлены такой охраной и помпой, что сразу узнаете. У него черная лакированная карета с белыми, кажется, спицами и гербом. За ним едут филеры на велосипедах, лихачах. Всё это должны наблюдать точно, сдавать наблюдения Павлу Ивановичу, он будет со мной в связи.

— А вы тоже едете в Петербург? — глухим голосом сказал Иван Фомич.

— Вас не касается, куда я еду, — лениво оборвал Азеф. — Вы держите связь с Павлом Ивановичем. Павел Иванович держит связь со мной и получает всё необходимое. Товарищ Петр, вы едете послезавтра вечером через Вержболово. В Петербурге в первые дни выправите в полиции патент на продажу в разнос табачных изделий. Обратитесь в полицейский участок. Лучше всего остановитесь в каком-нибудь ночлежном доме на Лиговке. Там разузнайте как быстрее, лучше выправить. Выправляйте за взятку, непременно, тогда сомнений не будет. Ивану Фомичу удобнее установить наблюдение непосредственно у Фонтанки. А вам надо попробовать с Балтийского вокзала. Плеве ездит с него в Царское. При правильности наблюдений вы совершенно точно установите дни, время и марш-

рут кареты. Тогда уж метальщики сделают нужное партии дело.

— А разве метальщиками будем не мы? — твердо проговорил Петр.

— Об этом рано говорить, — пророкотал Азеф. — Есть у товарищей ко мне вопросы?

— По-моему всё ясно, — сказал Савинков.

Азеф исподлобья скользнул по всем трем.

— Тогда нечего сидеть вместе, — пробормотал он. — Надо расходиться. Вы товарищи идите, а ты Павел Иванович останься. Вы помните точно поезда? Азеф вынул записную книжку. — Вы через Александрово завтра в 7.24 вечера. Вы на Вержболово в 12.5 послезавтра. Первая явка с Павлом Ивановичем будет на Садовой между Невским и Гороховой. На явку придет товарищ Петр.

— Так, — глухо сказал Иван Фомич.

Все пожали друг другу руки. Товарищ Петр и Иван Фомич вышли из широкого кафе Бауер. Было видно, как пошли и как пересеченные движением остановились недалеко от шуцмана в белых перчатках.

10

Когда Савинков с Азефом остались вдвоем, Азефу изменило спокойствие. Азеф казался взволнованным. Он тяжело сопел. Скулы скривились.

— Жаль будет, если не удастся, — проговорил он. — Вы как думаете, удастся?

— Думаю.

— Если не будет провокации, удастся, — сказал Азеф. — Как вам нравится товарищ Петр? Вы ему верите? Чорт его знает, я его слишком мало знаю. Трудно быть уверенным в людях, которых видишь пять раз в жизни. У него хорошие рекомендации, его рекомендует бабушка, она разбирается.

— Иван Николаевич, — проговорил Савинков, — всё удастся. Если Плеве уйдет от нас, не на нас кончилась Б. О.* От партии он не уйдет. Я уверен.

Азеф смотрел непроницаемыми беззрачковыми глазами. Трудно было понять выражение его лица. Глаза, казалось, улыбаются, любят, благодарят.

— Вы правы, — проговорил Азеф.

* Боевая Организация партии социалистов-революционеров.

Он посмотрел на часы.

— Странно, Каляева нет.

— Наверное плутает.

В это время Каляев, ругая себя за опоздание, и не догадываясь взять извозчика, бежал по Фридрихштрассе.

Савинков узнал бы его среди миллиона людей: та же легкая, молодая походка, насмешливые глаза, нервные жесты, странная улыбка.

— Янек!

Каляев бросился.

— Вы с ума сошли, — проворчал Азеф. — Ваши объятия обратят внимание, это не Россия.

Азеф хрипел, был взбешен. Чтоб скорей кончить разговор, проговорил быстрым рокотом, который уже знал Савинков:

— Мне сказали, вы хотите работать в терроре?

— Да, — громко сказал Каляев.

— Давайте говорить тише, — недовольно пророкотал Азеф, — почему именно в терроре, а не на другой работе в партии?

— Если у вас есть время, — заносчиво откидывая голову, признал, что он недоволен, сказал Каляев, — я вам объясню.

— Иван Николаевич, я знаю Янека с детских лет. Если я иду в террор, то мое ручательство...

Каляев вспыхнул. Глаза потемнели, его оскорбили.

— Сейчас, — равнодушно пророкотал Азеф, — мне люди не нужны. Возвращайтесь в Женеву. А если понадобится, я вызову.

— Я не могу вас ни в чем уговаривать, — еще заносчивей сказал Каляев, заносчивость подчеркнулась польским акцентом. — Я служу партии и делу освобождения России. Я буду работать там, где найду более нужным и целесообразным. — Каляеву изменило самообладание, оборвав, он глядел ненавистным взглядом на урода в сером костюме.

Азеф под взглядом Каляева отвел глаза.

— Стало быть, говорить нам не о чем, — резко зашумев стулом, встал Каляев. — Может, ты меня проводишь, Борис?

Когда они вышли, Азеф сидел еще минут десять.

«Zahleп», — махнул он лакею и, заплатив, тяжело поднялся.

Азеф шел по Унтер ден Линден, как купец в воскресенье, раскачиваясь находу. Встречные проститутки смотрели на него с удовольствием. Он был в дорогом костюме, с большим животом. Это их профессионально волновало.

— Янек, он тебе не понравился?

— Не понравился? — захохотал Каляев нервным глухим хохотом. — Я в жизни не видел отвратительней этого толстопузого купца. — Каляев был возбужден. На бледном лице выступили красные пятна. Его оскорбили в заветном, оттолкнули от дела жизни, от убийства во имя России, во имя любви Каляева к людям.

Извозчик въехал под каменные ворота Ангальтского вокзала. У вокзала, среди спешащих людей Савинков и Каляев крепко обнялись, прощаясь.

Красавец мужчина, бывший кавалерист, театрал-любитель, прозванный «корнетом Отлетаевым», волновался в Париже на рю де Гренель 79. Это был заведующий заграничной агентурой департамента полиции Леонид Александрович Ратаев. Даже не Ратаев, а Рихтер. Но Ратаев-Рихтер был далеко неглуп. А волновался потому, что в департаменте вилась сеть интриг, жалоб, сплетен, а от Азефа два месяца уже не было сведений.

Ратаев долго что-то обдумывал. Наконец стал выводить изящным почерком, отводя удары и сплетни департамента:

Дорогой Алексей Александрович!

Вашу в полном смысле шифрованную телеграмму я получил и не могу скрыть, что содержанием ее крайне огорчен. Суть в том недоверии ко мне, признаки коего я замечаю со стороны департамента. Но смею думать, что я своей многолетней службой не заслужил этого и вы упрекаете меня незаслуженно. Так, еще недавно, удар, занесенный над жизнью господина министра внутренних дел, статс-секретаря фон Плеве, был отведен именно руководимым мной сотрудником. И разрешите мне вкратце напомнить вам обстоятельства этого дела: — 11 октября

1902 года совершенно секретным письмом на ваше имя я сообщил, что боевой организацией выработан план покушения на жизнь министра внутренних дел статс-секретаря фон Плеве. Предполагалось открытое нападение на улице на карету министра двух всадников, вооруженных пистолетами большого калибра системы Маузера, были уже подысканы исполнители, изъявившие готовность пожертвовать собой. То были два офицера, проживающие в Петербурге, при чем один должен был убить лошадей, в то время как другой должен стрелять в министра. Получив общие указания заграницей, руководимый мной секретный сотрудник имел свидание с членами боевой организации, Мельниковым и Крафтом, при чем оказалось, что автором вышеприведенного плана был именно Мельников, который назвал сотруднику фамилию одного из вышеуказанных офицеров, который оказался поручиком 33 Артиллерийской бригады Евгением Григорьевым, слушавшим лекции в Михайловской академии. Именно мои сведения, я подчеркиваю это, послужили основанием как к аресту поручика Григорьева, так и к получению от него известного откровенного показания, явившегося главной уликой против Гершуни и Мельникова, благодаря чему оба они были своевременно заарестованы и присуждены к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Таким образом моей работой и работой секретного сотрудника, руководимого мною была спасена жизнь министра внутренних дел, статс-секретаря фон Плеве. Предлагая вспомнить вам мою работу по департаменту и особенно обращая внимание ваше на вышеизложенное, думаю, что вы согласитесь, что интриги вокруг моего имени, имеющие целью скомпрометировать в ваших глазах меня и руководимого мной секретного сотрудника, являются злостными и для нашего общего дела вредными.

Искренно преданный вам Л. Ратаев.

Р. S. На днях посылаю вам новые интересные данные. Письма отправляйте на 79 rue de Гренель.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Вячеслав Константинович Плеве был человеком сильным и холодным. Замкнутый мальчик с туманными глазами, приемыш польского помещика, он не знал ласк в детстве. Одни говорили, что отец его церковный органист, другие, что смотритель училища, третьи, что аптекарь, никто не знал родителей Плеве. Он был сирота.

Когда Славе, как звал его помещик, исполнилось 17 лет, Слава донес генералу Муравьеву на приемного отца. Польского помещика генерал повесил. У мальчика была воля. Он мечтал о головокружительной карьере.

Учась на медные гроши, пешком месил грязь большой дороги, возвращаясь с каникул в университет. Мечты не покидали. Властный, гибкий, самоуверенный, переменял католичество на православие. Уже шел высоко по бюрократической лестнице. Победоносцев называл его «негодяем», ибо был слух, что Плеве через провокаторов замешан в убийстве губернатора Богдановича. Плеве был тщеславен и ненавидел людей.

Ни пост директора департамента, ни пост товарища министра не удовлетворяли его полностью. Только раз в жизни Плеве был счастлив. Это было в апреле, когда Балмашов убил Сипягина. Генерал-адъютант сообщил монаршью волю назначения Плеве. Плеве ехал по Дворцовой набережной. Черный куб лакированной кареты плавно колыбался на рессорах, цокали подковы коней. Это были счастливые минуты.

Рысаки стали у подъезда дворца. Плеве поднимался по Иорданской лестнице. Первыми здоровались министр двора барон Фредерикс, дворцовый комендант генерал Гессе. По пожатию рук, наклону голов Плеве знал уже, кто он. Твердо пошел по Аван-залу. Император вышел навстречу ласково, любезно. Плеве показалось, что у него слегка кружится голова.

Морщась от света, Николай II сказал:

— Вячеслав Константинович, я назначаю вас вместо Сипягина.

Плеве чуть побледнел.

— Ваше величество, я знаю, злоумышленники меня могут убить. Но пока в моих жилах есть кровь, буду

твердо хранить заветы самодержавия. Знаю, что либералы ославят меня злодеем, а революционеры извергом. Но пусть будет то, что будет, ваше величество.

— Сегодня будет указ о вашем назначении, — закрываясь рукой от солнца, проговорил Николай II.

Плеве наклонил голову.

И когда выходил от императора, его толпой поздравляли придворные. Плеве знал людей. Тем, с кем вчера еще был любезен, бросил сквозь топорщащиеся усы:

— Зремя, господа, не разговаривать, а действовать.

И ступил по великолепной дворцовой лестнице к карете.

2

Мечта Плеве исполнилась. — В два месяца революция будет раздавлена, — говорил он. И из его канцелярии то и дело шли секретные распоряжения губернаторам.

Плеве сторонился двора. Государственный совет называл стадом быков, кастрированных для большей мясности. Он искал только дружбы правителя Москвы, великого князя Сергея, с ним обсуждал меры пресечения революционных волнений.

— Но надежна ли ваша личная охрана, Вячеслав Константинович? — часто спрашивал великий князь.

— Моя охрана совершенно надежна, ваше высочество. Думаю, что удачное покушение может быть произведено только по случайности — отвечал Плеве, зная, что Азеф охраняет его жизнь, что выданные им, Гершуни и Мельников уже пожизненно в каземате.

3

Савинков шел по Петербургу, мосты, арки, улицы которого так любил. Те ж рысаки, коляски, кареты, переполненные звенящие рестораны. Машины в тивных поют «Трансваалями», «Пятерками», вальсами «Разбитое сердце». Мощный разлив широкой Невы под мостами. Величайшие в мире дворцы. На часах — часовые.

Пробежали газетчики, выкрикивая «Новое время!» «Русское слово!» Савинков остановил «Новое время». С газетой удобнее идти. Те ж, абонементы в Александринском, «Аквариум», «Контан», «Донон», «Тиволи», Шаляпин в «Борисе Годунове», Собинов в «Искателях жемчуга».

Вот Садовая. Савинков смотрит на часы. Мимо на из-

возчике едет пристав в голубой, кастановой шинели. Пристав, кажется, дремлет.

— А вот! Папиросы первый сорт! «Дядя Костя»! «Дюшес»! Пять копеек десятком, возьмите, барин!

Перед Савинковым берлинский товарищ Петр, та ж улыбка на малиновых губах.

Глаза Савинкова смеются: — «Прекрасно, мол».

— Дай десятком.

— Пять копеек. Ваших двадцать, — смеются глаза Петра.

— Сегодня на Сенной в трактире «Отдых друзей».

— Слушаюсь, барин. — И слышен веселый тенор с распевом: — Папиросы «Катык»! «Дядя Костя»! «Дюшес»!

Делать Савинкову нечего. Он заходил, к литератору Пешехонову справиться: нет ли чего от Азефа. «Тогда держитесь, господин министр! Вас не укараулят ваши филеры!» Но Азефа еще нет.

Савинков пошел по Французской набережной к Фонтанке. На Неве засмотрелся на белую яхту. Но у Фонтанки в движении пешеходов, экипажей произошло смятение. Метнулись извозчики. Вытянулись городовые. Вынеслись какие-то вороние рысаки, мча легко дышащий на рессорах лаковый кузов кареты. В нем за стеклом что-то блеснуло, не то старуха, не то старик, может быть просто кто-то в черном с белым лицом. За каретой; не отставая в ходе от резвых коней, на трех рысках летели люди в шубах. За ними стремительные велосипедисты с опасностью для жизни накатывали на рысаков. Савинков замер у стены: — «Ведь это же Плеве!?»

4

В трактире «Отдых друзей» машина играла беспрерывно. Когда останавливалась, чтобы перевести дух, кто-нибудь из друзей пьяно кричал: — Музыка!

Машина, не отдохнув, с треском крутила новый барабан. Расстроенно-хрипло неся не то вальс из «Фауста», не то «Полька-кокетка». Трудно разобрать в чаду, дыме, шуме, что играла старая машина.

Поэтому и выбрал этот трактир Савинков. В нем ничего не разобрать. Настолько он настоящий, русский, головоломный трактир. Люд здесь не люд, а сброд. Больше извозчиков, ломовиков, торговцев в разнос, проституток,

уличных гаменов. Порядочные господа, мешаясь, сидят тут же. Непонятен вид трактира.

Грязные служащие разносят холодную телятину, чай парами, водку, колбасу. Наполняют залу духом кислой капусты, таща металлические миски, — щи порциями.

Савинков занял дальний стол в углу. Видел перед собой пестрый шумящий улей трактира. Чахоточному юноше-половому заказал ужин на две персоны. И покуривая еще петькину папиросу, поджидал.

Петр пришел во-время. В черной косоворотке, черном пиджаке, смазных высоких сапогах. Такой же черный картуз, с рвущимися из-под него смоляными кудрями. «Как цыган». Петр подходил с улыбкой.

Тощий юноша, с изгрызенным болезнью румянцем, гремел сальными вилками, ножами, раскладывая по приборам. Поставил графин холодненькой посередине.

— Ну, как дела?

Петр смотрел с улыбкой, словно хотел продлить удовольствие приятных сообщений. Когда Савинков кончил вопросы, Петр, опрокинув рюмку, сморщившись оттого, что пошла не в то горло, сказал:

— Всё в лучшем виде. Четыре раза видал. Раз у Балтийского, в пятницу. Три раза на Фонтанке в разных местах.

— Каков выезд, опишите?

— Выезд, Павел Иванович, прекраснейший, — широко улыбался Петр, показывая хищные зубы, — вороные кони, как звери, кучер толстый, бородатый, весь в медалях и задница подложена, на козлах сидит, как чучела какая, рядом лакей в ливрее. За коляской несутся сыщики гужом на рысках, на велосипедах. Вообще, если где случайно сами увидите, враз заметите. Шумно едет.

Петр налил рюмки и указывая Савинкову, — взял свою.

— За его здоровье, Павел Иванович.

— Пьете здорово, — как бы нехотя сказал Савинков.

— Могу выпить, не брезгую, но не беспокойтесь, делу не повредит. Одно только плохо, Павел Иванович, — «конкуренция». Места на улицах все откуплены, чуть в драку не лезут торговцы сволочи, кричат, кто ты такой, да откуда пришел, тут тебя не видали, собачиться здорово приходится, раз чуть-чуть в полицию не угодил, истинный Бог! ну каюк, думал.

— Почему же каюк? Ведь паспорт прописан, всё в порядке?

— В порядке то в порядке, да лучше к фараонам не попадать, — улыбнулся Петр.

Музыка в машине прервалась. Зал мгновенно наполнился грохотом, перекатным шумом голосов. Кто-то вдребезги пьяный закричал откуда то, словно с полу: — Музыка! Хозяин, музыку!

Музыка загремела марш.

— С Иваном Фомичем видаетесь?

— Через день. У него тоже дела идут. Часто видит. Всё двигается по углам. По Фонтанке, — к вокзалу. Всё время отмечает, хочет выследить до минутной точности, когда где едет.

— Иногда наверное меняют маршрут?

— Пока что всё одним едут.

— Вы когда увидите Ивана Фомича?

— Завтра.

— Скажите, чтобы послезавтра в десять ждал меня на Литейном у дома 33.

— Ладно. А простите, Павел Иванович, что Иван Николаевич приехали?

— Нет пока не приехал. А как вы думаете, Петр, за вами слежки нет?

Петр покачал головой.

— И Иван Фомич не замечает?

— За ним и вовсе нету. Становится у самого департамента, сколько раз жандармских полковников возил, — тихо засмеялся Петр.

— Стало быть всё как по маслу? — улыбнулся и Савинков. — Скажите, верите? — сказал тихо, наклоняясь к нему.

— Кто знает, — пожал плечом Петр, — должны, Павел Иванович, по всем видимостям. А на всё воля Божья. С Его помощью, — засмеялся Петр.

Савинков сказал спокойно, холодно: — У вас не должно быть никаких сомнений, товарищ Петр. Ясно как день, наш и кончено!

— Тоже думаю, только, Павел Иванович, ну, ведем мы наблюдение, всё такое, а кто метать будет? Неизвестно. Я такого мнения, уж если риску вешалкой, то пусть в настоящее дело с бомбочкой, — испытующе смотрел на

Савинкова Петр. Савинков увидал, что у этого человека чертовская сила, что он только так прикидывается шутками да прибаутками.

— Да, правда, уж рисковать, так рисковать как надо, чтобы было за что, а то ведешь наблюдение, а придет товарищ, шарахнет его по твоей работе и вся недолга, а ты опять не при чем.

Савинков улыбнулся. Этот уклон показался ему вредным.

— Вы стойте на ложной точке зрения, товарищ Петр. Для нас, для партии, совершенно безразлично, кто. Надо убить. Вы ли, я ли, пятый ли, десятый ли, всё равно: — убьет Б. О., а не вы и не я. То, что говорите, неверная, вредная точка зрения, — тихо проговорил Савинков.

Петр слушал, сведя брови. Потом взял пузатенький графинчик, выдавил из него последнюю рюмку, сказал как бы сам себе:

— Может и так. Хотя как сказать, у всех свои точки.

— А мы, — улыбнулся Савинков, — должны стоять на точке зрения партии. Иначе выйдет разбой, товарищ.

— Ну, это положим, запускаете, Павел Иванович, — глядя вплотную улыбнулся Петр.

5

Уж один раз Иван Фомич как будто заметил филера. Что-то неладное показалось и товарищу Петру в разговоре с дворником на постоялом. А утром в комнату Савинкова приоткрылась дверь.

— Войдите! — крикнул Савинков.

Как бы приседая, в комнату вошел старый еврей в потертом сюртуке с лугливыми глазами. Танцующей походкой он шел к столу и сел.

— Здравствуйте, господин Семашко, — сказал он, лицо пересеклось многими морщинами.

— Я не имею чести вас знать.

Вошедший улыбался, как старый друг, улыбаясь, рассматривал Савинкова, словно собирался писать с него портрет.

— Мы кажется с вами немножко знакомы, господин Семашко?

— Что вам угодно?

— Вы ж писатель Семашко, мне угодно вас пригласить для сотрудничества.

— Я представитель фирмы резиновых изделий братьев Крамер. Вы ошиблись, потому, простите пожалуйста, — Савинков встал, указывая вошедшему на дверь.

— Что значит вы не писатель? Что значит вы представитель фирмы? Моя фамилия Гашкес, но если вы не хотите продолжать разговор. — Гашкес пожал плечами, фигура стала до жалости узкой. Он встал и идя к двери, дважды оглянулся на Савинкова.

«Готово. Следят. Сейчас за Гашкесом ворвутся жандармы». И когда Гашкес еще не дошел до двери, Савинков уже обдумывал, как выбежит из номера и в гостиницу не вернется.

В коридоре было тихо. «Черным ходом, во второй двор». Савинков накинул пальто, отшвырнул шляпу, взял кепи, подбежал к зеркалу. Взглянул.

Выход на черную лестницу был в самом конце. На Савинкова дохнули прелость, смрад, вонь кошками, помоями, отхожим местом. Он спускался. В голове билось «не убегу, схватят, виселица». Он был уже на пыльном дворе. С дворником ругался какой-то тряпичник. Савинков сделал несколько шагов по двору. Но было ясно, двор не проходной. Стало быть выходить надо на улицу, где у ворот сыщики и жандармы.

Савинков стал у отхожего места, как бы за нуждой, смотрел в ворота, ждал не мелькнет ли пустой извозчик. И когда дворник закричал:

— Чего пристыл, нашел место, лень зайти то, чооорт!

Савинков увидал, легким шагом мимо ворот проезжает пустой лихач, сидя на козлах полубоком.

Савинков махнул и бросился к воротам. Натянув возжи, лихач стал посреди улицы. Замедлив бег у ворот, Савинков быстрым шагом, не глядя по сторонам, пересек улицу. И прыгнул в пролетку.

— Что есть духу за Невскую! Гони!

Рысак бросился с места, размашисто откидывая рыжие в белых отметинах ноги. Савинков оглянулся. У подъезда гостиницы метались швейцар, фигура Гашкеса и два городских пальто побежали на угол, очевидно за извозчиком. Но лихач не оглядывался, только смотрел, как бы в страшной резвости призового коня не раздавить случайную старуху. Лихач неся, крича — «Ей, берегись!» — Мимо Савинкова летели улицы, переулки, прохожие.

«Ушел, ушел», — радостно думал Савинков, когда взмыленный рысак уменьшал бег к Невской заставе. Улица была пустынна. Савинков сошел с извозчика, расплатившись, вошел в первую попавшуюся пивную.

В пивной никого не было. Савинков заказал битки показачки и бутылку калинкинского. — «Плеве будет жить», — думал он. — «Надо снимать товарищей. Но где же Иван Николаевич?»

6

Эти дни в Берлине Азеф прожил, волнуясь. Из Петропавловской крепости кто-то передал в партию записку о том, что Гершуни и Мельников преданы. Жандармский поручик Спиридович оказался глупее, чем думали. Это было первое дело поручика. Он неумело торопился с расследованием и арестами по делу Томской типографии. Откуда то выплыл слух о предательстве. И как было не выплыть. Жандармы промахивались, не щадя агентуру. Азеф говорил, чтобы транспортистку литературы фельдшерицу Ремянникову, не трогать. Ее взяли. Просил оставить главу московского «Союза социалистов-революционеров» Аргунова. Арестовали и его.

Азеф волновался. Надо было выждать. В голову лезло с деталями конспиративное свидание с Аргуновым в Сандуновских банях. Голые, в номере с зеркалами обсуждали они планы «Союза». Азеф припоминал непохожесть тел в зеркалах, — его и Аргунова. Он толстый, с громадным животом, грудь и ноги в черных вьющихся волосах. Всё время намыливаясь крупной пеной, растирался мочалкой, выплескивал воду из шайки. Тощий Аргунов в голом виде был смешон. Стоял голый, всё говорил. Когда номерной постучал в дверь: — что, мол, час уже прошел, Аргунов надевал белье на сухое тело. А Азеф растирался цветным полотенцем, приседал и кричал. Аргунова нельзя было трогать. Азеф понимал. А они сослали его в Якутскую область.

У Азефа был математический мозг. Он хотел ясности. И писал Гоцу: — «Дорогой Михаил, меня мучит совесть, что товарищи в Петербурге брошены на произвол судьбы, кабы не случилось чего, в особенности с Павлом Ивановичем, он горяч и плох, как конспиратор. Но поделать ничего не могу, в Берлине задерживает техническая сторона дела. Напиши о новостях.

Крепко целую. Твой *Иван*».

Но Савинков уже трясся на тряской балагуле. Вез его к немецкой границе хитрый фактор Неха Нейерман, двадцать лет из Сувалок переправлявший русских эмигрантов. В лунную ночь балагула была переполнена.

Савинков часто спрыгивал с балагулы, бежал разогреваясь, по-извозничьи махая руками.

— Ай, господин, вы бы сели себе и сидели, нельзя же, чтобы все мы бежали, тогда бы нам лучше было бегать, чем ездить! — И Савинков, смеясь, впрыгивал на балагулу. Плотней кутаясь в пальто натягивал на себя еще рогожу. Тихо поскрипывая в ночи, через границу медленно ехала балагула. И было тихо на ней, словно старый фактор Нейерман вез мешки с овсом.

В окнах квартиры Чернова стояли кактусы. На звонок Савинкова к двери стали приближаться медведеобразные шаги. Снялась цепь. Щелкнул замок. В полутемноте выросла крупная фигура с сердитым лицом, взлохмаченными волосами.

— Чем могу служить? — сказал скверно по-французски Чернов.

— Я — Савинков.

— Что? — удивленно пробормотал Чернов. — Проходите, — буркнул зло.

Тот же портрет Михайловского, окурки в пепельнице, несмотря на погоду, — пять удочек с красными поплавками.

— В чем дело? Почему вы здесь? — закричал Чернов.

Савинков увидел гнев. Прыгнула рыжая борода, круглые, косые глаза метнулись в стороны.

— Я хотел видеть Гоца, его нет.

— Михаил уехал. В чем дело?!

— Азеф нас бросил. За нами началась слежка.

— Что вы мелите вздор! Иван на месте! Я знаю! Вы бежали с поста!

— Я прошу вас, Виктор Михайлович...

— Вы не смели! Вы сорвали дело! Вы были обязаны беспрекословно повиноваться Ивану! Он начальник! Он назначен ЦК! Вам было приказано быть в Петербурге! Вы должны быть на месте, чего б это ни стоило! — чем сильнее кричал Чернов, визгливей становился крик, неувимей

разбегались глаза. Чернов возмущен, он ходил по комнате резкими шагами. — Чорт знает что!! В то время, как вы тут, Плеве порет крестьян, гонит людей в застенки, наполняет Сибирь лучшими людьми!..

— Виктор Михайлович я есть хочу.

— Чего!? Что вы хотите?!

— Есть! Накормите меня, я ехал две недели без денег.

— А знаете что, — остоленев, вскрикнул Чернов. — Вы, молодой человек с наглечой! Вот что!

9

Назавтра, за обедом в ресторане Виктор Михайлович смеялся прекрасным рядческим смешком. Приговаривал, поглядывал с добродушием дяди.

— Да как же, голубок, согласитесь, сеяли рожь, а косим лебеду. Затеяли важнейшее партии дело, все в уверенности, Павел Иванович ведет, а вы авось да небось да третий ктонибудь. Да разве это дело, кормилец? Постойте, как Иван вас взгреет. Молодо зелено, то то и оно то вот. Что бы сказала Вера?

— Какая Вера?

— Как какая? Вера Николаевна Фигнер, — ответил Чернов, прожевывая шницель.

— А, скажите, Павел Иванович, — говорил позднее, за кофе Чернов, — ну вот, скажем так, перешли вы к нам от социал-демократов, говорите, не удовлетворяет вас пробел в аграрном вопросе, ну, а как же вы мыслите то, вот хотя бы по тому же аграрному вопросу, скажем? А? С литературой то едва ли знакомы? Ох, едва ли? Про французских утопистов то Анфантена, Базара пожалуй и не слыхивали? И про производительные ассоциации Лассалья не довелось почитать?

Савинков пил кофе, прислушиваясь к дальней ресторанной музыке.

— Это верно, не слыхивал, — сказал он, улыбаясь, отхлебывая кофе. — В аграрных делах, не специал.

— Не специал? — захохотал Чернов, трясая львиной шевелюрой. — Так сказать, революционер на свой салтык? Так что ли? Плохо-с, что не специал, как же так, вы же член партии?

— Не по аграрным делам. Вашего департамента не касаюсь. Бог там знает, сколько мужику земли надо? Вон,

Толстой говорит, три аршина. Вы кажется предлагаете значительно больше?

— Так как же это, кормилец, Лев Толстой и прочее. Ведь это же стало быть индифферентизм к программе партии?

— Зачем? Просто приемлю, что по сему поводу излагаете вы, и ни мало вопреки глаголю. Не та специальность, Виктор Михайлович. Вы теоретик, вам и книги в руки. Я выбираю другое. Разделение труда — верный принцип достижений. Вам теория. А нам разрешите бомбы. Я ведь думаю, что ваш друг, Иван Николаевич, тоже мало занят французскими утопистами?

— Аристократия духа, стало быть! Понимаю, понимаю! Такими мелочами, мол, не занимаемся, что там аграрные дела, нам бомбы подавай. Ну что же, что же, — быстрым говорком пел Чернов, — два стоят, два лежат, пятый ходит, шестой водит. Ну, бутылочка то вся? Другую спрашивать уж не будем.

Отставляя стул, Савинков говорил: — Я, Виктор Михайлович, собственно, народовол.

— Это зря, батюшка, зря, ни к чему, это история уж, история, да, да, пойдете-ка, пойдете, и так заобедались.

10

В четверг в двенадцать, еженедельно, блиндированная карета министра Плеве вымахивала из дома на Фонтанке. Окруженная рысиками и велосипедистами она мчалась стремительно, как черный лаковый куб, мимо Троицкого моста, Дворцовой набережной к Зимнему дворцу. Сквозь затуманенные стекла была видна фигура плотного человека, смотревшего на бело замерзшую Неву.

11

На этот раз из Женевы Савинков ехал не один. Ехал нервный с светлыми, насмешливыми глазами Каляев; крепкий, как камень, динамитчик Максимилиан Швейцер; такой же крепкий, только румяный и веселый Егор Сазонов; колеблящийся Боришанский; больной экземой Алексей Покотилов. Ехал и сам Иван Николаевич.

Все были в разных городах России: — в Риге, Киеве, Москве. Но когда наступила весна, все съехались в Петербург, чтобы убить министра.

Перед подготовкой убийства боевики были в Москве. Посланные на дело партией, еще не знали друг друга. Савинков остановился в фешенебельном отеле «Люкс». И в один из дней, когда он без дум стоял у окна, на пороге появилась грузная, каменная фигура Азефа.

Азеф не подал руки. Он спросил коротко, как спрашивают обвиняемого:

— Как вы смели уехать из Петербурга? — и уставился пудовыми глазами на Савинкова.

— Я уехал потому, что вы бросили нас. Нам грозил арест, мы были выслежены полицией, чтобы не провалить дело, я снял говарищей. Но разрешите спросить, как вы смели бросить нас на произвол судьбы, на арест полицией, не давая ни указаний, ни денег? Почему не было ни одного письма, по указанному вами адресу?

Азеф смотрел на Савинкова в упор. Хотелось знать: есть ли подозрение? Его не было.

— Меня задержала техника динамитного дела, — сказал Азеф. — Я не мог раньше выехать. Но это всё равно, вы не смели сходить с поста.

— Вплоть до бессмысленной виселицы?

— За вами никто не следил.

— Если б за мной не следили, я б до сих пор был в Петербурге. Я был накануне ареста, я еле бежал от сыщиков.

Азеф молчал, был спокоен: — подозрений не было. Сказал ржавым рокотом, как бы в сторону:

— Расскажите результаты наблюдений.

Это значило конец неприятному разговору. Ходя по комнате, Савинков говорил о выездах Плеве. Азеф грузно, лениво вздохнул животом.

— Это всё я знал и без вас. Стало быть, вы ничего не сделали. Извольте отправляться в Петербург, возобновить наблюдение.

— Я для этого и приехал из Женевы.

— Сегодня в 12 ночи вы увидите с Покотиловым. Он будет ждать вас в отдельном кабинете «Яра», загримирован, у него большая русая борода. Кабинет номер 3. Там вы решите относительно поездки. Покотилов будет готовить снаряды. Швейцер ждет в Риге. Я его уже вызвал телеграммой в Петербург. А с Каляевым вы связаны?

— Да. Он живет здесь в одной гостинице.

— Пусть едет с вами. Выезжайте завтра же. Первая явка со мной будет 20 марта в купеческом клубе на маскараде. Поняли?

— Понять нетрудно.

— Очень рад, что нетрудно. Думаю, что работать будем лучше.

— Если вы будете уловимы, я тоже думаю.

Вдруг Азеф улыбнулся медленной растягивающей скулы улыбкой. Это была — ласка.

— Ну, ладно, — проговорил он, — не будем ссориться, я вас ей-Богу люблю. Кстати, всё хочу перейти на ты. Вы будете моим помощником в деле Плеве. Ладно что ли? — тяжело вставая с низкого кресла, смеялся он, — я же говорил, что вы барин, но ничего, неплохо, нам в конспирации нужны и баре и извозчики, — смеялся гнусаво Азеф.

И сжимая руку Павла Ивановича двумя руками, проговорил:

— Сегодня в «Яру» увидите Покотилова. Завтра втроем выезжайте на место.

13

Снег московских улиц был глянец, словно вымостили столицу белым паркетом. С Тверской в Петровский парк начинали ход запаленные, заезженные московской удалью голубцы, в бубенцах и лентах. Храпели кони. Разномастная публика неслась в ковровых санях с отлетами. Кокотки с офицерами. Купцы в старомодных енотах. Европеизированные купеческие сыновья в шубах с бобрами. Заезжие провинциалы. Пропивающие казну чиновники. Кого тут не было! На сером лихаче, приятно откидываясь на гулких ухабах, несся по петербургскому шоссе Борис Савинков. Отставали многие от резвого лихача. Только пара наемных голубцов, несшихся диким аллюром, объехала вскачь, словно торопились седоки, что не доживут, не доедут до «Яра».

Любителей цыганской тоски, от которой ныли кости, подвозили мокрые, хрипящие кони к небольшому одноэтажному дому с обыкновенной вывеской «Яр».

«Яр» был низок, столики, открытая сцена. Казалось, ничего особенного, но что-то было в загородном кабаке, отчего сотни мечтателей, богачей, дураков, невропатом

стрелялись в кабинетах под цыганские песни и плясы Шуры да Муры.

— Кабинет номер три.

— Пожалуйте, — склонился татарчонок. Савинков пошел за резво бегущим татарчонком во фраке. Они прошли переполненный зал. Савинков чувствовал запах цветов, духов, алкоголя. Сидели фраки, декольте, смокинги, сюртуки, поддевки. Под поляковские гитары, которые, казалось каждую минуту разломаются вдребезги от сумасшедшей игры, со сцены пела женщина с горячими цыганскими глазами, вся в яркокрасном, смуглая как земля:

«В чыасы рыаковой кыагда встрэтил тебя»

Женщина показалось Савинкову полной отчаяния.

— Пожалуйте, — склонился татарчонок у кабинета.

Дверь закрылась. Из-за стола встал высокий русский барин с длинной, кудрявой бородой.

— Павел Иванович? Не узнаете? — проговорил Покотилов, пожимая руку.

— Чорт знает что такое, на расстоянии двух шагов, четыре часа говоря с вами, не узнал бы.

— Тем лучше. Это меня радует. Я непьющий. Но тут приходится. Вы разрешите?

— Благодарствуйте, — подставил Савинков узкогорлый бокал.

Из зеркала глянули на Савинкова два изысканных русских барина. Один с бородой, очень русский. Другой бритый, с монгольскими смеющимися глазами, похожий на молодого кюре.

— До чего тут зеркала исчерчены, заметили? Столетиями упражнялись.

— Пробовали алмазы. Поджидая вас, всё читал надписи, довольно забавно.

Савинков встал, подошел к зеркалу, в глаза бросилась сделанная размашистым пьяным почерком надпись во всё зеркало — «Любовь» и неразборчиво.

— Можно попробовать и мой. — Савинков черкнул сперва, потом перечеркнул надпись «Любовь» надписью «Смерть». Но вышло плохо и он, смеясь в зеркало, отошел.

— Вы видались с Иваном Николаевичем?

— Да.

— Иван Николаевич сказал: вы, я и «поэт» завтра выезжаем в Петербург. Швейцер выехал, Егор уж на месте.

— Да, да, Иван Николаевич говорил. Сведения и наблюдения будут передаваться вам, вы будете непосредственно...

Но вдруг за стеной грянул хор с топотом ног, визгами и тут же полетела бьющаяся посуда. Заплясало много ног. Среди гика, свиста, словно тысячи веселых балалаек, выговаривал хор: — «Ах, ты барыня, ты сударыня».

— Должно быть купцы, с размахом, — улыбнулся Савинков, любивший визг, пенье, хлопанье бутылок.

— Стало быть связь с Иваном Николаевичем будет у вас?

— У меня. Сазонов и Мацеевский станут извозчиками. Каляев пойдет в разнос с папиросами. Вы и Швейцер — приготовление снарядов.

— Да, да, — отпил глоток шампанского Покотилов, прислушиваясь к несмолкавшему кутежу.

Было странно, что женевский эмигрант «товарищ Алексей», которого знал Савинков, сидит русским барином и из чужой бороды идут голос и мысли эмигранта Покотилова.

— Павел Иванович, конечно, я подчиняюсь дисциплине и распоряжениям Ивана Николаевича, — он прекрасный организатор, хороший товарищ, но поймите для меня будет ужасно, если и теперь меня обойдут.

— То есть как?

— Вы подумайте, — тихо говорил Покотилов, — хотел убить Боголепова, был совершенно готов, всё было решено, я приехал из Полтавы в Петербург, записался уж на прием к нему и вдруг Карпович меня опережает. Я стал готовиться на Сипягина, на него пошел Балмашов. Я ездил в Полтаву к Гершуни, просил, было решено: — я убью Оболенского, вдруг узнаю, что не я, а Качура, Качура рабочий, ему предпочтение.

Покотилов слишком жарко говорил, слишком близко приближая лицо. На лбу Покотилова от экземы выступили мелкие капли крови.

— Павел Иванович, вы понимаете? Я не могу больше. У меня не хватает сил. Я измучен. Бомба на Плеве должна быть моей. А я вижу, Иван Николаевич относится ко мне с недоверием.

— Откуда вы взяли?

— Мне так кажется. Я прошу вас, поддержите меня.

Я буду готовить бомбы, но этого мало, я хочу сам выйти, понимаете, *сам*?

— Понимаю.

— Ну, вот. Поддержите? — Покотилов положил на руку Савинкова тонкую белую руку.

— Поддержу.

— Ну, тогда за успех, — улыбнулся Покотилов.

Оба подняли бокалы.

— Вы верите? — сказал Савинков.

— Безусловно, — обтирая приклеенные усы, проговорил Покотилов, — вы знаете Ивана Николаевича? С ним неуспеха быть не может. Он расчетлив, точен, хладнокровен и очень конспиративен, это важно. Я убежден, что убьем. Только трудно ждать. Я храню динамит. Жить с динамитом в ожидании — невыносимо.

— Теперь уж недолго. — Савинкову не хотелось, чтоб Покотилов говорил на болезненную тему тоски ожиданий. — Может перейдем в зал? — сказал он, — а то как бы не показалось подозрительным, сидим вдвоем? Иль может пригласим девочек, вы как?

Покотилов сморщился.

— Не стбит, — сказал он, — я уж хочу ехать, пора, хотя знаете, у меня бессонница, поэтому я и выпил больше обычного. Раньше четырех не засыпаю.

Савинков проводил Покотилова до двери. Вернувшись, сидел один, допивая бокал, потом закурил и позвонил.

Вошел татарин.

— Кто эта певица, в красном, когда я вошел?

— Шишкина.

— Пригласи ее.

— С гитаристами?

— Нет, одну.

— Могу сказать, что не из таких, понимаете, — фамильярно проговорил лакей.

Савинков смерил лакея с ног до головы.

— Поди и позови. Вот моя визитная карточка.

На карточке — «инженер Мак Кулох».

14

В дверь кабинета ворвалась музыка. На пороге стояла женщина в ярко-красном платье, отделанном золотом, смоляные воолсы были заколоты большой, светившейся шпилькой.

Как хорошо воспитанный человек, Савинков встал навстречу. Она пошла к нему, улыбаясь. В дверь вошли два гитариста в цветистых цыганских костюмах. Заперли дверь и в кабинете стало тихо.

— Хотите цыганскую песню послушать? — проговорила низким голосом женщина, обнажая в улыбке яркие зубы.

Она была хорошего роста. Красивые, обнаженные, суглиняные руки. Такое же лицо. Волосы крупные, простой прически, черно-синие, словно конские. Глаза горячие, с чуть растянутым разрезом и в них было словно какое-то отчаяние. Может быть женщина была нетрезва. Гитаристы стали в отдалении. Оба черные, кудрявые.

— Очень хочу послушать вашу песню, — проговорил Савинков, целуя руку, всю в кольца.

Лакей нес шампанское. Другой — фрукты. Следом вошла бедно одетая девушка с корзиной цветов. Савинков собрал красные розы и передал Шишкиной.

— Ой, ой, какой барин добрый! — низко прохохотала, имитируя таборных. — Вы нерусский?

— Англичанин.

— Ой, шутишь, барин, — прищурила Шишкина глаз и засмеялась. — Англичанин купит розу, купит две, а так русские покупают. Да и в кабинет к одному англичанин не позовет. — Отхлебнув полным глотком шампанское Шишкина сказала: — Ну, что ж, спеть штоль тебе, барину-англичанину?

Она была необычайна. До того много было в ней огня, жизни. А в глазах вместе с огнем билось отчаяние. Шишкина пела сидя. Только отодвинулась от стола. Гитаристы встали по обе стороны. Она в красном. Гитаристы в разноцветном. Сначала щемительно заиграл, топая ногой, один. Другой подхватил пронзительный мотив, но чересчур рвал гитару, было слышно, как хватаются струны и что-то дребезжит. Шишкина вздохнула, вдруг кабинет наполнился сильной придушенной нотой хрипловатого голоса. Но это показалось. Шишкина пела полней. Голос гремел в зеркалах. Она пела совсем невесело:

«Скажи мне что-нибудь глазами, дорогая»

И от этого неученого пенья Савинков чувствовал, как пробегает по коже мороз. Глаза Шишкиной полузакрыты, руки сложены. Последние слова песни произнесла плени-

тельно, словно вырвала их из груди и перед ним положила. Сидела не шелохнувшись, пока гитары доигрывали аккомпанимент, жалобно переходя в минор из мажора.

— Чудесно, — проговорил Савинков. Окна кабинета занавешаны. Но Савинков знал, за окнами уж светло. Шишкина что-то сказала гитаристам по-цыгански. Кивнули головами. И вдруг ударили с вскриками. Она, покачиваясь на стуле, содрогаясь от выкрикиваемых, выговариваемых нот, пела старое, древнее, может быть, индийское.

Всё плыло плавкими, легкими переплавами. Песня, Шишкина, гитаристы. Странно было, что взрослому человеку в кабаке захотелось плакать.

Шишкина кончила. Подвинулась к столу. Спросила тем же низким грудным голосом, смеясь глазами:

— Хороша, цыганская песня?

— Хороша.

— Только барин-англичанин — смеялись глаза — должна я от вас идти, — и заговорила таборно, а ее узкие, горящие отчаянием глаза смеялись.

— Спасибо за песню. Сколько я вам должен?

— Этого, милый барин, не знаю, гитаристы мои знают.

Протянув руку в серебряных кольцах, Шишкина, шурша красным платьем, вышла из кабинета, от дверей послав огненный взгляд и махнув рукой.

— Двадцать рублей за песню, барин, берем, — крикнул старший гитарист.

Савинков кинул сторублевку.

В зале «Яра» никого уже не было. Из кабинетов неся шум, музыка пляса, пенья. Торопливо пробежали запыхавшиеся лакеи, бегом несли вино, кушанья, тарелки, вилки.

«Если будет неудача, повесят» — думал Савинков, когда — «Пожалте барин» — подавал ему бобровую шапку и трость швейцар. У подъезда рванулись лихачи. Один въехал оглоблей под дугу другому, оба разразились саженой руганью, маша толстыми руками кафтанов. Савинков сел на третьего. Ладная кобыла, захрапев, рванулась от «Яра».

Савинков мчался по Москве. Приятно ощущал на разгоряченном вином лице ветер. Когда кобыла несла сани по Садовой-Триумфальной, невольно взглянул на вывеску — «Номера для приезжающих. Северный полюс». Там жил

Каляев. «Спит, наверное, счастливый ребенок, и видит во сне смерть министра». Под ветром Савинков слабо улыбнулся. Кобыла быстрым ходом несла его к «Люксу».

15

Азефу было трудно. Смерти Плеве требовала воля террористов. Требовала партия. Требовали слухи о провокации. Надо было рассеять. Но, после убийства, страх перед департаментом: — провал, предание в руки революционерам? При этой мысли, Азеф жмурился и бледнел. Он боялся этих молодых, готовых на всё людей. Чтоб обстановка стала яснее, он выехал в Варшаву.

Старый сыщик, провокатор, действительный статский советник П. И. Рачковский был странный человек. Темноватый шатен был высок, сутул, с острым носом, реденькой бородкой, росшей только на подбородке. Говорил мягким тенором, при разговоре слегка шепелявил, любил белые жилеты, отложные воротнички. Глаза Рачковского никогда не останавливались, бегали. Он был похож на бритву сжатую в темные ножны.

В царствование Александра II начал карьеру Рачковский. Двадцать лет комбинировал игру провокаторов, нанося удары революционерам, разбивая смелые планы, совершая налеты, аресты. Но старика, похожего на бритву, как пса, вышвырнул Плеве. В бедноватых комнатах на Бураковской живет тот, кому французами поручалась охрана президента Лубэ, кто имел руку в Ватикане, дружа с епископом Шарментэном, был близок с Дэлькассэ, оказывая влияние на франко-русский союз.

Сыщика любил сам царь. Когда министр не подал руки провокатору, царь лично представил провокатора министру, сказав: «Вот Рачковский, которого я особенно люблю». — И министр крепко пожал Рачковскому руку.

Но на докладе Плеве царь положил резолюцию — «желаю, чтобы вы приняли меры к прекращению деятельности Рачковского раз и навсегда». Через личных сыщиков Плеве поймал Рачковского и скомпрометировал. В докладе вменялись: пособничество анархическому взрыву собора в Льеже, участие агента Рачковского в убийстве генерала Селиверстова, кража у Циона нужных Витте документов, дела с иностранными фирмами по предоставлению концессий в России.

Что вилось в душе прожелтевшего от шпионажа и

комбинаций старого Рачковского! «Убили», — шептал он, мечась по истрепанному ковру квартиры. Но не от отчаяния, а как загнанный матерый волк, ища, нет ли прогалины, куда бы броситься, вымахнуть, перекусить горло.

— Rjotr Ivanovitch, diner! — проговорила жена, француженка Ксения Шарлэ.

Шепча что-то про себя, Рачковский пошел обедать. Но даже, как смертник, не чувствует вкуса пищи. «И кто? негодяй, сын органиста, убийца Богдановича?» — задыхается злобой Рачковский, думая о Плеве.

16

Когда Петр Иванович съел две ложки рассольника с гусиными потрохами, в передней тихо позвонили. «Кто б мог быть?» — подумал, переставая есть, Рачковский и встал, закрывая дверь в столовую.

В темноте коридора Азеф сказал, протягивая руку:

— Здрасти, Петр Иванович.

— Простите, сударь, не узнаю — придвигаясь, проговорил Рачковский — а! Евгений Филиппович! вот Бог послал, страшно рад, проходите пожалуйста, совершенно неожиданно!

— Я проездом, — буркнул Азеф, в словах было слышно, что он задохнулся, поднимаясь по высокой лестнице.

В бедноватом кабинете с потертым ковром, когда-то в цветах, где только что метался Рачковский, Азеф сел в качалку, опустив ноги на пол, поднял ее и не качался. Разговор еще не начинался.

— Из рук вон плохо работа идет, Петр Иванович, — гнусаво рокотал Азеф, было видно, что действительно он чем-то расстроен, — посудите, какое отношение? Не говорю о деньгах, сами знаете, гроши, о деле: — я же не штучник какой-нибудь, слава Богу, не год работаю, и знаете, как пользуются?

— А что такое? — тихо спросил Рачковский и весь подался вперед.

— Сдал о «Северном союзе», сдал Барыкова, Вербицкую, Селюк, литературу, типографию, только просил не трогать фельдшерицу Ремянникову, сама неинтересна, ее квартира служила только складом и я сам накануне был у нее. А им мало показалось, на другой день взяли и Ремянникову.

— Ну, и что же? — делая вид, как бы не понимая, проговорил Рачковский.

— Бросьте — пробормотал Азеф. — Я к вам не за шутками пришел, понимаете, что в партии идут слухи, мне пустят пулю в лоб.

— Да, конечно, это неразумно — сказал Рачковский и ему показалось, что разговор с Азефом может быть чем-то полезен. — И что же? И не один раз так что ли случилось? Ведь позвольте, с Ремянниковой-то дело давно уж?

— Я не уверен, что из-за нее нет подозрений.

Рачковский, шурясь, смотрел вглубь беззрачковых глаз Азефа, улыбаясь синеватыми губами, сказал медленно:

— Могу успокоить, не повесят вас еще. Ведь это Любовь Александровна Ремянникова? Так что ли? Фельдшерница? Ну, знаю, знаю. В предательстве подозревают Вербицкую, то-есть даже знают, что она запуталась и выдала на допросе Спиридовичу. Да, да, тут волноваться нечего. Вербицкая обставлена неплохо, эс-эры обвиняют ее, а с Ремянниковой шито крыто. Покойны? За этим и приходили?

Азеф опустил ноги, слегка закачался.

— Вообще безобразие — тихо пробормотал он. — Ратаев притворяется, что недоволен моими сведениями. Не понимает, что надо быть осторожным, не могу я лезть в дурацкие расспросы. Тут еще этот Крестьянинов узнал от какого-то филера Павлова обо мне. Ну, да это-то прошло. А вы посудите опять, что с Серафимой Клитчоглу? Она назначила мне свидание в Петербурге. Я доложил Ратаеву, спрашиваю, допустить свидание или нет, но говорю, если свидание мое с ней состоится, то трогать ее нельзя потому, что опять на меня падет подозрение. Собрали они там, как Ратаев говорит, собрание с самим Лопухиным, решили, что свидание нужно и чтоб ее не трогать. Я дал ей явку. Пришла. Они ее через несколько дней арестовали. Да разве это работа? Что они думают? Что мне жизнь не дорога? Что я сам в петлю лезу? Да, черт с ними, что думают, но что ж, не нужен я им что ли? — Азеф волновался, начинался гнев, на толстых губах появилась пена слюней. Рачковский смотрел на него пристально и именно на его слюни.

— Ведь у них же никого нет, они врут, что есть, никого нет, — напирал Азеф, вглядываясь в Рачковского.

Рачковский сообщал, глаза как мыши, бегали под бровями.

— Что говорить, ваши услуги конечно велики, работа нештучная, серьезная — сказал он, задумываясь и что-то как будто сообразив. — Нет там людей сейчас, Евгений Филиппович, поэтому и беспорядок. Настоящих, преданных делу людей господин министр выбрасывает, новых берет. Не понимает дурак, — проговорил резко Рачковский, — что в розыском деле опыт — всё. Всё! — повторил веско Рачковский.

Помолчав, Азеф оказал вяло:

— Вас Плеве сместил?

— Как видите, после двадцатипятилетней службы — улыбка кривая, полная злобы, как будто даже плача, показалась на лице Рачковского.

Азеф глядел искоса.

Рачковский повернулся и, как бы смеясь, сказал:

— А что вы думаете, господин Азеф, о кишиневском деле?

— О каком?

— О погроме.

Азеф потемнел.

— Это его рук?

— Кого-с?

— Плеве?

— А то кого же с! — захохотал Рачковский. — Полагает правопорядок устроить путем убийства евреев! Я вам по секрету скажу, — наклонился Рачковский, — разумеется между нами, ведь отдушину-то господин министр не столько для себя открыл, сколько для наслаждения своего тайного повелителя, Сергея Александровича, чтоб понравиться, так сказать, да не рассчитал, как видите, не учел Запада, а теперь после статьи-то в «Таймс» корреспондента высылают, то да сё, да с Европой не так-то просто, не выходит, да-с. Видит, что переборщил с убийством сорока евреев-то, да не Иисус Христос, мертвых не воскресит, — захохотал Рачковский дребезжаще, не сводя глаз с Азефа.

Азеф выжидал. Хоть это было, кажется то, зачем он приехал.

— А окажите, Евгений Филиппович, — проговорил Рачковский, вставая, — правда, что революционеры готовят большие акты?

Азеф смотрел на полупрофиль Рачковского. Он впился

в задышанный змеиный полупрофиль. Хотелось знать, правильны ли ассоциации?

Рачковский быстро повернулся к Азефу, как бы говоря: «что же ты думаешь, что я тебя боюсь, что ли?» Азеф проговорил как бы нехотя.

— Готовят как будто. Не знаю.

— Надеюсь не центральный? — подходя, заметался Рачковский. — Думаю, что мимо вас это не идет?

— Нет, не центральный, — оправляя жилет, мельком скользнув по Рачковскому, сказал Азеф.

— Что ж, министерский?

Сделав вид, что ему не так уж это интересно, Азеф поднялся.

— Готовят, Петр Иванович, акт, но вы теперь лицо неофициальное, я, собственно, не имею права, — улыбнулся вывороченными губами Азеф.

— Хо-хо! куда хватили! — хлопнул его по плечу Рачковский — а вы не бойтесь, дорогой! — вдруг заговорил Рачковский смело, и близко придвигаясь и подчеркивая каждое слово произнес: — И не такие опалы бывали, важно одно, а там и я в опале не буду, да и вы, милый друг, не с олухами работать будете и не за такие гроши рисковать петлей.

И пристально глядя Рачковский проговорил:

— Ведь не хочется в петле-то висеть, а?

Азеф понял. Но захохотал.

— Чего же смеетесь? — обидчиво сказал Рачковский.

— Да так, Петр Иванович.

— Ну да, — протянул Рачковский и, задерживая руку Азефа, опять придвигаясь, проговорил:

— А вы бросьте, батенька, подумайте, не шучу говорю. Надо выходить на дорогу, да, да. Мои связи-то знаете?

Азеф с удивлением почувствовал, что у Рачковского сильная рука. Рачковский крепко сжимал его плавник, говоря «знаете», сдвигая почти до боли.

— Попробуем счастья, — бормотнул Азеф. Рачковский мог даже бормотанья не расслышать. Но он говорил, ведя к двери:

— Сегодня же нас покидаете?

— С вечерним.

Выйдя на лестницу, Азеф стал сходить по ней медленно, как всякий человек обремененный тяжелым весом.

17

Савинков был уверен в убийстве. Наружное наблюдение сулило удачу. Слежка выяснила маршрут. Экспансивность Покотилова уравнивалась хладнокровием Сазонова. Нервность Каляева логикой воли Швейцера. Одетый в безукоризненный фрак, Савинков, торопясь, ехал на маскарад. Лысеющую голову расчесал парикмахер на Невском. У Эйлерса куплена орхидея. Когда Савинков поднялся озеркаленной, сияющей лестницей меж пестрого газона масок, кружев, блесток, домино, был похож на золотого юношу Петербурга, ничего не знающего в жизни кроме веселья. Был пшютоват, говорил с раздевавшим его лакеем тоном фата.

В зале играли вальс трубачи. Зал блестящ, громаден. Танцевала тысяча народу. Найти среди масок Азефа представлялось невероятным. Савинков перерезал угол зала, красное домино рванулось к нему, взяло за локоть и тихо сказала:

— Я тебя знаю.

Это была полная женщина. Савинков засмеялся, освобождая локоть.

— Милая маска, ошибаешься. Ты меня не знаешь, так же, как я тебя.

— Ну, всё равно, ты милый, пойдем танцевать.

— Скажи, где ты будешь, я подойду после, я занят.

— Чем ты занят?

Три белых клоуна завизжали, осыпая Савинкова и маску ворохом конфетти, обвязывая серпантинном. Савинков хохотал, отстраняясь. Маска опиралась о руку Савинкова, прижимаясь к нему. Было ясно, чего хочет красное домино.

Из коридора Савинков увидал: — в черном костюме, по лестнице поднимается Азеф. Азеф шел уверенно, солидно, как хороший коммерсант, не торопящийся с развлечениями маскарада.

— Знаешь, маска, не сердись, иди в зал...

— Нет, ты обманешь.

— Слушай, говорю прямо: иди, ты надоела.

— Негодяй, — прошипела маска, ударяя по руке веревкой и пошла прочь.

Савинков видел, Азеф поздоровался с стоящим в дверях молодым человеком, в светлом костюме. Человек был лет двадцатипяти, крепок, невысок.

Савинков видел, что Азеф его заметил. Не упуская Азефа и молодого человека из виду, он пошел. В буфете, догнав, он положил руку на плечо Азефа.

— Ааа, — обернулся Иван Николаевич, дружески беря под руку Савинкова — познакомьтесь.

Савинков пожал руку молодому человеку. Тот сказал: — «Леопольд».

Савинков догадался — Максимилиан Швейцер.

В буфете купеческого клуба звенели тарелки, вилки, ножи, ложки, несся хлоп открываемых бутылок. Маски, люди без масок, сидели за столами. Напрасно Азеф с товарищами искал места. Но лакей провел их в зимний сад. Тут под пальмами они были почти что одни. Азеф был сосредоточен. Савинков перекинулся с Швейцером незначительными фразами. Швейцер показался похожим на автомат: уверенный и точный.

— Вы привезли динамит? — проговорил тихо Азеф, обращаясь к Швейцеру.

— Да.

— И приготовили снаряды?

— Да.

— Сколько у вас?

— Восемь. Могу сделать еще три, — сказал Швейцер, затачиваясь папиросой.

— Так, так, — подумав, сказал Азеф.

— А как у тебя наблюдение, Павел Иванович?

— Хорошо. Егор и Иосиф трижды видели карету. Оба извозчика стоят у самого департамента.

— Это опасно, предупреди, чтобы не делали этого.

— Я говорил. Они не замечают никакого наблюдения.

— Всё-таки предупреди. У самого дома стоять не к чему. Это не нужно. А как «поэт»? И как ты предполагаешь, у тебя есть план?

— Да, наружного наблюдения совершенно достаточно. Оно выяснило, что по четвергам Плева выезжает с Фонтанки к Неве и по Набережной едет к Зимнему. Возвращается той же дорогой. Раз это ясно. Раз снаряды го-

товы. Люди есть. Так чего же недостает? Плеве будет убит, это арифметика.

Азеф посмотрел на него, сказал.

— Не только не арифметика, но даже не интегральное исчисление. Так планы не обсуждают. Если б всё так гладко проходило, мы б перебили давно всех министров.

Швейцер молчал, не глядя ни на одного из них.

— Никакого интеграла тут нет, — вспыхливо проговорил Савинков, — план прост, а простота плана всегда только плюс.

— Ну, говори без философии, — улыбаясь перебил Азеф, — как ты думаешь провести?

— Лучше всего так. Покотилов хочет во что бы то ни стало быть метальщиком. Так пусть...

— Что значит, во что бы то ни стало? — перебил Азеф.

— Он говорит, что его опередил Карпович, Балмашов, Качура, что он не может ждать.

— Какая чушь! Мне наплевать, может он или не может. Я начальник Б.О. и кого назначу, тот и будет метать. Из-за истерики Покотилова я не рискую делом.

— Дело тут не в истерике. Покотилов хороший революционер, я в нем уверен. Он сделает дело. И я не вижу оснований, почему ему не идти первым?

— Ну? — перебил Азеф.

— Покотилов с двумя бомбами сделает первое нападение прямо на Фонтанке у дома Штиглица. Боришанский с двумя бомбами займет место ближе к Неве. Если Покотилов не сможет метать или метнет неудачно, то карету добьет Абрам. Сазонов извозчиком тоже возьмет бомбу и станет у департамента полиции. Если ему будет удобно метать бомбу при выезде Плеве, он будет метать.

Азеф чертил карандашом по бумажной салфетке, казалось, даже не слушая.

— Ну, а если Плеве поедет по Пантелеймоновской и по Литейному, тогда что? — презрительно посмотрел он на Савинкова.

— Тогда на Цепном мосту будет стоять Каляев. Если Плеве поедет по Литейному, Каляев даст знак, Покотилов с Боришанским успеют перейти.

— Ерунда, — сказал Азеф, — этот план никуда не годится. Это не план, а дерьмо. С таким планом нищих

старух убивать, а не министра. Дело надо отложить. Тобой сделано мало, а с недостаточностью сведений нельзя соваться. Это значит только губить зря людей и всё дело. Я на это не соглашусь.

— Человек! — махнул Азеф лакею, — сельтерской!

Савинков был взбешен. Обидело, что незаслуженные упреки говорятся при новом товарище. Он выждал пока лакей, откупорив задымившуюся бутылку, налил Азефу в стакан сельтерскую. Когда лакей отошел, Савинков заговорил возбужденно.

— Если ты недоволен моими действиями, веди сам. С моим планом согласны Сазонов, Покотилов, Мацеевский, «поэт», Абрам, я не знаю мнения товарища «Леопольда», — обратился он в сторону спокойно сидящего Швейцера, — все же другие товарищи уверены, что при этом плане 99% за то, что мы убьем Плеве.

— А я этого не вижу, — сказал Азеф, отпивая сельтерскую.

— Тогда поговори сам с товарищами, может они тебя убедят.

— Надо бить наверняка. А не наверняка бить, так лучше вовсе не бить. — Азеф откинулся на спинку стула, в упор смотря на взволнованного Павла Ивановича.

— Как знаешь, я свое мнение высказал. Я его поддерживаю, — сказал Савинков. — Дай тогда твой план.

Азеф молчал.

— Как вы думаете, товарищ «Леопольд»? — обратился он к Швейцеру.

Швейцер взглянул на Азефа спокойно и уверенно.

— Моя задача в этом деле чисто техническая. Я ее выполнил. Восемь снарядов готовы. Что касается плана Павла Ивановича, то думаю, что при некоторой детализации он вполне годен, — и Швейцер замолчал, не глядя на собеседников.

— А я думаю, что это плохой план, — упрямо повторил Азеф, — и на этот план я не соглашусь.

В это время в дверях зимнего сада появилось красное домино под руку с средневековым ландскнехтом. Савинкову показалось, что маска указала на него своему кавалеру. Азеф увидел ее косым глазом и, легши на стол, тихо проговорил:

— Что это за красное домино, Павел Иванович? Она была с тобой?

Лицо Азефа побледнело. Не меняя позы сидел Швейцер. Домино шло, смеясь с пестрым ландскнехтом.

— Чорт ее знает, просто пристала.

— Это может быть совсем не просто, — пробормотал Азеф, — до какого чорта ты неосторожен. Надо платить и расходиться.

— Да говорю тебе, просто пристала.

— А ты почему знаешь, кто она под маской? — зло сказал Азеф. И откинувшись на спинку стула, как бы спокойно крикнул:

— Человек! Счет!

Все трое, вставая, зашумели стульями. И разошлись в разные стороны в большом танцевальном зале. Первым из клуба вышел Азеф. Он взял извозчика. И только, когда на пустынной улице увидел, что едет один, слез, расплатился и до следующего переулочка пошел пешком.

«Убьют», — думал он на ходу. «Теперь не удержишь». Но вдруг Азеф улыбнулся, остановившись. «Если отдать всех? Тысяч двести!» — пробормотал он, и пот выступил под шляпой. «Полтора ста наверняка!» В мыслях произошел перебой. Когда пахло деньгами, Азеф всегда чувствовал захватывающее волнение. «Надо увидаться с Ратаевым, завтра же», — решил Азеф и свернул в переулок.

18

Л. А. Ратаев приехал в Петербург одновременно с Азефом. Конъюнктура в департаменте полиции волновала. Карьере грозили удары. Департамент, в новом составе, словно игнорировал работу по борьбе с революционерами, оказываемую инженером Азефом. Ратаев понимал, это интриги полковника Кременецкого. Их надо вывести на чистую воду. Вот почему Ратаев нервно ходил по конспиративно-полицейской квартире на Пантелеймоновской, поджидая Азефа.

Ровно в четыре, после обеда, Азеф вышел из гостиницы «Россия». Ратаев сам ему отпер дверь. Но таким мрачным, как свинцовая туча, Ратаев никогда не видел сотрудника. Азеф, войдя, не сказал ни слова.

— Что вы, Евгений Филиппович? Что случилось?

— Случилось самое скверное, что может случиться, — пробормотал Азеф, проходя в комнату, как человек хо-

рошо знающий расположение квартиры. Ратаев шел за ним.

Азеф стоял перед ним во весь рост. Лицо искажено злобой, толстые губы прыгали, как два мяча, белки были красны, беззрачковые глаза налиты ненавистью, он махал руками, крича:

— Леонид Александрович! Если дело так будет идти, я работать не буду! Так и знайте! Меня ежеминутно подставляют под виселицу, под пулю, под чорт знает что!

— Да в чем же дело? Что случилось?

— Вот что случилось! — и Азеф кинул письмо. Оно начиналось «Дорогой Иван». Ратаев взглянул на подпись «целую тебя, твой Мяхаил».

— Гоц? — спросил он.

Азеф не ответил, он сидел взволнованный, желто-белый, похожий на гигантское животное, готовое прыгнуть.

Покуда Ратаев читал, его изумление росло. Азеф повернулся.

— Ну, что вы скажете? Видите, действия департамента уж начали выдавать меня. Этот Рубакин прямо пишет Гоцу, что я провокатор! — Азеф в злобе поперхнулся слюной, закашлялся. — Это чорт знает что! А арест Клитчоглу вы думаете пройдет даром? Вы думаете, революционеры дурее ваших дураков из департамента? — кричал Азеф. — Нет, простите, у них не пропадают документы, как пропадают в департаменте, что вы скажете об этом? Ведь у вас сидит их человек, теперь это ясно, вас мало беспокоит, что я буду за гроши висеть на вешалке или валяться дохлой собакой!

Азеф ходил вокруг Ратаева, лицо наливалось докрасна, он был страшен. Ратаев молчал, тербя ус.

— Вы полагаете, Евгений Филиппович, Гоц может поверить? Ведь он же пишет, что всё это вздор, чтоб вы не волновались. Мне кажется, вам надо только...

— Вы оставьте, что мне надо! Вы говорите, что вам надо, чтоб избегать таких промахов, разве, скажите пожалуйста, в Москве у Зубатова это было возможно? Ведь здесь такой хаос, что чорт ногу сломит. Один отдает приказ не арестовывать, другой хватает, разве так можно вести дело? Да еще за гроши, я эти гроши мирной работой зарабатую. — Азеф на ходу бросил: — Не для этого я сюда шел.

Ратаев встал.

— Постойте, Евгений Филиппович, я схожу поставлю кофейку, выпьем, потолкуем спокойней, а то вы действительно на меня страху напали. Не так черт страшен.

Азеф не сказал ни слова. Оставшись один, ходил из угла в угол. Подошел к окну. Окно завешено плотной занавесью. Встав за ней, Азеф глядел на пустую улицу. Ехали ваньки, шли усталой походкой люди. Азеф стоял, смотрел в пустоту улицы и решил убить Плеве. За то, что так дальше нельзя работать. За то, что Рачковский намекает провалить. За кишиневский погром.

В коридоре раздались шаги. Приняв решение, Азеф был уже спокоен. Но при входе Ратаева принял прежнее, насупленное выражение.

Ратаев вошел с подносом. Изящной фигурой напоминал о кавалерии. С чашками, кофейниками, сухарями был даже уютен. И странно предположить, что пожилой, легкий кавалерист, с подносом, ведет борьбу с террористами.

— Выпьем-ка кофейку, парижский еще, да вот потолкуем, как всяческого зла избежать. Я тут же обо всем напишу Лопухину. Милости прошу, — передавал Ратаев Азефу чашку стиля рококо с венчиком из роз по краям.

Азеф молча клал сахар, молча отхлебывал. Всё было решено. Он поставил точку, и точка стала его спокойствием.

— Видите ли, Евгений Филиппович, — говорил Ратаев, он любил самое дорогое, ароматное кофе, — вы так распались из-за этого письма вашего Мовши, — улыбнулся Ратаев, — что я даже не возражал, а ведь, дружок, наговорили кой-чего оскорбительного. Да как же? Ну, друзья положим старые, во многом соглашусь даже, что правы. Конечно, у Зубатова никогда такого столпотворения не было. С вами, например, ряд ошибок грустнейших. Об аресте Клитчоглу я уж выяснил, это штука полковника Кременецкого. У него есть такой наблюдательный агент, который врет ему, как сивый мерин, и они с ним, якобы, не утерпели. Всё, конечно, в пику мне делается, как вы знаете. И с пропажей документов, всё это есть. Но донос Рубакина совсем же не страшная вещь. Этого всего избежим и избежим навсегда. Обещаю, что переговорю лично с Лопухиным. И волноваться нечего, революционеры вам конечно верят и письмо Рубакина...

— Верить вечно нельзя, — сказал гнусаво Азеф, поставив чашку.

— Это вы правы, но ведь нет же никаких оснований к недоверию, есть только слухи?

— Слухи могут подтвердиться фактами, Леонид Александрович. Я бы вас просил не только поговорить с Лопухиным, но устроить и мне свидание.

— С Лопухиным? На какой предмет?

— Во-первых, хочу просить прибавки. За это жалование я не могу работать. А потом у меня к нему будут сообщения важного характера.

— Но вы же можете сообщить это мне? — глаза Ратаева стали осторожны.

— Я хочу ему непосредственно сообщить, чтоб подкрепить мою просьбу.

— Ах так, ну, дипломат, дипломат вы, Евгений Филиппович, ну, что ж, я доложу, мое отношение к вам вы знаете, доложу и думаю, он вас примет.

— И возможно скорей. А то я уеду.

— Хорошо, — сказал Ратаев, — кофейку еще прикажете?

Азеф пододвинул чашку.

Наливая, Ратаев заговорил снова, чувствовал, что гроза прошла, и можно было переходить безболезненно к делу.

— А вот что я хотел вас спросить, Евгений Филиппович, тут стали поступать тревожные сведения. Вы же знаете наверное, что из ссылки за границу бежал некий Егор Сазонов и будто бы с твердым намерением вернуться и убить министра Плеве.

— Ну? — недовольно сказал Азеф, как будто Ратаев говорил что-то чрезвычайно неинтересное.

— Вы его за границей не встречали? Не знаете о нем? И насколько всё это верно?

— Не знаю, — покачивая головой, отпивая кофе, сказал Азеф — как вы говорите, Егор?

— Да, да, Егор Сазонов.

— Такого не знаю. Изота Сазонова в Уфе встречал, а Егора нет.

— Так Изот его брат.

— Не знаю. Да откуда у вас эти сведения?

— Сведения, конечно, непроверенные, но как будто источник не плох, хоть и случайный.

— Ерунда, — сказал Азеф, — не слышал.

— Но как же, Евгений Филиппович, ведь настаивают даже, что здесь есть несколько террористов.

— Здесь есть.

— Ну?

— Так что ну? Вы сами знаете, что я приехал сюда два дня тому назад, не свят я дух, чтоб насквозь всё видеть.

— Но вы же сами говорите, что есть?

— Говорю, что есть какие-то но не узнал еще кто, это кажется даже не заграничные, местные, из других городов. У меня будут с ними явки, тогда скажу.

— Да, да, это очень важно, очень важно, — захлопотал Ратаев, — а не может ли быть это подготовкой центрального акта, спаси Бог, как вы думаете?

— Не знаю пока. Но думаю, это бы я знал.

— Стало быть у вас сведений никаких решительно, кроме тех, что сообщили?

— Есть. Хаим Левит в Орле. Его надо взять. Он приступает к широкой деятельности. Взять можно с поличным.

Ратаев вынул записную книжку, быстро занес.

— А Слетова взяли?

— Как писали, на границе.

— Тоже опасный. Держите крепче, — прогнусавил Азеф.

— А скажите пожалуйста, Евгений Филиппович, правда, что Слетов брат жены Чернова?

— Правда, — сказал Азеф и встал. — Стало быть я прошу, Леонид Александрович, устройте мне свидание с Лопухиным, оно необходимо, а кроме того всё выясните и переговорите, чтобы в корне пресечь безобразное ведение дел. Скажите прямо, что я не могу так работать, мне это грозит жизнью.

— Знаю, знаю, Евгений Филиппович, будьте покойны.

— Известите меня до востребованья.

— Будьте покойны. А Левит, простите, сейчас наверняка в Орле?

— Наверняка. Телеграфируйте. И возьмут. Он там еще месяц пробудет.

— Брать-то его рано, надо дать бутончику распуститься.

— Это ваше дело. Ну, прощайте, — сказал Азеф, — мне пора.

Ратаев видел, как через улицу шел Азеф. Улица была мокрая от мелкой петербургской измороси. Машинально Ратаев взглянул на часы: — в конспиративно-полицейской квартире они показывали четверть шестого.

19

В пять на Гороховой стояли два извозчика, не на бирже. Один — возле дома № 13, другой у дома № 24. Первый был щегольской, с хорошей извозчичьей справой, с лакированным фартуком, лакированными крыльями пролетки. Другой — дрянной. Лошадь понурилась. И понуро сидел на козлах извозчик. Извозчики были заняты, отказывали седам.

Четверть шестого на Гороховой появился элегантный господин в коричневом пальто и в такой же, в тон, широкополой шляпе. Как все петербургские фланеры господин шел рассеянной походкой, помахивая тросточкой.

Поравнявшись с первым извозчиком, глянул на него. Но мало ли кто глядит на извозчиков? Может, барин ехать хотел, а теперь раздумал. Молодой человек в коричневом пальто перешел улицу. Он уже прошел второго извозчика, но вдруг, что-то сообразив, круто повернулся и махнул тростью. Разбирая возжи, синий кафтан завоzilся на козлах. Господин сел в пролетку и извозчик тронулся.

Проезжая шагом мимо первого извозчика, господин заметил в его взгляде извозчичью зависть: — взял вот, мол, седака, а я еще стою. Но извозчичьего взгляда никто на Гороховой улице не видел. К тому ж, он изменился. С противоположной стороны к извозчику шел толстый коммерсант в черном глухом пальто, в котелке, с зонтиком в руках. Коммерсант шел медленно, был толст. Оглянувшись, уж перед извозчиком, назад, коммерсант сел в пролетку, своей толщиной низко опустив рессоры. Извозчик тронулся.

Из блестящего центра города извозчики ехали к окраине, в квадратную петербургскую темноту с желтью фонарей. Шли рабочие глухие кварталы, с скверными запахами, дымами. Прыгали извозчиьи пролетки по плохověмощенной мостовой. У Невской заставы притухшим дымом дымились трубы фабрик. Извозчики ехали. Пошла неизвестная окраина с какими-то грязными трактиришками. Мостовая стала, как уездная гать. Пролетки ехали медленно. Скоро, свернув с дороги на проселочник, скрылись в темноте.

В поле первый извозчик остановился. Савинков, слезая с пролетки, пробормотал: — Заехали к чорту на рога, Иосиф.

Мацеевский по-извозчицки прыгнул с козел и пошел к лошади. В темноте он поправлял сбившуюся на сторону запряжку. Лошадь пофыркивала, обмазала кафтан, шедшей из-под удил, пеной.

Вырисовывался силуэт второй пролетки. Лошадь остановилась. К первой, в темноте, медленно прошла полная фигура Азефа.

— А не накроют? — оказал он, здороваясь с Савинковым.

— Какой чорт, тут хоть глаз выколи. У тебя револьвер есть?

— Есть. Мы чисто ехали? Ты уверен?

— Уверен.

— Сделаем так, — сказал Азеф, — сядем в первую пролетку и всё обсудим, это во всех смыслах удобнее, если и погоня будет.

Шумя длиннополым кафтаном подошел от второй пролетки Сазонов. Здороваясь с Савинковым и Мацеевским, проговорил певуче, смеясь.

— Темень-то какая, своих не узнаешь.

Мацеевский сел на козлы, Азеф и Савинков в пролетку, Сазонов стоял у пролетки, поставив ногу на подножку.

— Ну, Иван Николаевич — заговорил Мацеевский, — надо кончать, всё ясно, в 12 каждый четверг выезжает. Я даже в стекло самого министра видел.

— Где видели?

— На Фонтанке, недалеко от департамента.

— А вы, Егор, видели?

— Один раз, совсем мельком, — сказал Сазонов.

— Это вздор, вздор — страстно заговорил Мацеевский — ошибки быть не может, выезд известен, часы известны, ошибиться каретой нельзя, за ней несутся сыщики на лихачах, на велосипедах, у кареты белые, отмытые опилцы, черный лаковый кузов, рысаки либо вороные, либо серые, кучер с окладистой бородой, рядом сыщик, переодетый лакеем, ошибки быть не может. Давайте я буду первым метать, я ручаюсь.

— Пойдите, — сказал Азеф, — что вы думаете, Егор?

— Мне трудно говорить, — сказал Сазонов — я ви-

дел только раз. Но если товарищ Иосиф так уверен, если, например, он станет сигнальщиком, подтвердит карету, то я готов.

— Нет, так нельзя, — раздраженно сказал Азеф — бить надо наверняка.

— Иван Николаевич, — заговорил Савинков — я не понимаю, более точных сведений у нас никогда не будет. Товарищи видели карету три раза на расстоянии двух шагов. Стало быть Плеве мог быть уж три раза убит. Проводя наружное наблюдение дальше, мы только рискуем всем делом. Я предлагаю немедленно утвердить план и в следующий же четверг произвести покушение.

Азеф ничего не ответил. Мацеевский сказал:

— Совершенно верно, времени терять нечего.

Наступило молчанье.

«Убьют», — думал Азеф.

— Хорошо, — сказал он — но мне не верится, чтоб план прошел в точности, ведь маршрута не знаете, ставить акт у самого департамента, как ты хочешь Павел Иванович, всё равно что мыши лезть к кошке в рот. Я не могу дать на это свое согласие.

— А я вам говорю, Иван Николаевич, дальше вести такое наблюдение невозможно, мы влетим в лапы полиции. Нужно скорей кончать. Сорвется, не мы одни в Б. О., пойдут другие. А сидеть, ждать лучших условий — невозможно.

— Верно, — сказал Сазонов. — Давайте говорить о плане.

Азеф молчал. Фыркнула громко лошадь второй пролетки, обдавая слюной. В поле было необыкновенно темно и тихо.

— Ну, что ж, Иван Николаевич, согласен? — спросил Савинков.

— Если вы так хотите, хорошо, попробуем счастья, — медленно проговорил Азеф.

Мацеевский вздохнул, повернулся на козлах.

— Что ж ты предлагаешь свой план, Павел Иванович?

— Да, в общем, план этот, товарищи его знают.

— Он мало детализован, — сказал Азеф, — до будущего четверга есть еще время, приходи завтра в «Аквариум» половина десятого, мы детализуем план. И ты сообщишь товарищам.

Недалеко в поле раздался крик. Кричал мужской, хриплый голос «Стой! Стой!» и раздался шум столкнувшихся телег.

— Что такое? — прошипел, вскакивая с пролетки, Азеф.

Сазонов бросился на шум в темноту. Все замолчали. В темноте Сазонова не было видно. Крик сменился бранью. Брань неслась по полю в несколько голосов. Было ясно, столкнулись в темноте мужичьи телеги.

Сазонов вернулся.

— Стало быть завтра полдесятого в «Аквариуме»? — сказал Савинков.

— Они по этой дороге едут? — спросил Азеф.

— По этой, но еще далеко.

— Всё равно. Надо ехать. Все детали получите от Павла Ивановича.

Пожав руку Мацевскому и Савинкову, толстое, черное пальто и котелок скрылись у второй пролетки. Лошади с трудом проворачивали экипажи в пашне. Вытащив на укатанный проселочник, быстро тронули в темноте. Было слышно веселое пофыркивание и мягкий цок восьми копыт, ударяющихся в притоптанную землю.

20

— Как вы, Иосиф, думаете, будет убит Плеве?

— Уверен, — ответил Мацевский, сдерживая лошадь, наезжавшую на первую пролетку.

— Я тоже.

Они выезжали на большой, тряский, плоховымощенный тракт. Вторая пролетка поехала шагом, первая тронула рысью и скрылась в темноте.

Сидя в полоборота, Мацевский разговаривал с Савинковым.

— Знаете что, провезите меня по Среднему.

— Хорошо. Что там у вас?

— Жена и дети, — голосом улыбнулся Савинков.

— Правда? И вы их не видите?

— Вот уж полтора года. Без меня мальчишка родился. Мацевский, покачив головой, пробормотал длинное «иэх».

— Какой номер?

— 28.

— Когда ехали по Среднему, он был пустынен, желт

от пятен огней. Проплыла фигура городского рядом с странным очертанием ночного сторожа. Мацеевский пустил лошадь шагом. Пролетка проезжала дом № 28.

— Темно, — сказал Савинков.

— Какой этаж?

— Третий. Крайнее окно. Темно, — он вынул часы.

— Скоро два, — сказал.

— Куда же вас?

— Отвезите на Невский.

21

Вера стояла в темноте у кровати ребенка. Одной рукой держала сонное, пахнущее теплотой и детскими запахами тельце, другой меняла обмоченную простынку, что-то тихо шепча в полусонье попискивающему мальчику. Но это были не слова, а какое-то особое общение между матерью и сыном.

22

Барин в пенсне, с брезгливым лицом и завитыми усами, без четверти девять кончал пить кофе. Несколько раз взглядывал на стенные часы. Кофе был допит. У подъезда — экипаж. В девять директор департамента Лопухин проходит в кабинет на Фонтанке. Без пяти девять. А человека, свиданье с которым условлено, нет.

Рядом с чашкой лежало письмо. Оно было прочтено. Но всё ж, дожидаясь, Лопухин перечитывал: — «Дорогой Алексей Александрович! Простите, что опять беспокою вас, но обстоятельства крайне важные вызывают меня к этому. Еще осенью от известного вам секретного сотрудника были получены мною вполне определенные указания, что приблизительно в январе предполагается совершить покушение на жизнь статс-секретаря Плеве, при чем были указаны и лица наиболее близко стоящие к террористической деятельности. Таковыми являлись Серафима Клитчоглу, Мария Селюк и Степан Слетов. Серафима Клитчоглу была обнаружена, проживающей нелегально в Петербурге, и за ней велось секретное наблюдение. Испросив вашего разрешения, я предложил сотруднику отправиться к Серафиме Клитчоглу и вступить с ней в сношения. Секретный сотрудник посетил ее, при чем Серафима Клитчоглу рассказала следующее:

«Боевая организация существует и в ее составе насчитывается 6 человек исполнителей, выразивших готов-

ность пожертвовать собой. Для покушения на министра предполагается применить динамит, коего в распоряжении организации имеется до двух с половиной пудов. Никого из исполнителей пока еще в Петербурге нет, она же находится здесь в качестве маяка, т. е. к ней должны все являться. Руководителя обещали прислать из-за границы и, кажется, что он уже приехал в Россию, но в Петербурге его еще нет. При этом Клитчоглу рассказала сотруднику подробно, как выслеживают министра и как предполагают подкараулить его при выходе от одной дамы, проживающей на Сергиевской».

Обо всем изложенном я своевременно доложил письменно (доклады за №№ 26 и 32—904) и словесно вам. Но, к сожалению, наблюдать за Клитчоглу было поручено наблюдательному агенту начальника охранного отделения полковника Кременецкого. Этот агент, имеющий склонность сообщать преувеличенные и не всегда точные сведения, был помещен на жительство в те же меблированные комнаты, где жила Клитчоглу. 28 января Клитчоглу посетил Мендель Витенберг. Агенту «показалось», что он принес с собой бомбы. И ввиду, якобы, этого полк. Кременецким было отдано приказание о ликвидации, которая и была произведена в ночь на 29 января, но осязательных результатов не дала, да и дать не могла потому, что из вышеприведенных слов Клитчоглу ясно было, что план только что разрабатывался и что исполнители еще в Петербург не приехали.

За отсутствием улик, Клитчоглу теперь находится на свободе. Секретному же сотруднику, через которого получают столь важные сведения, благодаря неразумной и невызываемой делом поспешности полковника Кременецкого, грозит провал, в доказательство чего прилагаю при сем копию письма к нему известного члена центрального комитета партии соц.-рев. Михаила Гоца.

Сообщая о вышеизложенном убедительно прошу вас, Алексей Александрович, пресечь невыгодные общему делу интриги отдельных чинов департамента полиции и охранного отделения, подводящих заслуживающий всяческого внимания источник под неминуемый провал.

Искренно преданный вам Л. Ратаев.»

Лопухин органически не переносил расхлябанности. Он точно сказал Ратаеву, чтобы Азеф был без четверти де-

вать. «Говорить с провокатором, конечно, отвратительно», недовольно морщась, думал Лопухин. «Еще чего доброго с рукой полезет? Нннет, голубчик, ты необходим, но на почтительной дистанции».

В девять, Азеф грузно и тяжело вошел в кабинет за Лопухиным. Было видно, он взволнован. Лопухин принял это за выражение смущенья.

— Садитесь пожалуйста, — сказал Лопухин, указывая на кресло против письменного стола. Азеф сел. Свет окон осветил его. Лопухин остался в полутени.

«Как отвратителен», — думал Лопухин глядя на Азефа. Азеф был бледен утренней бледностью. Лицо смято. поэтому губы казались особенно красными и мясистыми.

— Вы инженер Евно Азеф?

— Да, — сказал Азеф, и поморщился, ему было неприятно, что Лопухин назвал его по фамилии, и тот легчайший оттенок антисемитизма, который показался ему в слове «Евно».

— Леонид Александрович мне передал, что вы имеете важные сведения, которые хотели сообщить непосредственно мне?

— Да, — сказал Азеф. Он не смотрел на Лопухина. Только сейчас скользнул. «Едва ли выйдет», — подумал Азеф. И положив руки на ручки кресла, сказал:

— Алексей Александрович, кажется так?

— Так, — сухо и несколько брезгливо ответил Лопухин.

— Прежде всего я хотел вам сказать, вы должны, — Азеф замаялся, — должны обратить серьезное внимание на революционные организации в Орле. Сейчас там ведет чрезвычайно опасную работу террорист Хаим Левит.

Лопухин сидел, как изваяние, молча. Только глаза скользили по Азефу. Оттого, что глаза были проницательны, Азеф, взглядывая в них, потуплял беззрачковые маслины в стол, в стул, в кресло, в сторону.

— Хаим Левит занят организацией массового террора в форме вооруженных демонстраций. Кроме того он занят подготовкой террористического акта первостепенной важности.

— Откуда у вас эти сведения? — сказал Лопухин, не выражая к рассказу, как показалось Азефу, ни интереса, ни доверия.

— Я сам был в Орле, я объехал несколько городов, — сказал Азеф.

— Так. Мы проверим. И примем меры. Есть у вас еще чтонибудь ко мне? — Лопухин взглянул на часы.

— Есть.

— Пожалуйста.

— Готовится покушение на вашу жизнь, — проговорил Азеф, глядя в лицо Лопухину. И несмотря на всю сдержанность директора, заметил, по его лицу пробежала тень. Лицо дрогнуло. Директор не ответил и не менял позы.

— Известно доподлинно, — гнусаво рокотал Азеф, — за вами установлена слежка, террористы выслеживают вас.

— Каков же план? — перебил Лопухин и вдруг его тонкие, искривленные губы выразили нечто вроде улыбки. «Поймал, взял», — думал Азеф, голос его стал тише.

— Террористы следят за вашими выездами с Сергиевской через Пантелеймоновскую на Фонтанку, думают произвести покушение у самого департамента.

— У самого департамента!!? — проговорил, улыбаясь, Лопухин, — да ведь это ж глупее глупого!

Азеф пожал плечами.

— Тем не менее это так. Наверное будут стараться произвести покушение там, где представится более удобным при вашем проезде с квартиры в департамент.

Лопухин был бледен, но улыбался.

Азеф был уверен, Лопухин взят.

Лопухин посмотрел на часы: — было четверть десятого.

— Мне пора в департамент, — улыбнулся он. — Больше у вас ничего нет, я вам не нужен?

— Есть у меня к вам личная просьба, Алексей Александрович, — проговорил Азеф. Лопухин уже стоял. Встал и Азеф.

— В чем дело?

— Я просил бы вас прибавить мне жалованье, — Азеф поймал насмешливый взгляд директора и сжался под ним. — Я полагаю, что сведения, даваемые мной, заслуживают...

«Ага, вот где план покушения на мою жизнь», — улыбаясь, подумал Лопухин. — «Этот негодяй лжет, желая получить за это деньги, шантаж».

— Хорошо, я подумаю об этом. Но полагаю, что это

не стоит в связи с покушением на мою жизнь? — презрительно рассмеялся Лопухин.

— Думаю, что за мою работу я заслужил больше доверия.

— Нет, нет, я шучу, я подумаю, и думаю, — задержался Лопухин, — что я вам прибавлю, ибо сведения, конечно, интересные, а пока... Прощайте, благодарю вас, — и сам не зная как, Лопухин протянул холеную руку в плавник Азефа.

Застоявшаяся лошадь ждала бегу. Перебирала забинтованными ногами. Когда в дорогом пальто и цилиндре вышел Лопухин, она рванулась, не дала ему сесть. Лопухин выпрыгнул на ходу. Кучер, ударив обеими возжами, передернул и бросил с места хорошим ходом.

Сергиевской, Литейным, Пантелеймоновской летели они. Лошадь вымахнула на Фонтанку. «Как просто, бомба и кончено», думал Лопухин, рассеянно смотря на проходящих людей. «Убили же Сипягина». Он почувствовал, что пробежала нервная дрожь и захотелось зевнуть. «Чорт знает, какая ерунда», — пробормотал он, вылезая из экипажа и входя в подъезд департамента полиции, не обратив внимания на поклон галунного, ливрейного швейцара.

23

Азеф шел медленно в сторону Воскресенского проспекта. «Если не дураки, схватят», — лениво думал он, — «дураки, — от кареты не останется щепок». Остановившись, он закурил. Папироса не раскуривалась. Когда раскурил, Азеф, тяжело ступая, пошел, напевая любимый мотив: «Три создания небес шли по улицам Мадрида». С очереди взял извозчика, сказав: «Страховое общество «Россия». И поехал внести страховую премию, за застрахованную в обществе «Россия» жизнь.

24

В «Аквариуме» за бутылками и кушаньями сидели веселящиеся люди. Куплеты закидывающей ноги певицы летели в зал. Певица была в зеленоватоблестком платье.

— Я голоден, как чорт, давай хорошенько поужинаем, — пробормотал Азеф.

С аппетитом жуя бифштекс, Азеф поглядывал и на рябчика в сметане, которого дробил ножом и вилкой Са-

винков. Вместо пезицы на сцену выкатился мужчина в костюме циркача с порнографическими усами и, делая невероятные телодвижения, заплясал под ударивший оркестр.

Матчиш прелестный танец
Живой и жгучий
Привез его испанец
Брюнет могучий.

— Я сегодня был на Фонтанке, обдумывал план, — рокотал в звоне зала Азеф, — «поэт» должен обязательно стоять на Цепном мосту. Плеве может поехать по Литейному. Это надо учесть.

Мужчина вихлялся всё безобразнее:

В Париже был недавно
Кутил там славно.
В кафешантане вечно
Сидел безопасно...

— Только знаешь, я твоему Алексею не верю. Ты думаешь, он хорош для метальщика? Ведь тут нужен железный товарищ. А Алексей нервная баба.

— Пройдет.

— Что значит пройдет? И ставить дело прямо у департамента — всё-таки идти на отчаянность. У департамента шпики, филеров кишмя кишит. Или ты думаешь, они такие дураки, что даже к департаменту подпустят?

— Дело тут не в дураках. До сих пор ни один из товарищей не замечал слежки. Все ходили чисто. До четверга три дня. Так почему ж за три дня всё изменится, когда не менялось за три недели?

— Измениться может в одну минуту.

— Если будет провокация?

— Хотя бы. А ты что думаешь, этого в нашем деле не надо учитывать? Разве ты знаешь насквозь всех товарищей? Мне, например, некоторые могут быть подозрительны, — нехотя проговорил Азеф.

— Ерунда! Лучших товарищей нет в партии.

— Ну, как знаешь, — пробормотал Азеф, — я сказал, попробуем счастья. Но еслиб не желание товарищей, я бы всё-таки не приступил к выполнению. Можно ставить по другому.

— То-есть?

На сцену вплыли мужчина во фраке, женщина в полу-

голом оранжевом платье. Музыка заиграла томительно. Они начали танец.

— Ну, хотя бы так, — вяло рокотал Азеф, — у Плеве есть любовницы. Одна, графиня Кочубей, живет на Сергиевской с своей горничной. Очень просто. Можно выследить, когда он туда ездит.

— Там?

Азеф растянул губы и скулы в улыбку.

— Нехитрый ты, Павел Иванович, слабó на счет организационных способностей. Всё прямо в лоб. Надо кому-нибудь из товарищей познакомиться с горничной, подделаться, вступить в самые настоящие сношения, прельстить можно деньгами. Когда Плеве будет в спальне, товарищ у горничной, он отойдет двери и всё.

— Ты понимаешь, что говоришь? Ведь это же будет узвано, печать выльет на нас такие помои, что ввек не отмоешься.

— Чушь, не всё равно где убить?

— Не всё равно.

— А я вот, если не удастся твой план, обязательно отправлю тебя на мой план. Ты эlegantный, должен нравиться горничным, — и Азеф высоко и гнусаво захохотал.

— Брось глупые шутки, Иван Николаевич, — вспыхиво проговорил Савинков. — Через три дня может быть все погибнем, а ты разводишь такую пошлость.

Выражение лица Азефа мгновенно сменилось. Он смотрел ласково.

— Я ж не всерьез.

Савинков смотрел на сцену. Танец был красив. Танцовщики стройны. Тела как резиновые, до того гнулись, выпрямлялись и снова шли в танце.

— Тебе надо денег? — пророкотал Азеф. — Я завтра уезжаю.

— Уезжаешь?

— Да. По общепартийным делам. После акта пусть товарищи разъезжаются.

— Кроме тех, кто будет на том свете, конечно?

Не слушая, Азеф отдавал приказания:

— Часть пусть едет в Киев, часть в Вильно. А ты

приезжай в Двинск, мы в субботу встретимся на вокзале в зале I-го класса. В случае неудачи все должны оставаться на местах. — Он передал Савинкову, толстую, радужно-розовую пачку денег.

25

В паршивой гостинице «Австралия» Каляев не спал, писал стихи.

Да, судьба неумолима
Да, ей хочется, чтоб сами
Путь мы вымостили к счастью
Благородными сердцами.

Номер был вонючий. Коптила керосиновая лампа. За перегородкой слышались возня, взвизги. Каляев был бледен, на бледности лица мерцали страдающие глаза. Пиша, склонялся низко к столу.

Миг один и жизнь уходит
Точно скорбный, скучный сон
Таает, тенью дальней бродит,
Как вечерний тихий звон.

Дверь его номера стремительно растворилась. Через порог ввалился пожилой, бородатый человек с совершенно расстегнутыми штанами. Человек был пьян и икал.

— Ах, черти дери, — крикнул человек, — простите коллега, не в свой номер попал, — и икая, заплетаясь ногами, повернулся и хлопнул дверью.

Каляев не отвечал, не заметил человека с расстегнутыми штанами. Ему было тепло и зябко от музыки стиха.

Что мы можем дать народу
Кроме умных, скучных книг,
Чтоб помочь найти свободу?
— Только жизни нашей миг.

По улице, звеня, прошла утренняя конка. Каляев кончил стихотворение. Встал и долго стоял у окна, смотря на рассветающую улицу.

26

Когда вечер окутывал великолепие императорских дворцов, мосты, сады и аркады, Алексей Покотилов вышел из гостиницы «Бристоль» в волнении. В минуты волнения у него выступали на лбу кровавые капли от экземы. Он часто прикладывал платок ко лбу. И платок кровянился. Алексей Покотилов был в волнении не от убийства, назначенного на завтра. Он получил из Полтавы полное любви письмо

женщины. Пробужденное письмом чувство, вместе с напряженностью ожидания завтрашнего, создали невыразимое мученье. Но мученье настолько сладостное, что ничего так сладко режущего душу Покотилов не переживал. Он знал, Дора из газет узнает обо всем. Это будет невыразимое счастье! Ведь Дора не только любимая женщина, Дора — революционер, товарищ, мечтавший о терроре. И вот Алексей начал, а за ним выйдет Дора.

Покотилов шел с наклеенной русой бородой. Савинков ждал его на Миллионной.

— Ну, как?

— Прекрасно, — улыбнулся Покотилов.

Идя в сторону Адмиралтейства, Савинков заметил — Покотилов движется неровно, то напирая на него, то откатываясь. «Может, прав Азеф?» — подумал Савинков.

— Я получил сегодня письмо, — улыбаясь, заговорил Покотилов, — от любимой женщины и вот теперь необычайное чувство, необычайное, — повторил он, — ах, Павел Иванович, если б она только знала, что будет завтра! О, как бы она была счастлива, как счастлива, мы решили вместе идти в террор.

— Она ваша жена?

Покотилов повернулся.

— Что значит жена? Какой вы странный.

— Вы не поняли. Я не о церковном браке. Вы любите друг друга?

— Конечно, — тихо отозвался Покотилов. — Ах, Павел, дорогой Павел, вы простите, что я вас так называю. Хотя, правда, к чему это «вы»? Мы должны говорить друг другу «ты», ведь мы же братья, Павел.

— Да, мы братья.

— Павел, я совершенно уверен в завтрашнем. Больше того, я знаю, что именно я убью Плеве. Знаешь, без революции нет жизни. А ведь революция — это террор.

Глядя на бледное лицо, смявшуюся, русую бороду, возбужденные глаза, кровавой платок. Савинков думал: — «А вдруг не убьет, вдруг не сможет, и выдаст всю организацию».

— Павел, вы любили когда-нибудь? Я путаю «ты» и «вы», прости, всё равно. Ты любил когда-нибудь?

— Я? Нет, не любил.

— Жаль. Ах, если б ты любил. Я уверен, что завтра

вы все будете живы. Плеве мой, я убью его. А вы должны жить и вести дальше дело террора. Жаль только, что не увижу Ивана Николаевича. Знаешь, многие его не любят за грубость, говорят, что резок, не по товарищески обращается, но ведь, это такие пустяки, я люблю Ивана, как брата, он наша душа, жаль что не увижу его...

— Ничто неизвестно, Алексей. Может быть ты не увидишь, может я, может быть оба. Я Ивана тоже люблю. Он больше чем мы нужен революции.

— Как я жалею, что Дора не с нами, — протянул Покотилов, — она замечательный человек и революционер, я хочу, чтоб ты знал: — ее зовут Дора Бриллиант, она член нашей партии, давно хочет работать в терроре, но не могла добиться, чтоб ее взяли. Я ее больше не увижу, но это счастье, Павел! Ты понимаешь, что это счастье?

— Если ты говоришь, я тебе верю. Но это вероятно что-то очень метафизическое.

— Нет, не метафизическое, — строго сказал Покотилов. — Мы не можем иначе жить и мы отдаем себя нашей идее. В этом наша жизнь, разве ты не понимаешь этого?

Савинков улыбнулся: «Не болен ли Покотилов?»

27

В эту ночь Плеве страдал бессонницей, вставал, шлепал синими туфлями с большими помпонами, зажигал свет. Принимал капли. Бурчал что-то про себя. Он ощущал тяжесть в груди, в области сердца. Это мучило и не давало сна. Только к рассвету Плеве заснул.

28

Покотилов сидел полураздетый в номере, писал прощальное письмо Доре. Каляев до рассвета ходил по улицам. Боришанский проснулся от собственного крика, снился страшный сон, но когда вскочил, не помнил, что снилось.

В извозничьей квартире, на постоялом, спокойно спал Егор Сазонов. Спал Иосиф Мацевевский. Заставил бромом уснуть себя и Борис Савинков...

Не спал Максимилиан Швейцер. Не хватало трех снарядов. К десяти утра они должны были быть готовы. Швейцер с засученными рукавами быстро мешал у стола желатин, вполголоса напевая:

«Durch die Gassen
Zu den Massen».

У стен лежали железные коробки, реторты, колбы, па-

яльные трубки. Швейцер размешивал, паял, резал. Он был силен, легок, с упрямой линией лба. Швейцер слегка волновался, как химик, назавтра готовящийся к гениальному открытию.

Переходил от большого стола к маленькому. Брови были сведены. Шагов по запертой комнате не слышалось. Он был в туфлях.

В шесть утра снаряды были готовы. Швейцер обтерся мокрым полотенцем и лег, поставив будильник на стул у кровати. В девять будильник приглушенно затрещал. Швейцер выбрился, умылся. На полу лежал чемодан, годный для взрыва полпетербурга. Увидав в окно подъезжающего извозчика, Швейцер надел пальто, взял чемодан и вышел.

С козел улыбнулся Сазонов. Взяв чемодан на колени, Швейцер сказал: «Поехали».

29

После бессонницы, Плеве встал пасмурный.

Камердинер брил министра прекрасным клинком Роджерса. Принес вычищенное платье. Надевая вицмундир, ленту и звезду, Плеве посмотрел в зеркало и спросил строго:

— Карета готова?

30

По 16-й линии Васильевского острова в экипаже ехали Швейцер и Покотиллов. Покотиллов спокоен. Не говорил ни слова. У Тучкова моста увидели фигуру Боришанского. Покотиллов с двумя бомбами вылез. Боришанский сел в экипаж. У Боришанского глаз подергивался тиком. Возле облупленного дома купца первой гильдии Сыромятникова, извозчик-Сазонов остановился. Швейцер и Боришанский сошли. Швейцер отдал Сазонову пакет со снарядами. Спрятав его под фартук, Сазонов поехал шагом.

В 11 все были на местах. Савинков с видом петербургского фланера прошел по Фонтанке. Диспозиция ясна. Все спокойны. Он шел к Каляеву на Цепной мост.

— Янек, веришь? — подойдя, проговорил Савинков.

— Мне не достало снаряда. Почему Боришанский, а не я?

— Он сказал бы, наверное, тоже самое. Будь спокоен, трех метальщиков достаточно.

Странно улыбаясь, Савинков пошел к Летнему саду. Его

охватывало щемящее чувство, как на номере облавы, когда начался уже гон и слышится, кустарником шелестит выходящий зверь. «Для этого стоит жить», — пробормотал Савинков. В Летнем саду он сел на скамью, вынул портсигар и с необыкновенным удовольствием закурил.

31

Министерский кучер Никифор Филиппов вышел из каретника в синем кафтане с подложенным задом, в ослепительно белых перчатках. Осмотрел карету, открыл дверцу, заглянул: — вычищена ли. Конюха держали рысаков под уздцы.

Поднявшись на козлы с колеса, схватив возжи в крепкие руки, Филиппов осадил бросившихся вороных коней. Тихим, красивым ходом выехал за ворота, на Фонтанку. Рысаки кольцами гнули чернолебединые блестящие шеи.

Карета замерла в ожидании министра. Сзади становились экипажи сыщиков. Вышли велосипедисты. Все ждали появления пожилого человека в треуголке. Без четверти двенадцать Плеве быстро прошел к распахнутым дверцам кареты. Велосипедисты сели на велосипеды. Рысаки тронули. Плеве был сумрачен. Карета неслась к расставленным Савинковым метальщикам. Плеве не знал, что у Рыбного ждет Боришанский. У дома Штиглица Покотилов. Плеве обдумывал, как начнет доклад императору по поводу «Сводки заслуживающих внимания сведений по департаменту полиции». Карета мчалась стремительно. И вскоре во всем великолепии перед ней вырос расстреллиевский Зимний дворец. Ровно в двенадцать рысаки встали у дворцового подъезда.

32

Чтобы спасти боевую организацию, террористы выезжали из Петербурга в разных направлениях. Слежка за Боришанским у здания департамента была явной. Если бы с бомбами не бежал проходным двором, боевая была бы разгромлена.

С динамитом в желтом чемодане Швейцер уехал в Либаву. Боришанский в Бердичев. Каляев в Киев. Покотилов в Двинск. Савинков в Двинск — другой дорогой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В черном, шелковом платье, в номере гостиницы «Франция» в кресле сидела Дора Бриллиант. Савинков уехал по объявлению «Нового Времени» смотреть квартиру на Жуковской. Фигура Доры выражала тоску. Даже, пожалуй, болезненно-напряженную. Тосковали лучистые, темные глаза. Тосковали бледные руки.

Дорогое платье придавало странный вид этой женщине. Она походила на раненую птицу, готовую из последних сил оказать сопротивление.

Дора медленно прошла из угла в угол. Неумело, словно грозя оторваться, за Дорой волочился по ковру длинный шлейф. Дора подходила к окну, садилась, вставала. Она тяготилась жизнью в гостинице. И ролью содержанки англичанина Мак-Кулоха.

В этом городе, где Дора никогда не бывала, страшно разорвавшись в куски во время приготовления бомбы, умер любимый ею Покотилов. Теперь смотря в окно на чужой петербургский вид, Дора знала, зачем она здесь. И когда так думала, ей было легко и убить и умереть.

Распахнув с шумом дверь вошел Мак-Кулох. Он в модном костюме, в рыжих английских ботинках. В зубах трубка, с которой не расстается.

— Ну как?

— Не квартира, Дора Владимировна, а восторг! Хозяйка немка-сводница не живет в доме. Совершенно отдельная. Лучше желать нельзя. Завтра же переезжаем. Сегодня съезжу на Обводный за Ивановской. И заживем с вами, дорогая моя, прекрасно! — Савинков близко подошел к Доре.

Дора отстранилась.

— Поскорей бы переехать, — тихо сказала, — в этой отвратительной гостинице я измучилась.

— Дора Владимировна, вы сегодня грустны. Что случилось?

— А разве для нашего дела надо быть веселой?

— Бог мой, какая вы право! Говорю, что дело пойдет блестяще. И надо быть уж если не веселой, то бодрой. Иван от квартиры будет в восторге! Только не знаю как с автомобилем? Дора, вы любите автомобили?

— Мне кажется, что вы так входите в роль, что иногда всерьез принимаете меня за свою содержанку.

— Перестаньте Дора, в вас живет тысячелетняя еврейская грусть, это красиво, но утомительно. Итак, завтра в четыре часа переезжаем. А сейчас идемте обедать.

— Но неужто нельзя подать сюда?

— Моя дорогая, — строго сказал Савинков, — я говорил, в вашей роли могут представиться более неприятные эпизоды. Поэтому пойдемте в общий зал, чтобы все видели, как богат Мак-Кулох и какая у него красивая любовница.

Не дослушав, Дора встала, вынула из шкафа дорогое малиновое манто.

— Дора Владимировна, милая, манто прекрасно, но в черном платье вас видели слишком часто. К обеду надо надеть хотя бы стальное. К тому же, заметьте, черное шелковое, — классический мундир террористок. Прошу вас.

Дора покорно ушла за перегородку надеть стальное с серебром.

2

Квартира Амалии Рихардовны Бергеншальтер на Жуковской 31 опустела из-за японской войны. Жили тут: генерал Браиловский, адъютант поручик Недзельский и ротмистр Рунин. Это была холостяцкая, выдавшая виды квартира. Но полк выступил на Дальний Восток. И квартиру случайно сняли террористы.

Новые господа подъехали на длинной мягкой машине. Был июнь. Мак-Кулох одет в английский серый костюм с тысячью всяких пятнышек. Широкий галстук с жемчужовой булавкой. Широкополая шляпа, каких в России не знают. Надменные манеры. Длинные пальцы рук. Плечи остро выступают вперед. Грудь чуть впалая. Глаза оригинальны поперечным разрезом. Но мало ли каких глаз у англичан не бывает. Мак-Кулох гибкий, безукоризненно одетый джентльмен.

Под руку с любовницей прошел в квартиру. Малиновое манто чересчур ярко для дамы общества. Но его любовница — бывшая певица от Буффа. Шляпа с белым страусом. Ноги в крохотных золотых туфлях.

— Как вам нравится, Дора? — говорил Савинков,водя Дору по комнатам. — Недурно?

— Удобно. А когда придет Прасковья Семеновна Ивановская?

— Завтра, в девять.

В желтой гостиной Савинков, закуривая трубку, улыбался.

— Вы грустите, Дора, что носите на себе все эти роскоши, а какво курить трубку, когда больше всего на свете любишь русскую папиросу?

— Когда придет Сазонов?

— Завтра к вечеру. Но по объявлению наверное попрет целая армия лакеев. Надо быть осторожнее.

Савинков прохаживался по желтой гостиной, попыхивая трубкой.

— Скажите, Павел Иванович, правда что у вас в Петербурге жена, дети и вы их не видите?

— Правда. Откуда вы знаете?

— Алексей говорил. Вы не видите их совершенно?

— Нет.

Дора замолчала.

— Вашей жене тяжело. Она революционерка?

— Нет. Просто хорошая женщина, — засмеялся Савинков.

— Тогда вдвое тяжелее. У нас ведь нет жизни, такой как у всех, мы не живем.

Савинков никогда не видал в женщине такой смешанности грусти и решимости, как в Доре. Преданность делу революции была фанатична. Он знал, хрупкая, болезненно-красивая, Дора пойдет на любой террористический акт.

— Вот смотрю на вас, похожи вы, Дора Владимировна, на раненую птицу, которая хочет отомстить кому то. Вы правы, вы не из тех, кто любит жизнь. Возьмем хотя бы такую мечту, — побеждает революция, революционеры приходят к власти. Я не представляю себе, как вы будете жить? Представляю «Леопольда», он прекрасный химик. Ивана, он директор треста. Егора, Матеевского, Боришанского, всех, но вас, — нет.

Дора слушала, чуть улыбаясь из подбровья лучистыми, грустными глазами.

— Может быть вы и правы, не знаю, что бы я делала в мирное время. Всю жизнь стремилась к научной работе. Не удалось. А теперь не хочу и не могу. Вот недавно, гостила у знакомых: лес, луга, фиалки, чудесно, и вы знаете,

я не могла. Почувствовала, что надо уехать, потому что от этого воздуха, цветов, размякнешь, не будешь в состоянии работать. И уехала.

— Вы из богатой семьи?

— Из зажиточной. Мой отец купец, жили хорошо, были средства. Но родители до иступления ортодоксальные евреи, это помешало образованию, я ушла из дома, пыталась пробиваться, ну, а потом захватило революционное движение и на всю жизнь...

— Странно, — говорила она, — как сильны бывают встречи. На меня неизгладимое впечатление произвели два человека. Брешковская и Гершуни. После них я пошла в революцию, и революция стала моей жизнью. Раньше я не представляла себе, что есть люди беззаветно отдающиеся идее. Вы встречались с Григорием Андреевичем?

— Нет. Брешковскую знаю.

— Ах, Гершуни исключительный человек. Ему нельзя не верить, за ним нельзя не идти.

— Убедить не революционера пойти в революцию нельзя, — сказал Савинков. — Мы особая порода бездомников, которым иначе жить нечем; эта порода водится, главным образом, в России, подходящий, так сказать, климат.

Савинков посмотрел на часы.

— Вот видите, — проговорил он, вставая, — пора уже на свидание к «поэту».

— Я рада, что придет Прасковья Семеновна, — сказала Дора, — это ведь старая народоволка?

— Да, да, она будет у нас вроде тетушки, — надевая пальто, улыбался Савинков.

3

Дора полюбила старую, суровую Прасковью Семеновну, дымившую в кухне кастрюльками, сковородами. Свободное время проводила с ней.

Жмурясь, отвертываясь от летящих брызг со сковороды, Прасковья Семеновна быстрым ножом переворачивает картофель.

— Ах, вы не можете себе представить, Прасковья Семеновна, как тягостно разыгрывать из себя эту барыню. Покупать все эти бриллиантовые застёжки, безделушки, денег жаль на это, — говорит Дора. — Меня, Прасковья Семеновна, волнует Сазонов, что такое? По объявлению

лакеи идут один за другим, его всё нет. Уж не случилось ли что?

Ивановская била фарфоровым молотком шницели, они подпрыгивали как живые. Голова по-кухарочьи повязана платком. Лицо раскрасневшееся от плиты. Не прерывая работы, пожала плечами.

— Не понимаю. Вчера еле выпроводила одного, пристал, «комиссию» обещает, да нанят, говорю, а он своё, не уходит, ты меня устрой, я, говорит, у редактора «Гражданина» князя Мещерского служил. Вот думаю, самый подходящий нам лакей, — засмеялась Ивановская громко, раскатисто, как смеются добрые люди.

На лестнице раздалися шаги. Кто-то шел снизу.

— Идут, может швейцар, вы уйдите.

Дора вышла. Ивановская накинула цепочку на дверь. Приходы соседней горничной Дуняши были чересчур часты, разговоры однообразны. Но шаги были мужские. Шел человек в тяжелых сапогах. Шаги замерли у двери. Рука Ивановской, посыпавшая шницели тертыми сухарями, остановилась. У двери мялись шаги. Раздался короткий стук.

Ивановская, приоткрыв дверь, посмотрела в скважину за цепь. На нее глядели серые, смеющиеся глаза на живом румянном лице. Чуть искривленный нос досказал приметы. Ивановская радостно сняла цепочку.

Высокий, с ярко русским, веселым лицом, сдерживая смех, Сазонов переступил порог. Но вместо парся, видя тот же смех на лице Ивановской, расхохотался.

— Наконец-то у пристани! чорт возьми! как я рад, — выговорил.

Подвижной, трепещущий здоровьем, с открытым лицом, с широкими жестами, старовер Сазонов смеялся глядя на работу Ивановской.

— Ну, как живете-то, удобно? — говорил Сазонов и в глазах его — радость и веселье.

— Понемногу. Да что вы так долго не приходили? Тут без вас лакеев валило видимо невидимо.

Сазонов улыбался белозубой улыбкой. И так бывает, в этом русском, лихом человеке, старая Ивановская почувствовала близкое и родное. Словно встали из гроба Желябов, Михайлов. Сила, ясность. Ни анализов, ни сомнений,

ни колебаний. Воля, знающая цель. Вот каков был лакей Афанасий, и с ним душа в душу почувствовала себя на кухне тетушка Ивановская.

4

Жизнь в квартире № 1 шла полным ходом. Ранним утром, с корзинкой, первой выходила кухарка Федосья Егоровна. Шла по лавкам, на базар, в мясную. Мало смысла в кулинарии, всё боялась попасть впросак. Не знала, например, частей мяса. Потому не торопилась, а выжидала в толпе кухарок, ведя разговоры, незаметно расспрашивая. Особенно подружилась с поварихой графини Нессельроде. Стол графини повариха вела на десять персон, закупала деликатесы.

— Здравствуй, Егоровна, чего нынче берешь?

— Да уж не придумаю, Матвевна, привередливы больно, намедни взяла от грудинки, не пондравилось, барыня развизжалась, норовистая.

— Ты ссек возьми, аль огузок. Тут огузки хороши. Я завсегда беру, свежее, хорошее мясо. Да ты каждый день что ль забираешь-то здесь?

— А как же.

— Твой забор-то какой, рублей на пять берешь? Ты скажи им, что мол всегда забираю. Они тебе с сотни процент платить будут.

На черной лестнице с швейцаром Силычем стоит Афанасий, в темносиней русской рубаше, в брюках на выпуск, каштановые волосы вьются крупными волнами. О чем-то говоря, ловко чистит барские костюмы, разглаживает брюки Мак Кулоха. Повесив на гвоздок, переходит к дамскому тайору, аккуратно счищая с него пылинки.

5

Мак Кулох просыпался полчасу девятого. Одев мягкие, верблюжьи туфли, накинув ярко-желтый халат, шел в ванну. Умывался, делал гимнастику, брился. Занимало сорок минут. После этого Мак Кулох выходил к кофе.

Дымился спиртовой кофейник. На другом конце, блестя угольями, кряхтел самовар. Разрезая румяный калач, Савинков соображал, как распределить день, чтобы провести все явки.

В комнату с вычищенным платьем вошел Сазонов.

— Как дела, «барин»?

— Идут. Выпьем кофейку?

— Нет, мы уж у себя, на кухне с тетушкой. Я, ей Богу, себя чувствую настоящим лакеем, — смеялся Сазонов. — Конспирация хороша, когда в кровь и в плоть входит.

Отпивая коричневое, густо заправленное сливками кофе, Савинков проговорил:

— И я себя чувствую англичанином. Даже начинаю интересоваться делами в английском парламенте, — рассмеялся он.

— А как «поэт», вы его видали?

— Сегодня увижу. Он молодец. Дает самые ценные сведения. Редкий день не видит кареты. Карета стала его психозом: точно знает высоту, ширину, подножки, спицы, кучера, возжи, фонари, козлы, оси, стёкла, всех министерских сыщиков и охранников знает. Феноменально! Извозчики не могут дать таких оведений. А вот и наша барыня, — повернулся Савинков.

В комнату входила, в утреннем японском халате, Дора.

— Смотрите, Егор, какой я халатик купил? а? С войны какой-то генерал привез, по случаю, какая прелесть, драконы-то какие, драконы-то!

— Вкус у вас вообще изысканный, «барин».

— Павел Иванович, как же вы думаете, когда приступим к делу? — проговорил Сазонов.

— Дело только за приездом Ивана Николаевича. Я его вызвал, через неделю наверное приедет.

— Ну дай Бог, — сказал Сазонов, — вот вам ваши костюмы, вычистил как настоящий лакей не вычистит, — улыбаясь, указал на сложенные на стуле вещи.

— Стало быть мы сегодня с вами пойдем, Егор? да? — спросила Дора.

6

В десять, деловито попыхивая трубкой, Мак Кулох спускался по лестнице. Заслышав стук желтых ботинок, Силыч всегда выбегал раскрыть дверь. Через час барыня в шикарном мантии с громадным белым страусом на шляпе, шла в сопровождении лакея. Лакей, как всякий лакей, в синей суконной паре, синем картузе с лакированным козырьком, на некотором расстоянии от барыни.

На Невском барыня выбрала два платья. Покупки в руки набирал лакей. Шел за барыней с белыми квадратами коробок, круглыми свертками. К двенадцати, барыня свер-

нула с набережной на Фонтанку. Легко ступая крошечными ногами, пошла по направлению к департаменту полиции. В отдалении с покупками шел лакей.

7

Свидание Савинкова с Каляевым было у Тучкова буяна. Как всегда Савинков проехал сначала несколько улиц на извозчике. Потом шел пешком. Установив, что слежки нет, направился к Тучкову буяну. Час был ранний. Было пустынно. Он увидел Каляева издали. По мостовой шел торговец-разнощик с лотком на ремне. Было заметно, что под тяжестью торговец несколько откинулся назад. Белый фартук опоясывал грудь, прикрывая рваный, засаленный пиджачишко в заплатках. Вытертый картуз, стоптанные рыжие сапоги. Похудевшее, небритое лицо. Только легкое страданье в глазах отличало Каляева от настоящего торговца. Но в глаза, в эту каляевскую задумчивость, кто взглянется?

Когда у мрачного Тучкова буяна они сошлись на пятнадцать шагов, Савинков понял, что Каляев неподражаем, самый опытный филерский глаз ничего не заметит. Лицо Каляева засветилось радостью и улыбкой. Савинков знал эту улыбку, любил с детства.

На лотке уложено всё цветным веером, разлетелись нарядные коробки папирос, зеркальца, кошельки, картинки, чего только нет у ловкого торговца.

— А вот «Нева», «Красотка», апельсины мессинские! — весело-профессионально крикнул Каляев.

Савинков махнул разнощику. Разнощик подставил для продажи ногу под лоток. И началась покупка.

— Ну, Янек дорогой, как дела? — говорил, глядя в бледное, детское лицо Каляева Савинков.

— Лучше не надо. Важное сообщение: — ездит теперь другим маршрутом, заметь, очень важно, царь переехал в Петергоф, теперь он вместо Царскосельского едет на Балтийский. Передай извозчикам, а то вчера Дулебов зря стоял на Загородном. Карета та же, черная, лакированная, у кучера рыжая борода, рядом всегда лакей, белые опичи, гнутые большие подножки, узкие крылья, — Каляев оглянулся, никого не было, — у кареты два больших фонаря, возжи у кучера всегда видел белые, стекла ярко отчищены. Ты знаешь, я даже раз видел его, он показался мне за стеклом испуганным и старым.

— Где ты видел?

— У вокзала, только городские отогнали, но знаешь, будь у меня вместо апельсинов бомба, я б убил его шесть раз, я подсчитал.

— Подожди, подожди, дело так идет, что всё равно он наш. А как насчет слежки?

— Ни-ни, — мотнул головой Каляев. — Но когда же, Борис? Зачем тратить время, надо кончать, этого ждет вся Россия, подумай, сейчас такой удобный момент, поражения на фронте. Иван Николаевич здесь?

— Скоро приедет.

— Торопи, Борис, нельзя же, можем упустить.

Савинков улыбался.

— Дорогой Янек, вопрос недели не играет роли. Зверь обложен, уйти некуда.

— Кто-то идет, надо прощаться, — проговорил Каляев.

Приближались трое шедших с моста мужчин, в шляпах и широких пальто.

— Следи за Балтийским, послезавтра в 11 у Юсупова сада.

— Хорошо. Возьми апельсины. — Каляев ловко завернул в пакет два десятка, подал профессиональным быстрым движением и, кинув в кожаную сумку деньги, пошел к мужчинам, закричав:

— Эй, господа, купите «Троечку»! «Красотку»! вот кошелек для богатой выручки! А вот патреотическая картинка, как русский мужик японца высек!

Савинков оглянулся. Темной тучей вздымался бирюзовский дворец, любимое Савинковым здание. Возле него стоял Каляев, подперев коленом лоток, продавал папиросы.

8

Вернувшись с «инспекционной поездки», Савинков вошел в квартиру. Разделся.

— Я вам апельсинов от поэта привез, — проговорил он.

И Савинков развернул кулек, раздавая всем апельсины.

— «Поэт» мог убить его шесть раз, Матеевский четыре, Дулебов тоже наверно, — сказал Савинков. — Это говорит за то, что дело нельзя тянуть, наблюдение назрело, надо кончать. Но без Ивана Николаевича нельзя. Я по-

слал телеграмму. Он просил пропустить его в квартиру так, чтоб решительно никто не видал, через черный ход. Он проживет у нас, не выходя, до окончательного дня. Но как изумителен «поэт»! какое это золото! какой это революционер! В его устах описание кареты Плева превращается в поэму. До чего преобразился! Ведь кричит, как заправский торговец. Для филеров абсолютно неузнаваем, ах Янек, Янек, а помните, Егор, вы находили его странным? — обернулся Савинков к Сазонову.

— Да, вначале это, — пробормотал Сазонов, смутившись, — я как-то его не мог понять, узнал его только в Киеве. Конечно «поэт» неоценимый товарищ, человек и революционер.

Припоминая, чуть улыбаясь, Сазонов сказал: — Странность показалась мне оттого, что при первой встрече он вдруг стал говорить о поэзии, о Брюсове, я глаза вытаращил, а он захлебывается, я его спрашиваю — какое же это имеет отношение к революции? — а он еще пуще, — заразительно захохотал Сазонов, — кричать на меня стал, они, говорит, такую же революцию делают в искусстве, как мы в обществе, ну, я и удивился, да и до сих пор это конечно неверно.

— В «поэте» много чистоты, — сказала Ивановская. — Такие были народовольцы, многие такими были.

— Многие такими и не были, — сказал Савинков.

— Некоторые не были. Я говорю о лучших, о вере, о страсти, об идеализме, за который отдавалась жизнь. — Слова Ивановской были обращены к Савинкову.

— Да, — сказал он, — Каляев человек героического склада, такие люди очень ценны, но массам они непонятны. Это трагические натуры, больше жертвы, чем деятели.

— Я не понимаю, Павел Иванович, вы говорите, герои, — сказала Дора, — и в то же время непонятны массам, как же они могут быть непонятны, если отдают свою жизнь за народ?

— Вы рассуждаете, Дора, по-женски. Еще у Алексея Толстого сказано: «то народ, да не тот». Есть народ книжный, в который верят мальчики и девочки из гимназии и который у нас идеализируется. А есть живой, настоящий, так вот настоящий народ глух и туп, как стена, и никогда даже в случае победы не оценит жертв тех индивидуальных, которые отдали революции жизнь.

Савинков говорил уверенно, небрежно. Брови Сазонова сводились, это был признак вспышки.

— Вы поймите трагедию хотя бы народовольцев, — продолжал Савинков, — приносили себя в жертву революции, сгорали за народ факелами свободы в темноте самодержавия и вот их предает кто? не жандарм, не генерал, предает настоящий рабочий, с которым вместе вышли на борьбу. Знаете, что Фигнер закричала Меркулову при аресте? Время барской покаянности и лубочных пейзажей пора бросать. Превращать народ в икону глупо.

Сазонов возбужденно вскочил.

— Может вы и правду говорите, барин, да не всю! — закричал он. — А если не всю, то значит и неправду! Вы видите низость, предательство, и не хотите видеть благородство и самоотвержение. В тех же самых «низах», о которых вы так пренебрежительно сейчас говорили, есть грандиозные порывы беззаветного энтузиазма, героизма, самоотвержения. Мало ли у нас анонимных героев, безвестных могил? Наша история полна мучениками, полагавшими душу свою за други своя, да! вот что барин! не народ надо судить за отдельных негодяев, а самих себя надо судить, за собой следить! Нехорошо вы сейчас говорили и неправы, приводя примеры «Народной Воли»; пусть там был провокатор рабочий, но ведь Дегаев был «барин»? Пусть были провокаторы рабочие, но разве можно по ним отзываться о народе? — Сазонов горел. Ивановская смотрела на него с любовью. — Нет! Мы должны быть именно народовольцами в отношении народа, они шли мимо единиц, страдая и борясь за народ, за его свободу, за социализм. И мы должны воскресить именно эту веру в революцию, иначе ведь нельзя даже понять, зачем же делать тогда революцию? Я первый раз, Павел Иванович, слышу от вас подобное о народе. И не понимаю, ведь, если вы не верите в него, зачем же тогда вы, дворянин, барин, интеллигент идете в революцию? да еще в террор? то-есть убивать и умирать? Зачем же? Нет, вы из-за красиво-декадентской позы клеветаете на себя, говорите неправду, — возбужденно оборвал Сазонов. Он был прекрасен в своем негодовании.

Савинков сидел спокойно, закинув ногу на ногу. Иногда на лицо его выходила чуть приметная улыбка, сводившая разрез глаз.

— Вы, Егор, говорите, что думаете. И я говорю, что думаю. Если б я хотел говорить неправду, я б говорил так, как вы, соглашался бы с вами. Но искренность выше всего. Мы друг для друга должны быть прозрачны. И вот то, что я сказал, я повторю. Вы народник-идеалист, схожи с «поэтом», потому что на многое смотрите, как дети. Правда, сказано, «устаами младенцев», а я скажу «глазами младенцев». Но у меня нет, Егор, как у вас любви и слепой веры в народ. Я вижу, что самодержавие гнило и мерзко. И я, поймите, Я, — подчеркнул Савинков, — я бью его. Это моя игра. Для чего я бью? Для революции? Да. Чтoб пришли новые. Но разве я уверен, что эти новые будут белоснежны и наступит царствие Божие? В это я не верю, Егор. У меня нет веры. Я знаю, что данная государственная форма изжита, новая не родится без мук, борьбы, крови. И я хочу участвовать в этой борьбе, но не для Ивана, Петра и Пелагеи. А для себя. Вот моя с вами разница. Вы идете жертвовать для метафизических Петров и Пелагеев. А я жертвую собой — для себя. Потому что Я этого хочу, тут моя воля решающая. Я может быть буду бороться одиночкой, не знаю. Но иду только до тех пор, пока сам хочу идти, пока мне радостно идти и бить тех, кого я бью!

— Я ничего не понимаю! Стало быть вы во главу угла ставите свою личность, свою особу? так я понял?

— Так, — и на спокойное лицо Савинкова выплыла надменная улыбка, обозначившая тонкие зубы.

— Тогда позвольте вас спросить, где же при эдакой-то ницшеанской постановочке место борьбе за социализм?

— Место есть. Я борюсь за социализм, потому что Я хочу социализма, вот почему.

— Но ведь, если вы не верите в народ, в массу, в коллектив, а верите только в себя, то в одно прекрасное утро вам может захотеться встать и против народа?

— Этого не может быть, Егор, — резко сказал Савинков. — Если я не становлюсь, подобно вам, на карачки перед народом, это еще не значит, что я могу стать его врагом. Врагом народа я быть не могу.

В передней раздался пронзительный звонок. Все переглянулись, всем показалось, что зря увлеклись, зря начали спор, забыли о деле.

— Не ходите, Егор, на вас лица нет, — проговорила Прасковья Семеновна.

— Кто б мог быть? — сказал Савинков. — Прасковья Семеновна, я пройду в кабинет.

Накинув широкий серый платок на плечи, Прасковья Семеновна мгновенно стала кухаркой. В передней отперла дверь сначала на цепочку. В раскрывшуюся полосу спросила — «Кто тут»?

— Телеграмма.

Почтальон подал телеграмму из Одессы. Получив на чай, вышел.

«Партия велосипедов фирмы «Дукс» прибудет пятницу девять вечера. Неймайер» — прочел вслух Савинков.

— Товарищи! — сказал он громко, — послезавтра в девять приезжает Иван Николаевич!

9

Где только не побывал Азеф, когда дни и часы выездов министра и маршрут кареты устанавливались с арифметической точностью. Был во Владикавказе у больной матери, вызвал к ней с групп профессора Вязминского, оставил на лечение деньги. Заезжал в Лозанну к жене и детям, отдохнул с ними. По делам партии был в Берне, в Женеве.

Телеграмма Савинкова о том, что всё готово, застала его в Киеве. Азеф зигзагом метнулся по России, чтоб незаметно подъехать к Санкт-Петербургу. Он заехал в Самару, в Уфу, потом свернул на юг в Одессу. Здесь, как-то вечером, тяжело ступая по ковру номера гостиницы «Лондон», он почувствовал, что дышать трудно, потеет, не то от жары, не то от волнения. Азеф сел за стол, расправил руки и прищурившись, задумался. Потом он взял перо:

«Дорогой Леонид Александрович! Прожив здесь 6 дней мне удалось узнать много интересного. Отсюда на днях уезжает одна госпожа с целью покушения на генерал-губернатора в Иркутске, Кутайсова. Госпожа эта среднего роста, еврейка, но православная. Сюда она приехала из-за границы, откуда послали ее для этого дела. Для установления личности могу сообщить следующее: она бывшая социал-демократка, была сослана в Вологду, оттуда бежала в конце прошлого или начале этого года. Зовут ее Мария (настоящее имя), а фамилия чисто русская, что-то вроде Щепотьевой, хотя не ручаюсь, она замужем за христианином, муж ее сослан в Сибирь. Здесь же, в Одессе,

Наум Леонтьевич Геккер и Василий Иванович Сухомлин. Играют большую роль в партии. Они очевидно направляют дела боевой организации, от них наконец я узнал о случившемся в «Северной гостинице». Это действительно акт боевой организации и они же подтвердили мне, что погибший революционер это Алексей Покотиллов, брат жены товарища министра Романова. От них же я узнал, что дело покушения на Плеве отлагается ввиду отсутствия бомб, которые погибли с Покотилловым. Новое же приготовление займет много времени, а к Плеве, как они говорят «с револьвером не подойдешь». Но для реномэ боевой организации надо совершить террористический акт и для этого выбран Кутайсов. Я уверен, что благодаря этим сведениям вам удастся предотвратить покушение и установить эту госпожу. В Иркутске она будет жить по подложному паспорту, мещанская пятилетняя книжка. Кажется имя у нее будет Наталья, но за это не ручаюсь. Прошу вас очень, чтобы о пребывании ее в Одессе не стало известным, так как она тут очень законспирирована, а я с нею виделся. К Кутайсову она думает явиться в траурном костюме. Пока всё.

Ваш Иван.

Азеф посидел, подумал, потом потянулся всем телом, громко зевнул, широко раскрыв мясистый громадный рот. По монументальности он напоминал гиппопотама. Посидев так с минуту, черкнул на телеграфном бланке:

«Партия велосипедов «Дукс» прибудет пятницу девять вечера.

Неймайер».

Азеф позвонил, приказал дать счет и позвать извозчика. Когда коридорный ташил за Азефом чемоданы, Азеф раздавал на чай выстроившейся прислуге. Тут были швейцар, лакеи, горничные, посыльные, мальчики. Азеф не был скуп, давал всем рубли, полтинники. Кряхтя шел дальше, не обращая внимания на низкие поклоны — знаки благодарности.

10

В восемь, когда на Петербург ложились сумерки, лакей Афанасий в каморке под лестницей наливал Силычу в плохो граненый стакан кагору. Кухарка Егоровна сидела у окна кухни, чтоб заранее увидеть описанного ей начальника боевой организации.

Дора и Савинков, в ожидании, остались в гостиной.

Савинков сидел, откинувшись в кресле, читал Доре свои стихи, в такт слегка жестикулируя правой рукой:

Когда принесут мой гроб,
Пес домашний залает,
Жена поцелует в лоб,
А потом меня закопают.
Глухо стукнет земля,
Сомкнется желтая глина
И не станет того господина
Который называл себя я...

В темном окне Прасковья Семеновна разглядела всё-таки мелькнувшую по двору толстую темную фигуру. Сердце сказало «он». Ивановская приоткрыла дверь, прислушалась. Взяла лампу и вышла в сени. Кто-то поднимался по лестнице.

В полутемноте увидела необычайно толстого, громадного человека в котелке, в черном пальто. Азеф поднимался, взволнованно, тяжело дыша.

Толстые губы отвисли. Глаза искоса ощупали, осмотрели Ивановскую.

— Дмитрий жив и здоров, — пробормотал Азеф.

— Проходите, вас давно ждут.

Азеф скользнул мимо нее в дверь. И дверь заперлась. Савинков быстро шел в кухню.

— Наконец-то! — проговорил он. В кухне они обнялись и крепко расцеловались.

11

Афанасий бегом бежал по черной лестнице узнать: приехал ли? Ивановская несла в столовую самовар. Дора расставляла чашки, накладывала в вазу варенье. Из ванной слышались голоса Савинкова и Азефа. Азеф умывался.

— Приехал? — вбежал Сазонов.

— Приехал, — радостно кивнула Дора.

— Ну, будет им на орехи! — проговорил, потирая руки, веселый розовощекий Сазонов. Прасковья Семеновна с любовью глянула: «Ах, какая прелесть этот Егор».

По коридору из ванной шли, разговаривая. И вдруг в квартире раздался гнусавый, раскатистый смех Азефа. Прасковья Семеновна вздрогнула, до того неприятен был этот смех.

— Здраасти, Егор, — ласково улыбнулся Азеф и, обняв, поцеловал Сазонова.

— Ну, угощайте, угощайте гостя. Сначала чай, Борис, а потом о делах. — Азеф потирал руки. Все кругом радовались. Знали, что Плеве будет убит.

— Какой автомобиль купил? — отпивая чай, проговорил Иван Николаевич.

— Не покупал.

Улыбки сошли с толстого, губастого лица. Азеф потемнел.

— Как не покупал?

— Не покупал.

— Что это значит!? — повысил голос Азеф. Все неприятно замолчали. — Я же тебе приказал купить!

— А я не купил, на месте выяснилось, что автомобиль не нужен.

Отставив в сторону стакан и блюдо с вареньем, Азеф насупившись пробормотал:

— Говори о деле.

Он оперся о стол всей своей грузностью, из-под опущенной головы изредка бросая на присутствующих косой, пытливый взгляд.

Савинков докладывал о наружном наблюдении извозчиков, разносчиков, о том, сколько раз видели карету, о маршруте.

— Была ли за кем-нибудь слежка? — пробормотал Азеф, не поднимая головы.

— Нет. И товарищи просят немедленно кончать, уверенность в удаче полная.

Азеф молчал.

— Я поживу, — нехотя сказал он. — Проверю сам, так ли всё, как ты говоришь. А как квартира? Слежки нет?

— Никакой. Прасковья Семеновна всех кухарок знает. Егор с швейцаром неразрывен, кагор с ним пьет.

Взглянув на Сазонова, Азеф ласково улыбнулся: «ну, вас то мол я знаю». И не обращая вниманья на Савинкова, заговорил с Сазоновым. Было странно, что этот грубый со всеми, уродливый человек всегда говорил с Егором заискивающе.

12

Стояли томительные, петербургские, белые ночи. Министр страдал бессонницей. Приказывал лакею крепко накрепко опускать жалюзи на ночь.

От белых, петербургских ночей страдал и Азеф, засыпая беспокойно.

Дора испуганная, растрепанная, в одной рубашке стояла у двери Савинкова: — Что такое, Борис? Вы слышите? Что-то случилось, кто-то кричит!

Вскочив, Савинков выбежал в коридор. Из комнаты Азефа несясь придушенный стон, прерываемый криками. Савинков приоткрыл дверь. Скрипя зубами, ворочаясь, Азеф громко стонал. И вдруг от шороха вскочил на постели.

— Кто тут? — вскрикнул он.

— Это я, Иван. Ты напугал Дору, ты кричишь.

— В чем дело? — не понимая сказал Азеф. — Кричу? Что за чушь!

— Ну, да, ты сейчас посылал кого-то к чорту. Не волнуйся, стены капитальные, спи. — Запахивая на груди халат, Савинков вышел из его комнаты.

Но Азеф уже не мог спать. Боясь своих собственных криков, пролежал с открытыми глазами, пока утром не вошел Савинков в мягком верблюжьем халате.

— Вставай, толстый! Ну, и напугал ты Дору, всю ночь орал.

Азеф сел на кровати, надевая розовый носок.

— Неужели кричал? — пробормотал он и принужденно рассмеялся. — Да вы бредите, с чего я начну кричать?

— Дора говорит, ты каждую ночь кричишь.

Азеф встал, ноги были волосаты.

— Что же я кричу?

Надев ботинок, Азеф согнулся в поясице. Мешал нагибаться живот. Пошел в уборную и здесь, на стульчаке, решил убить Плеве в ближайший же четверг, а самому сегодня же уехать с квартиры.

— Ты думаешь, лучше по дороге на Балтийский? — говорил за чаем Азеф.

— Да.

Азеф был хмур.

— Сегодня вечером выеду в Москву. За мной поодиночке поедете, — ты, Егор, Каляев. Швейцера я извещу. Будем ставить, как хотите, на улице по дороге на Балтийский.

В позе Сазонова, в румянце, в блеске глаз была твердость и радость.

— Во вторник встретимся в Сокольничьем парке, в Москве — говорил Азеф, намазывая булку маслом. — Обсудим детали. Квартиру сразу бросить нельзя, надо сделать так, что ты как будто уехал от Доры. Лакея рассчитали, а вы, Прасковья Семеновна и Дора, должны жить здесь, пока я не дам знать. Перед актом все уедут из Петербурга, квартиру бросим.

Напившись чаю, Азеф встал и улыбаясь, похлопал Савинкова по плечу: — Так то, барин, кончать надо!

— О подробностях в Москве договоримся, Иван Николаевич? — глухо сказал Сазонов.

Азеф знал, о каких подробностях хочет говорить Сазонов.

— Об этом поговорим в Москве, — улыбнувшись, сказал он. А ночью, подняв воротник пальто, надвинув на глаза котелок, Азеф выскользнул из квартиры.

15

Вечер сумерками кутал Сокольничий парк. Под ветром шумела листва толстых лип. Стар был парк, видел несчастья и счастья. Но этих четырех людей видел в первый раз.

По темной аллее шел Азеф. Из-за поворота вышли Каляев и Савинков. Вдали в темноте показался, догонявший их, Сазонов.

В глубине аллеи, охваченной черносиним сумраком, пошли вчетвером. Азеф, Сазонов, Каляев, Савинков.

— «Леопольд» не приехал, — проговорил Азеф. — Задержался из-за динамита, но всё равно ждать нельзя, к четвергу он доставит.

Они сели на скамью, в темноте скрылись. Хотя присмотревшиеся к темноте глаза видели, казалось, даже выражения лиц.

— Надо всё решить, — гнусаво рокотал Азеф, — предлагаю такой план: убийство — на улице, по дороге на Балтийский вокзал. Будет четверо метальщиков. Они пойдут один за другим навстречу карете. Первый пропустит ее, и тем замкнет ей обратный путь. Второму принадлежит честь нападения. Третий мечет только в том случае, если бомба второго не взорвется, или Плеве будет ранен. Четвертый остается в резерве, и действует, если у

второго и третьего будет неудача. — Азеф говорил ровным рокотом. — Вот план, как вы думаете, товарищи?

— План верен, — сказал Савинков. — Плеве не может быть не убит. Но надо обсудить и самый способ метания.

Паузу прервал мягкий голос Каляева.

— Есть верный способ не промахнуться. Броситься под ноги лошадям.

— То-есть как? — не понимая, раздраженно бормотнул Азеф.

— Едет карета. Я с бомбой кидаюсь под лошадей. Или взорвется бомба или лошади испугаются, значит всё равно остановка, может метать второй.

— Но вас-то разорвет наверняка?

— Разумеется.

Прошло молчание.

— Это ненужно, — пророкотал Азеф. — Если добежали до лошадей, значит добежали и до кареты, зачем же бросаться под ноги лошадям, когда можно метать прямо в карету. Как вы думаете, Егор?

В темноте хрустнула скамья, Сазонов переменял позу, он заговорил, как человек оторванный от своих мыслей.

— Вы правы, добежав до кареты, можно конечно метать в карету. Общий план хорош. Я уверен, сквозь четырех метальщиков Плеве не прорвется. Надо завтра же ехать. Меня берет ужас, — взволнованно проговорил Сазонов, — что с таким трудом налаженное дело может сорваться по пустяку.

— По какому пустяку? — спросил Азеф.

— Мало ли что, филеры могут набрести на квартиру.

— Вы боитесь провокации? — лениво сказал Азеф.

— Случайности.

— Провокация может быть всегда, каждому в душу не влезешь, — медленно произнес Азеф, — надо действовать, вы правы. Если план принят, надо утвердить четырех товарищей, как исполнителей.

Азеф замолчал. Это была святая минута Ивана Каляева и Егора Сазонова. Они ее ждали. Голос Каляева проговорил:

— Я хочу быть метальщиком.

— И я, — ответил Сазонов.

Азеф молчал.

— Я должен передать просьбу Доры, — словно стонясь, сказал Савинков. — Говорю заранее, я против того, чтобы Дора шла метальщиком, но не имею права не передать. Она хочет идти на Плеве.

— Егор, как ваше мнение о Доре? — равнодушно спросил Азеф.

— Что же я могу иметь против? По моему, Дора если пойдет...

— Я категорически против разрешения Доре идти со снарядам! — перебил Савинков.

— Что ты категорически, это мы знаем, — тихо расмеелся Азеф. — Скажи причину? Дора член партии, почему ей не идти со снарядам?

— Моя мать никогда б не простила, если б узнала, что мы, мужчины, посылаем на убийство женщину.

Тихим, презрительным смешком Азеф расхохотался. Савинков встал со скамьи.

— Высказываясь против кандидатуры Доры, предлагаю себя в метальщики.

Тишину разорвал равнодушный голос Азефа:

— Хорошо, будь по твоему, я не назначаю Дору. Но, как глава Б. О. отвожу и твою кандидатуру.

— Почему? — тихо-быстро проговорил Савинков.

— Это мое дело. Я считаю, что ты на этом месте неподходящ. Мы не можем выступать метальщиками. Ни я, ни ты. Мы должны сохранить партии боевку дальше. Если ты настаиваешь, то я стану сам одним из метальщиков, — твердо сказал Азеф.

— Это же ерунда! — проговорил Савинков.

— Иван Николаевич прав, — сказал Сазонов, — ни он, ни вы, Павел Иванович, во имя террора не должны подвергать свою жизнь прямой опасности. Ваши жизни нужны. Партия идет не на последний акт.

— Ты не возражаешь, Борис? — проговорил Азеф.

— Теоретически может быть это верно, но мне тяжело, если мне отказывают, и в особенности, если на дело пойдет женщина.

— Глупая романтика, — закашлявшись, бормотнул Азеф. — Мужчина, женщина — одинаковые члены партии, но для твоего спокойствия я отвожу Дору.

Голос Азефа показался сонным, усталым.

— На кандидатуры «поэта» и Егора я согласен. Дру-

гими метальщиками будут Боришанский и еще один товарищ, вы его не знаете. Боришанский ручается за него, это его друг.

Парк шумел темной невидимой листвой. Шли Каляев, Сазонов. Сзади Савинков, Азеф. Каляев в темноте нашел руку Сазонова и крепко сжал ее. Сазонов ответил сильным пожатием.

16

В «Северной гостинице», где взорвался Покотилов, Швейцер должен был окончить приготовление бомб. К семи утра был готов четвертый снаряд. Швейцер поставил все четыре на комод. В зеркале, завернутые в бумагу, отражались круглые тяжелые свертки.

Передача бомб за Мариинским театром прошла в образцовом порядке. Цилиндрическую, перевязанную голубым шнуром, взял Сазонов, одетый железнодорожником. Его бомба весила 12 фунтов. Круглую, завернутую в платок, взял худыми, бледными руками, одетый швейцаром, Каляев. Две одинаковые, похожие на коробки конфет, взяли Боришанский и Сикорский, спрятав под плащи.

17

В садике церкви Покрова на Садовой карету министра внутренних дел ждали Савинков и четыре метальщика. Боришанский сидел на лавочке спокойно. На другой — Сазонов подробно объяснял Сикорскому, как в случае надобности утопить бомбу. Каляев, стоя у церкви, сняв фуражку, крестился. В отдалении, опершись на ограду, на него глядел Савинков.

18

В 9.30 от подъезда департамента полиции, рысаки тронули карету министра. Как всегда, кучер сразу пустил их полным ходом. Махом, храпя ноздрями, не сбиваясь с ноги, понеслись рысаки по Фонтанке. И каждый в ветренном, утреннем беге слышал резкое дыхание другого.

19

Метальщики тронулись по Садовой, на дистанции в 40 шагов. Путь был по Английскому проспекту, Дровяной, к Обводному каналу, мимо Балтийского и Варшавского вокзалов метальщики выходили на Измайловский проспект — навстречу карете Плеве.

В 9 часов 45 минут на Измайловском проспекте со стороны Вознесенского показалась карета. Рысаки несли ее

крупным, размашистым махом, в ногу, как кони Люцифера, вороны, прекрасные звери. Держась дальше от тротуара, по середине проспекта, мчалась карета. Спереди в открытой коляске на яблочных конях с изогнувшимися пристяжными летел полицмейстер. Блестя металлическими спицами велосипедных колес, с невероятной быстротой крутил ногами, главный телохранитель министра, Фридрих Гартман у заднего колеса кареты. За ним длинной шеренгой неслись сыщики-велосипедисты. В пролетках на рысаках мчались агенты и филера.

20

Метальщики двигались быстро. Чуть сгорбясь, первым, в широком плаще шел Абрам Боришанский. Он должен замкнуть поворот кареты. За ним — Егор Сазонов, у него была высоко поднята голова, словно хотел он сейчас же броситься вперед всем телом. 12-ти фунтовый снаряд держал высоко, у плеча. За Сазоновым легкой походкой, иногда улыбаясь, шел Каляев, держа снаряд, как сверток белья. За Каляевым торопясь и не поспевая, шел бледный юноша Сикорский.

21

Карета стремительно сближалась с метальщиками. В ушах и груди секунды рвались протяжным звоном. Сазонов услышал отчетливые удары копыт по торцам. И вдруг перестало биться сердце, оборвалось дыхание. «Неужели пропущу? Глупости», — пробормотал он. В этот момент Сазонов заметил, карета уж близко и на обратной стороне улицы, на вывеске синими буквами написано «Варшавская гостиница».

«Неужели пропущу?». Он уже видел близко несущихся, сытых вороных жеребцов. Одна секунда. Они пролетят как поезд, как гроза и скроются, сопровождаемые пролетками, велосипедистами. Но вдруг перед каретой министра вынырнул извозчик. В пролетке, развалясь, сидел молодой офицер. Чтобы на всем ходу обогнуть извозчика, карета метнулась с середины проспекта к тротуару. Было видно, как натянул возжи рыжебородый кучер Филиппов, как навалились друг на друга рысаки в бешеном повороте. Не рассуждая, кинулся к карете Сазонов. В секунду увидел в стекле старика. Старик рванулся, заслоняясь руками. И

во взгляде отчаянных глаз Плеве и Сазонов в ту же секунду поняли, что оба умирают. Цилиндрическая бомба ударилась разбив стекло...

22

Рысаков сшибло страшным ударом, словно они были игрушечными. На всем ходу упали лошади. Серожелтым вихрем в улице взметнулся столб дыма и пыли. Заволоклось всё. И первое, что увидели прохожие, — вскочивших в дыму вороных коней, карьером помчавшихся по Измайловскому.

Дым быстро рассеялся. Лежа на мостовой, Сазонов удивился, что жив, хотел приподняться, но почувствовал, что тела нет. С локтя, сквозь туман, увидел валяющиеся красные куски подкладки шинели и человеческого мяса. Сазонов удивился, что нет ни коней, ни кареты. Хотелось закричать «Да здравствует свобода!»

— Да здра... — Но всё потемнело, на него прыгнул Фридрих Гартман.

Судорожно сжимая бомбу, Каляев стоял на мосту. Он не знал, жив ли Плеве. Храпя, хрипя, хлеща оглоблями и остатками колес пронесли окровавленные кони. «Убили министра!» — закричал бегущий, незнакомый человек. И Каляев понял, что приговор выполнен.

Полицейстер схватил неповрежденный портфель министра, лежавший посредине мостовой. Портфель был заперт. Далеко, согнув ноги, лежал обезображенный труп рыжебородого кучера Филиппова.

Сазонова били полицейские и филеры. Он не видел, как полотнобно бледный, в элегантном костюме, подбежал к месту взрыва Савинков. Толстый пристав Перепелицын размахивая шашкой, кричал: — Да куда вы лезете, господин! уходите!

Савинков заметил, у пристава трясется нижняя челюсть.

Паника овладела улицей. Двое городских волочили громадное тело кучера. Для чего-то вели пойманных, всеми мускулами дрожащих окровавленных коней. Полицейстер махал министерским портфелем. Женщины перевязывали гвардейского офицера, пересекшего путь. Мундир был окровавлен. Пристав записывал имя и адрес.

— Цвецинский, — сдерживая стоны, говорил офицер,

— лейб-гвардии Семеновского. Да везите же, — раздраженно простонал он и его понесли на пролетку.

— Самого-то убило, смотри тащат, смотри, — говорила черненькая мешаночка.

— Кого самого?

— Кого? да не видишь разе, самого, кто бомбу кидал, того и убило, ужаси!

Измайловский проспект был запружен сбегавшейся толпой.

23

Опустив голову, Савинков шел к Юсупову саду. Он был бледен, не знал: выполнен ли приговор партии? Остаться в толпе не мог. Казалось, что Плеве спасен, а убит Сазонов.

Мужчина в грязноватом, чесучевом пиджаке с трясущейся бородой схватил его за руку.

— Скажите пожалуйста, что произошло?

— Не знаю, — вырвал руку Савинков, ускоряя шаг.

Возле Юсупова сада никого не было. «Что значит? Где товарищи?» Савинков чувствовал, что внутри, у сердца что-то болит, разрастается, давит тяжелая пустота. Он шел по Столярному. «Надо успокоиться», — думал он. Сталкивался с людьми, тихо шедшими по магазинам. И вдруг машинально остановился: на другой стороне висела покосившаяся вывеска «Семейные бани Казакова». Савинков перешел улицу. На двери бани, писаное рукой, прижатое кнопками, было объявление: — «Стеклянной посуды в баню просят не носить во избежание всяких случайностей и вообще». Савинков, не думая, вошел в баню.

Бани были второразрядные. В коридоре пахло банной прелью. Ходили сюда не столько мыться, сколько за всякими другими надобностями.

— Номера есть? — спросил у кассы Савинков и закашлялся.

— Только в три рубля.

— Да, в три, — сказал он, вытаскивая зелененькую бумажку.

«Чорт знает, как дорого», — подумал поднимаясь по грязной лестнице. В углу ковра заметил пятно омылков. «Уронили белье, что ли?»

Банщик с фиксатуаренными усами семенил с конца коридора.

— В 12-й пожалте.

— Мыла, полотенце, — рассеянно говорил Савинков, входя в номер, — и эту, ну как ее... мочалку!

— Как же без мочалки, — засмеялся богатому барину банщик.

Савинков заперся. Бросил мыло, полотенце, мочалку в медный таз. Сбросил пальто, пиджак и лег на диван. Надо было сосредоточиться, решить. Но решить было, оказывается, трудно. Вместо решения проносились неотносящиеся к делу картины. Мать, умерший брат Александр, Вера, он не мог отогнать их. «Господи», — вдруг пробормотал он и, услышав свой голос, удивился.

«Банщику надо было сказать, что жду женщину, было бы лучше». В это время в номер раздался стук. Савинков вздрогнул и прислушался. Стук повторился сильней.

— Чего еще? — крикнул сердито Савинков, подходя к двери.

— Ваше время вышла, господин, — ответил из-за двери банщик.

— Сейчас выхожу.

«Какая ерунда, время вышло», — пробормотал Савинков. Он налил в таз воды, намочил полотенце и мочалку, бросил всё на продырявленный кожаный диван и наплескал водой на полу.

24

Вечером на Невском Савинков стоял ошеломленный. В темноте бежали газетчики, крича: — «Убийство министра Плеве!» — Савинков не понимал, кто же убил министра? Казалось, убил вовсе не он. Савинков держал газетный лист. Из траурной рамки смотрел министр. Колючие глаза, топорщащиеся усы: — В. К. Плеве не существовало:

«Сегодня в 9 ч. 49 минут на Измайловском проспекте возле Варшавской гостиницы злоумышленником, имя которого не удалось установить, убит, брошенной в окно кареты бомбой, министр внутренних дел В. К. Плеве. Сам злоумышленник тяжело ранен. Кроме министра внутренних дел убит кучер Филиппов, а также ранен проезжавший по улице поручик лейб-гвардии Семеновского полка Цвездинский...»

— Простите, — проговорил господин. Савинков почувствовал, что с кем-то столкнулся.

«С места убийства злоумышленник перевезен в Александровскую больницу для чернорабочих, где ему в присутствии министра юстиции Муравьева немедленно была сделана операция. На допросе, состоявшемся тут же после операции и произведенном следователем Коробчич-Чернявским злоумышленник отказался назвать свою фамилию. Департаментом полиции приняты энергичные меры розыска, ибо предполагается, что убийство министра является делом террористической организации».

«Жив! жив!» — повторял Савинков, переходя Невский меж пролетов, колясок, карет. «Егор герой!» И вдруг почувствовал, мостовая поднимается, плывут, дробятся фигуры прохожих, встречные экипажи и здания валятся на него. Савинков понял, надо скорей войти в этот ресторан, у которого он остановился.

— Что прикажете-с?

— Дайте карту.

— Слушаюсь.

— Стерлядь колычиком.

— Слушаюсь.

И вскоре лакей мягко подбежал к нему с серебряной дымящейся миской.

25

Прасковья Семеновна Ивановская, как член Б. О. выполняла приказания начальника. Сейчас, в Варшаве шла не кухаркой, а барыней, в черном платье с легким кружевом, в соломенной шляпке, с зонтиком.

Во всей фигуре Азефа, показавшегося на Маршалковской, Ивановская заметила волнение. Азеф шел быстро, грузно, раскачивая живот. Лицо смято, заспано, искажено. Он показался Ивановской прибитым.

— К часу должны всё узнать. Если убьют, будут экстренные выпуски. От Савинкова должна придти телеграмма. Это ужасно, — вдруг проговорил он, тяжело дыша, приостанавливаясь. — Быть вдали от товарищей, ждать, вот так, как мы с вами, это ужасно.

Ивановская ничего не ответила, шла, опустив голову.

— Зайдем в цукерню.

В белой чистой цукерне пустовато. Девушка принесла им кофе с пирожными. Отошла, села, сонно смотря в окно на Маршалковскую.

Так прошел час. Почти всё время они молчали.

Ивановская видела: волнение всё сильнее охватывает Азефа. Уродливый человек, никогда не вызывавший у нее симпатий, сейчас их вызвал. Азеф потел, обтирая лоб.

— Уже без четверти двенадцать, — сказал он, поворачиваясь всем туловищем. — Что-нибудь должно было случиться.

Азефу стало душно. Он крепко обтер лицо.

— Надо быть спокойней, Иван Николаевич.

— Ах, — как от боли сморщился Азеф, — что вы говорите! Стало быть вы не любите товарищей. Я люблю их, поймите, они все сейчас могут погибнуть, — лицо Азефа задергалось и он отвел глаза от Ивановской.

— Пойдемте, — вдруг сказал он. — Я не могу больше.

Ивановская встала. Сонная девушка подошла получить деньги и опять села у окна без дела глядеть на улицу.

26

Она видела сквозь стекло, как прошли мимо цукерни толстый господин с старой дамой, только что пившие у нее кофе. Но за цукерней девушка уже не видала, как толстый господин почти побежал к газетчику-мальчишке, который крича, продавал экстренные выпуски.

— Брошена бомба!

С газетой в руках Азеф сделал несколько шагов, лицо его было беложелто.

— Брошена бомба... ничего... неудача... — растерянно пробормотал он.

Но обгоняясь газетчики-мальчишки бежали с разных сторон, крича:

— Замордовано Плевего!

Азеф выхватил листок у одного из них. Руки Азефа дрожали крупной дрожью. Прочитал вслух: — «За-мор-до-ва-но Пле-ве-го». И вдруг остановился, осунулся, вислые руки опустились вдоль тела, смертельно бледный, тяжело дыша, Азеф схватился за поясницу.

— Постойте, — пробормотал он, — я не могу идти, у меня поясница отнялась.

— Что значит «замордовано», убит или ранен? — спросила Ивановская.

— Может быть ранен? — с испугом простонал Азеф. Везде по улицам бежали люди с газетами в руках. В окнах магазинов стали появляться листы с надписью «Замордовано Плевего».

— Я спрошу, что значит «замордовано»?

— Вы с ума сошли. Надо ждать, лучше я поеду в «Варшавский дневник». Подождите.

Держась за поясицу Азеф перешел улицу. Когда скрылся, Ивановская не выдержала. Это был маленький магазин обуви.

— Что могу предложить? — любезно шаркая, подошел хозяин-поляк на коротеньких ножках. Старая женщина, улыбаясь, сказала:

— Скажите пожалуйста, почему кричат на улицах, что значит «замордовано».

— Убили министра Плева, — сказал обувник, — замордовано значит убили.

— Благодарю вас.

Азеф подъехал на извозчике. Он был бледен, волнение всё еще не покидало его.

— Убит бомбой, сделано чисто, — пробормотал он. — Я был на почте, завтра приезжает Савинков. Явка в 2 часа в «Кафе де Пари». Купите хорошее платье. Ресторан первоклассный. Вторая явка на Уяздовской в шесть. Если я не увижу Савинкова, передайте, чтобы стягивал товарищей в Женеву.

— Разве вы уезжаете?

Азеф осмотрел ее с ног до головы.

— Я никуда не уезжаю, говорю на всякий случай, понимаете? Завтра должны обязательно быть на явке. А сейчас прощайте.

27

В «Кафе де Пари», куда пришла Прасковья Семеновна в дорогом коричневом платье с кружевами, Азефа не было, не было и Савинкова. От трех до шести Прасковья Семеновна гуляла в польской, нарядной толпе на Уяздовской аллее, неподалеку от «Кафе де Пари». И здесь не встретила ни Азефа, ни Савинкова. Прасковья Семеновна ходила в большом волнении, не зная, что же ей делать?

В магазине ювелира, стрелка показывала — семь, — ждать бесполезно. Ивановская пошла в направлении Нового Света. Но вдруг, на мгновение, возле Уяздовского парка показалась знакомая, худая фигура. Господин приближался, в оветлом костюме, в панаме. В двух шагах он пристально взглянул на Ивановскую. Прасковья Семеновна остановилась: — похож на Мак-Кулоха, но не Савинков.

Господин шел прямо к ней, странно улыбаясь улыбкой похожей на странную гримасу.

— Прасковья Семеновна?

— Это вы? — тихо произнесла Ивановская. — Господи, на вас лица нет!

Даже теперь Ивановская его не узнавала. Лицо синеватое, заостренное во всех чертах, с пустыми узкоблещущими глазами. Другое лицо.

Ивановская бессильно проговорила: — Кто, скажите, кто?

— Егор.

— Погиб?

— Тяжело ранен.

— Господи, Егор, — закрывая лицо руками в кружевных перчатках, прошептала Ивановская, на старушечьих глазах выступили слезы.

— Давайте сядем, — сказал Савинков.

Мимо шла праздничная толпа. Савинков рассказывал о Егоре, об убийстве, об аресте Сикорского. Кончив, добавил:

— Я видел Азефа, он торопился, сказал, что должен ехать, заметил слежку, он выехал в Женеву.

— Он просил передать, чтобы стягивали туда товарищей.

— Да, да, для нового «дела», — усмехнулся Савинков странной, новой, неопределенной полуулыбкой, — я не знал, что убивать трудно, Прасковья Семеновна. Теперь знаю. Рубить березу, убить животное проще, а человека убить трудно. В этом есть что-то непонятное... метафизическое...

— Вы куда же теперь? За границу? — перебила Ивановская.

— Да, — сказал Савинков, — лиха беда начало.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Окна гостиницы «Черный орел» выходили на набережную Дуная. Говорят, что Дунай голубой. Дунай синий. Но ни на синеву вод, ни на белые пароходы из окна гостиницы не смотрел Азеф. Запершись в номере он писал Ратаеву:

Дорогой Леонид Александрович!

Я совершенно потрясен происшедшим. Но не буду вам об этом писать, мы скоро увидимся. Я думаю приехать в Париж в скором времени. Ужасно, ужасно, дорогой! 7-го июля я писал вам письмо из Вильны, прося выслать мне 100 рублей, после этого 9-го оттуда же послал телеграмму, но денег не получил, так как по делам должен был выехать в Вену. Здесь живу с 11-го, кое-что есть интересное. Будьте добры, распорядитесь высылкой денег сюда, как всегда высылаете. Пробуду здесь еще несколько дней и через Женеву проеду в Париж, где повидаемся. Есть очень интересные сведения, которые сообщу в следующем письме.

Ваш Иван.»

Слегка высунув красный язык, Азеф заклеил языком письмо.

2

Савинков несколько ночей не спал. Это было неожиданно. Плеве не покидал его. На столе валялись газеты с изображением старого министра. Савинков смотрел на них. Лицо старика не менялось. «Может быть, надо больше мужества посылать на смерть других, чем идти самому? Всё равно, сидеть ли у церкви Покрова или метать бомбу. Этого старика я разорвал на части. Как революционер я ненавидел его, хотел его смерти. Смерти хотела Россия, он должен был пасть и пал. Да, да. Всё логично и ясно. Но почему же Ивановская не узнала меня? Почему бессонница? Нервы? Потому, что *убил*? И совершенно всё равно кого: министра ли, собственную ли жену, товарища, чорта, дьявола? Не думал, что будет след. Метафизическая ерунда, оказывается, существует. Говорят, в Берлине живет с женой и детьми палач. По профессии он ездит и отрубает головы. Одевается в цилиндр, сюртук, отрубив возвращается к жене и делает детей. Что же? Ничего. Интересно спросить этого немца, «*нна, мол, Herr Schulze, wie geht's sonst?*» Не может же быть, чтобы ничего не оставалось у герра Шульце? Хотя может быть у герра Шульце и не должно оставаться. У меня ж, оказывается, остается какая-то метафизическая ерунда...»

Савинков взял газету, еще раз взглянул на Плеве.

Плеве глядел прямо на него. И вдруг, ей Богу, ему показалось, будто бы Плеве ему улыбнулся! Какая чушь! Савинков отшвырнул газету.

3

Сазонов был еще без сознания. Рана была в глаз, в бок, в левую ногу. Весь забинтованный Сазонов лежал в одиночной палате Александровской больницы. У белой постели, за белым столиком, в белом халате сидел доктор. Сазонов тихо бредил. Но иногда вскакивал, начинал кричать. Доктор стенографировал бред. Это был чиновник полиции, разоблаченный провокатор М. И. Гурович.

— Как ваше самочувствие? — говорил он, подходя, беря за руку Сазонова, пробуя пульс. То ж лошадиное, цвета алебаstra, лицо, те ж блестящие откинутые назад волосы, но не рыжие теперь, а черные как смоль, крашенные.

Сазонов попытался что-то сказать, но заметался, вырывая руку пробормотал:

— ...Еще бесконечность... ой... милый... Петька... пора... ой... но ты пожалуйста поскорее... что же... а... пустите меня... скорее поправлюсь... Господи, Господи...

Глубоко переведя дыхание, Сазонов смолк. Гурович записывал за столом. Сазонов снова метнулся, заговорил:

— ...Вот у меня был один хороший пациент, я его испортил... князь... я знаю... что вы из меня хотите сделать... много найдете самостоятельности... как... ох как утомил меня... да, князь... делайте вы по-своему, как вы хотите... не будьте бабой... фу, фу... досада... ну, Господи, Боже мой... поставьте меня в хорошее положение, как мужчину... ей Богу, бабу из меня вареную делаете... Господи Боже мой... никакого смысла ни в чем не вижу... — застонал он, падая на подушки.

Так лежал Сазонов долго. Потом тихо зашептал. Гурович подвинулся ближе, наклоняясь, не расслышавшая.

— ...Не знаю, что вы должны чувствовать... снимите лишние афишки... Господи... и вот я как балбес ничего не знаю... ничего не помню... хоть бы вы пожалели, как долго стою... пора кончать... торжественно даже... снимите лишнюю одежду... куда я поеду сегодня... вы сказали, что поеду... опять на бобах... опять на левой ноге какой-то князь... мой что ли... мой... тоже поганый... нет, вашу науку не понимаю... совсем странно... ой... что это на левой ноге...

тяжело... словно путо... доктор! — вскрикнув, вскочил Сазонов.

— Что вы? — ласково сказал Гурович, отложив карандаш и подойдя к нему.

— Что мне делать, доктор? — смотрел на Гуровича незабинтованным глазом, Сазонов, — эти дни надо ехать на дело... по провинциальному... я связан словом... и путаница... вышла... что делать?..

— Какая путаница? — еще ласковей проговорил Гурович, садясь на кровать, беря за руку.

— Николай Ильич... семейство... я жду, когда солнышко выйдет, — бормотал Сазонов, — ...ну перестань... не стану же плясать... Петя, а Петя... а что... а если... равно наплюй... покорно благодарю... не согласен... ты слышишь... не слушай... ну как... это же не печка какая... это машина... Господи помилуй... ну как же... о, о, о... ох Христос воскрес... теперь встречаются... я на могиле Христа... а где-то лежу... я конторщиком идти не хочу... все мрачные какие-то...

4

В Женеве у эс-эров был праздник. У кресла Гоца собрались Чернов, Потапов, Минор, Ракитников, Селюк, Брешковская, Натансон, Бах, Авксентьев, Азеф. Были Швейцер, Каляев, Боришанский, Бриллиант, Дулебов.

У кресла забылись разногласия, склоки, неприятности. Перемешались старые с молодыми. Раскаленный успехом Каляев говорил с распевным польским акцентом. Стоял взволнованный, покрасневший, с рассыпавшимися волосами. Каляев был похож на Руже де Лиля, поющего Марсельезу.

Многие из старых, потертых членов партии, в душе малосклонных к идеализму, даже не вникая в то, что говорил Каляев, были захвачены. Каляев верил в то, что говорил. Вера его была фанатична, страстна, красиво выраженная, она оковала слушателей, когда «поэт» говорил, нервно жестикулируя правой рукой:

— Мы не можем, не смеем верить перепугавшемуся правительству, сулящему теперь стране какие-то успокоения! Нет! Мы должны напрячь все силы, чтоб партия бросила в террор новые кадры преданных революции товарищей, чтобы внезапно, стремительно нанести врагу удар, и не затем, чтобы правительство шло по пути реформ, а

затем, чтобы ударами, взрывами бомб, разбудить страну, встряхнуть ее, чтобы террор против ненавистного правительства стал массовым! Пусть каждый член партии идет не с речью, не с агитацией, не с литературой, а с бомбой! Ибо вообще социалист-революционер без бомбы уже не социалист-революционер! О, я знаю, недалеко то время, когда разгорится пожар! Когда будет и у нас своя Македония! Когда рабочий и крестьянин возьмутся наконец, за оружие! И тогда-то, вот тогда, наступит великая русская революция!

Аплодисменты прервали Каляева.

Сидя с Азефом, обняв его толстой рукой, Чернов наклонясь, прошептал в азефово ухо: — Молодость, Иван, молодость, но святая, конечно, святая.

Азефу было тяжело от черновской руки, но надеясь, что Виктор поддержит несколько его предложений в ЦК, он не освобождался. Чернов снял руку сам, попросил слова.

— Слезы сжимают горло, дорогие товарищи, — говорил он несколько в нос, протяжным великорусским пеньем, — когда слышишь речь, подобную речи дорогого товарища «поэта»! В особенности потому, что она полна силы и жажды действия, несмотря даже на то, что товарищ только что участвовал в таком сложном и большом деле, как дело Плеве! Верно! Верно! Нам конечно нужна «своя Македония», но не надо только переламывать палку и, поддавшись, увлечению молодости, забыв всё иное, представлять себе нашу партию, как партию исключительно террористическую! Конечно, глубже пашешь, веселей пляшешь, это так, но надо всё же помнить и то, что, как сказал наш великий сатирик, с одной стороны нельзя не сознаться, а с другой нельзя не признаться! Да, террор нам нужен! Да, террор одна из необходимейших форм борьбы нашей партии, но террор ведь, дорогой товарищ, всё же есть мера временная, к тому же террор бывает троякий: экситативный, дезорганизующий, агитационный. И вот тут-то только в согласии с волей ЦК должна действовать наша святая беззаветная молодежь, наша боевая организация! Помните, что ржаной хлебушка калачу дедушка. И не дай Бог, если я понял так дорогого товарища, что, мол, он просто на просто влюбился, так сказать, в бомбочку, не дай Бог, не дай Бог, — затряс рыжими волосами Виктор Михайлович, — это конечно не то! Мы не верим правительству в его

заверениях, мы поведем террор и не одного Плеве разорвем в клочья, — стукнул по столу Чернов, — но конечно боевая организация должна идти исключительно по воле ЦК партии, действовать только по его указанию. Не увлекайтесь, молодые товарищи, у нас есть программа, есть важнейшие задачи, аграрный вопрос, нельзя всю работу партии свести к террору, от этого надо предупредить, уж поверьте, поверьте, — говорил Чернов, обращаясь к боевикам, сидевшим плотной молодой кучкой на кровати, — поверьте, товарищи, в бомбочку не влюбляйтесь, а к нам прислушивайтесь, вот тогда-то сообщая, без особого, так сказать, увлечения и пойдет у нас дело, не велик воробей, а копает горы, только должно среди нас быть полное подчинение воле ЦК.

Никто не придал значения речи Чернова. Все знали словоточивость теоретика. В общем гуле раздался голос больного Гоца.

— Ну, закипятился наш самоварчик! — захохотал, замахал на него Чернов, затрясши распадающейся по широким плечам шевелурой.

Гоц говорил горячо. Сказал, что присутствующие боевики принесли смертью Плеве на алтарь революции большую жертву. Что жаль славного отдавшего свою жизнь палачам, всем дорогого Егора Сазонова. Жаль молодого Сикорского. Но лучшей отплатой за них будет вновь наступление на слуг царского режима. И террор, верит он, поднимет действительно новую, большую революционную волну, которая сметет самодержавие. Попутно он полемизировал с социал-демократами. Но коротко. И закончил возгласом: — Да здравствует Б. О.!

Все прокричали краткое ура, от которого швейцарка-хозяйка изумленно остановилась среди кухни. — «Эти русские рычат, как звери. Совершенно некультурные люди», — пробормотала она.

— А скажите, товарищ Каляев, когда же придет Савинков? Почему он задержался? — говорил Гоц.

— Сегодня вечером. Он задержался в Берлине.

5

Вечером, оставшись один, сидя в кресле, Гоц думал о наступающей русской революции. Вид у него был болезненный. Щеки матовые, руки высохшие, как две кости. Сегодня ярче блестели глаза, но блеск их был нехороший.

Заметив это, жена положила на лоб Гоца руку, сказав:

— Миша, ты себя плохо чувствуешь, ты устал?

Гоц снял со лба руку, поцеловал.

— Вера, — проговорил он, — у партии успехи, нарастает революция, а я как мертвец, как бревно...

— Миша...

— Ну, что Миша? Товарищи не замечают этого, даже не думают, не хотят знать, что я страдаю. И они правы.

В это время было слышно, с кем-то говорила хозяйка. Раздался стук в дверь.

— Неужели ты опять примешь, Миша? Ведь уж поздно.

В полутемноте стоял Савинков. Гоц не узнал его.

— Можно, Михаил Рафаилович? Не узнаете?

— Боже ты мой! Да идите же сюда!

Сбросив пальто, Савинков быстро подошел к креслу. Они обнялись. На глазах Гоца были слезы. Он не выпускал руки Савинкова, сжимая ее бессильными больными костями.

— Как рад за вас, как рад, — всматривался в Савинкова, — а знаете, изменились, похудели как будто, да что там, немудрено. Ну, садитесь, рассказывайте всё, с самого начала, толком ведь никто еще ничего не рассказал. Верочка! Дай нам чайку и закусить что-нибудь!

6

Савинков рассказывал, как вели наблюдение, как точно знали выезды, как хороша была кухаркой Ивановская, как смело вышли метальщики, как мчались кони, как лежал на мостовой Сазонов, как Савинков не знал, убит ли Плеве, как узнал, как уехал, как в Варшаве его не узнала Ивановская.

— Вы были загримированы?

— Нет.

— Так почему же?

— Не знаю. Помню однажды опрашивал я Егора Сазонова, как вы, говорю, думаете, что мы будем чувствовать после убийства Плеве? Он говорит, — радость. И я ответил, — радость. А вот...

— А вот?

Брови Гоца сошлись.

— А вот, кроме радости пришло что-то новое, люди не узнают на улице.

— Не понимаю, — резко сказал Гоц, — этого я не

слыхал ни от Каляева, ни от Доры, ни от Швейцера, ни от Ивана Николаевича. Что же вы чувствуете? «Грех убийства?»

— Нет.

— Так что же?

— Так «что то», — засмеялся Савинков, — неопределенное весьма.

— Опять декаданс, опять ваша героиня, бросившаяся в окно? — заволновался Гоц, ударяя костлявой рукой по ручке кресла. — Что ж вы не хотите работать в терроре?

Савинков не сразу ответил, смотрел в блестящие глаза Гоца, сказал с расстановкой, не стирая улыбки.

— Нет, Михаил Рафаилович, вы меня не поняли, напротив, я хочу и буду работать *только в терроре*. Едучи по Германии, я уже думал об убийстве великого князя Сергея. Как вы думаете, это нужно партии?

— Конечно. Только это трудное дело.

— Дальше в лес, больше дров. У нас уже есть опыт, — улыбнулся Савинков монгольскими глазами. — Я хочу предложить следующим именно это дело.

— Об этом поговорим еще, — остановил Гоц. — Но дело то в том, что скрипка Страдивариуса так и остается надломленной. Боюсь за вас, Павел Иванович, ох, боюсь! Многое можете сделать, только не пошла бы трещина дальше, не лопнула бы скрипка.

— Сам ломать не буду, Михаил Рафаилович, ну, а если уж она когда-нибудь сломается, хотя не думаю, так что ж поделать, такая уж никчемная стало быть была скрипка и жалеть о ней нечего.

— Жалют тех, кого любят, Павел Иванович. Ну, да, ладно, — отмахнулся Гоц, — заходите завтра, а теперь «мне время тлеть, а вам цвести», — сказал он, показывая на парализованные ноги. — Идите к Виктору, у него вечеринка, поразвлекетесь, вам нужен отдых.

— Чернов всё там же, на рю де Каруж?

— Всё там же. Все мы здесь, «всё там же».

— Я не про то, — смеялся Савинков, — я очень уважаю Виктора Михайловича, как теоретика, очень ценю его эрудицию, только скучно, знаете, жить на рю де Каруж.

— Ну-ну ладно, зазнались.

В квартиру Чернова Савинков вошел в полночь. Женевцы видели третий сон. Но даже возле квартиры было шумно. В коридор из-за приотворенной двери неслись столбы синего дыма, шумы, крики сплетшихся голосов. Сквозь них выговаривала балалаечная барыня. И кто-то пляшущий выкрикивал: — «Скыгарки, мотыгарки, судыгарки, падыгарки».

Савинков увидел стремительно опускающегося в прыжке Чернова, с необыкновенной легкостью выкидывающего короткие ноги.

Забористо наярывала русская балалайка. Пьяный, на голос кто-то закричал неповинуящимся голосом:

— Да здравствует партия социалистов-революционеров!

Вдруг оборвались пляс, музыка, крики. Все бросились к Савинкову. Первый, задохнувшись от пляса телом, бросился Чернов с криком. — Кормилец наш, дорогой! — Савинков почувствовал, как силен Чернов, обнявший стопудовыми руками, целовавший в небритые щеки.

— Ах, ты вот радость то! Товарищи! Чествуем нашего неоценимого, бесстрашного боевика Павла Ивановича! Ура!

Но крик был впустую. Савинкова обступили боевики. Обнимал Каляев. Жал руку Швейцер. Поздоровалась Дора. Савинков прошел с ними к столу. Стол уже устал от вечеринки, не выдерживал бутылок, закусок, цветов, всё валилось на пол. Даже голубой чайник с выжженным боком и тот стоял отчаянно накренившись. Когда Савинков сел, из соседней комнаты вынырнула толстая фигура Азефа.

— Иван, как я рад!

— Слава Богу, слава Богу, — твердил Азеф, обнимая, целуя его.

Все смотрели на них. Они были герои праздника партии, руководители акта. Но в углу опять раздалась балалайка. Наигрывал бежавший из России, никому неведомый семинарист, влюбленный в гениальность Чернова, охмелевший от женеvского воздуха, от речей, от близости ЦК.

— Да, дорогие друзья, большое дело, великое дело, святое дело, — обнимал Азефа Чернов, похлопывая по плечу.

— Егора жалко, — гнусаво и грустно произнес Азеф.

— Конечно жалко, конечно жалко и всем нам жалко, но террор требует жертв и я уверен, что Егор мужественно взойдет на эшафот.

От Чернова пахло наливкой. Кто-то от стола сказал:

— Вы не сомневаетесь в нем, Виктор Михайлович?

— Нисколько, нисколько, уверен...

Семинарист играл «Во саду ли в огороде». Комната наполнялась тоской и грустью. Сгрудившись у стола, цекисты в синем дыму спорили о связи Б. О. с ЦК. Боевики сидели на диване. Но среди них с жаром говорил только Каляев. Швейцер отпивал сельтерскую. А самой грустной в дыму и шуме была Дора Бриллиант. Ее не замечали. Доре казалось всё чужим и чуждым. Казалось, люди спорят о чем то смешном и ужасном. А балалайка семинариста наполняла ее тоской.

Разорвался апельсин

У дворцова моста.

Где ж сердитый господин

Низенького роста.

— Что вы, товарищ, такая грустная?

— Я не грустная. Почему?

— Да я уж вижу, товарищ, у меня глаз ватерпас, —
— тенорком прохохотал Чернов, похлопывая по плечу Дору.

— Оставьте, товарищ Чернов, — сказала она.

Чернов отошел, обняв двух нагнувшихся к столу цекистов, сразу ворвался в спор, быстро заговорив:

— Нет, кормильцы, социализация земли несовместима...

Но уж серел рассвет. В открытое окно навстречу рассвету тянулся дым русских папирос, словно улетаая к горам в шапках снега. Все вставали, шумя стульями. Толпой вышли на рю де Каруж. По-русски долго прощались, уславливаясь, уговариваясь. И разошлись направо, налево. Только в дверях еще кивала рыжая голова хозяина. Но вскоре и он запер дверь.

8

Савинков писал письмо Вере:

«— Дорогая Вера! Последние дни я испытываю чувство тоски по тебе, гораздо более сильное, чем то чувство любви, которое нас связывало и связывает. Может быть

это странно? Может это причинит тебе боль? Но это так. Вот сейчас, когда в окно ко мне смотрят женевские горы, а по озеру бегут лодки с какими-то чужими людьми и вдали трубит беленький пароходик, мне хочется одного: — увидеть тебя. Хочется, чтобы ты была со мной, в одной комнате, где то совсем рядом. Чтоб я знал, что я не один, что есть кто-то, кто меня любит, сильно, однолюбо, кому я дорог, потому что я, Вера, устал. Пусть не звучит это странно. Последние события переутомили. Не знаю, когда мы увидимся. Как странно, что у меня есть дочь и сын, которых я почти не знаю. Я хочу постараться, чтоб вы выехали за границу, чтобы мы могли хотя бы изредка видаться и жить вместе. Мне становится вдвойне больней и тяжелей, когда я вспоминаю, что при совместной жизни, я тебя так часто мучил. Но сейчас я испытываю чувство щемительной, почти детской необходимости видеть тебя и даже не видеть, а чувствовать, знать, что ты вот здесь, в этой же вот комнате, вот тут спишь, вот тут ходишь. Много странного и неясного. Только совсем недавно я понял, что такое одиночество. На днях я написал несколько стихотворений. Одно из них посылаю:

«Дай мне немного нежности,
Мое сердце закрыто.
Дай мне немного радости,
Мое сердце забыто.

Дай мне немного кротости,
Мое сердце как камень.
Дай мне немного жалости,
Я весь изранен.

Дай мне немного мудрости,
Моя душа опустела.
Дай мне немного твердости,
Моя душа отлетела.

— Или благослови мою смерть».

Напиши мне *poste restante*. Крепко обнимаю тебя и детей

твой *Б. Савинков*».

Как мучился Азеф в эти женевские дни! Три письма получил от Ратаева с немедленным вызовом. Трижды отписался. После убийства Плеве партия не могла бездействовать. Расчет Азефа оказался верен: — в кассу Б. О. потопом шли деньги от лиц, организаций, иностранцев. И эти деньги стали волнением Азефа. Он настаивал, чтоб ЦК не касался их. Хмурясь, потая, сопя, соглашался на незначительные отчисления. Но чтоб не было постоянных посягательств, выдвинул план трех убийств, полное руководство которыми взял на себя. Он предложил: — в Петербурге великого князя Владимира, в Киеве — генерала Клейгелеса, в Москве — великого князя Сергея.

— Террор необходимо продолжать! Этого требует честь России! — кончил свою речь с глубоким, непередаваемым чувством Азеф.

Партия утвердила акты. Великого князя Сергея взял на себя Савинков. Азеф не видел проигрыша. Не было возможности. Он знал, что два акта отдаст полиции. А одним еще поднимет себя в партии. Но Азеф не был железный. Это стоило нервов и он уставал.

10

Было начало золотого августа. Придя после заседания, где он, как начальник Б. О. победил ЦК, Азеф снял пиджак, жилет, крахмальную рубашку и ощутил запах своего пота. Азеф обтер полотенцем желтое, жирное тело. Пологий лег на кушетку. Отдохнув, поднялся, сел за стол.

Тяжело дыша, голый до пояса, обдумывал устав Б. О., гарантирующий ее от контроля ЦК. Медленно придвинув чернильницу, не торопясь, написал: — «Устав Боевой Организации Партии Социалистов-Революционеров». Азеф писал:

1. Боевая организация ставит себе задачей борьбу с самодержавием, путем террористических актов.

2. Боевая организация пользуется полной технической и организационной самостоятельностью, имеет свою отдельную кассу и связана с партией через посредство центрального комитета.

3. Боевая организация имеет обязанность сообразовываться с общими указаниями центрального комитета, касающимися: а) круга лиц, против коих должна направляться деятельность боевой организации и б) момента

полного или временного по политическим соображениям прекращения террористической борьбы.

4. Все сношения между центральным комитетом и боевой организацией ведутся через особого уполномоченного, выбираемого комитетом боевой организации из числа последней

.....

Затягиваясь папиросой в длинном красном, костяном мундштуке, Азеф написал 12 параграфов с примечаниями. Под конец всё же устал. Отбросив перо, он сидел за столом, задумавшись, глядел в одну точку. Он вспоминал розовые ноги своей любовницы, певицы петербургского кафешантана.

11

В квартире на бульваре Распай Любовь Григорьевна с шестилетним сынишкой Мишей пили чай. Миша перемазался в леденцах, смеялся. Любовь Григорьевна обтирала маленькие, грязные пальцы и выставленные мишины губы.

— Ах, глупышка, глупышка, — говорила Любовь Григорьевна, небольшая, стриженная женщина в легких веснушках. В партии Любовь Григорьевна была, но активной роли не играла. Не хотел Азеф. А Любовь Григорьевна любила мужа. И никто из товарищей даже не знал, что читанный Азефом доклад «Борьба за индивидуальность по Михайловскому» писала ему жена, Любовь Григорьевна.

Азеф приехал внезапно. С порога, широко разведя руки, он поймал Мишу, высоко подбросив, прижал его, целуя смуглые мишины щеки. Миша взвизгнув обхватил толстую папину шею, целуя куда попало.

— Папа мой, золотой!

— Что ж ты не телеграфировал, Ваня?

— Да, я случайно.

— Ты наверное голоден, ах ты Господи, я сейчас у мадам Дюизен, — зашелестела юбкой Любовь Григорьевна.

Азеф щекочет Мишу усами. Миша заходится хохотом. Усадив его на колени, Азеф ласково гладит мишину кудрявую голову. Азеф очень любит своего сына.

— Папочка, расскажи, где ты был, что делал? В каких ты был странах? Ну расскажи всё! — жмурится Миша и, прищурясь, похож на Азефа.

— Был я далеко, милый, — говорит Азеф, улыбаясь, — отсюда и не увидишь.

— Как? А если залезть на Нотр Дам?

— Ха-ха-ха! Ты уж знаешь Нотр Дам?

— Да, там такие страшные куклы и одна, папочка, похожа на тебя, мама сказала, — смеется Миша, обхватывая папину шею. — Нет, папочка, расскажи что ты делал? Ты мосты строишь? Раз ты инженер?

12

Приготовления к трем убийствам были закончены. Швейцер приготовил динамит с запасом. В дождливый ноябрь, Савинков с паспортом инженера Джемса Галлея выехал на великого князя Сергея, в Москву. Привыкнув к твердому грунту Европы, он с неприятностью думал о трясущихся урядниках, свисающих ногами с мохнатых лошадей, о сером русском дожде, грязном небе, о тяжелых сугробах Москвы, о России.

Уголь монгольских глаз зарылся в подлобье. Обтянулись скулы. В облике Савинкова жила скука. Словно, увлекшись охотой, предпринял англичанин путешествие в страну «водки и медведей».

«Или Савинков Романова, или Романов Савинкова», — думал Джемс Галлей, подъезжая к Эйдукуну.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Сорок сороков московских церквей утонули в голубых сугробах. Зима была суровая, снежная. Уж в ноябре стояли небывалые морозы. В кривоколенных тупиках, переулках дворники и извозчики грелись, похлопывая голицами, притоптывая подшитыми валенками у разведенных костров.

Москвой правил великий князь Сергей. Худой, высокий, с холодным лицом и прозрачными, словно стеклянными глазами.

2

К дворцу подъезжали великокняжеские ковровые сани. Это подъезжал помощник великого князя, полицмейстер Москвы, генерал Д. Ф. Трепов.

Великий князь Сергей был недоволен многим. Раздражала слабость царя. Начавшееся влияние Витте. Сердили даже тридцатиградусные морозы и богомольность жены.

В кабинете дворца генерал-губернатора они сидели вдвоем. Трепов чернявый, живой красавец, каких рисуют на картинках форм русской армии. Конногвардеец был груб, говорил резко, в мужской компании любил пересыпать речь матерной бранью.

Сергей сидел за столом, чертя на бумажке незамысловатый орнамент. Иногда отрывал голову, и словно забывал прозрачные глаза на красивом лице генерала Третьева.

— Вам немедленно надо ехать в Петербург, ваше высочество, добиться доклада государю. С этими затеями Святополка и виттевщиной надо кончать и показать им, где раки зимуют! Менение внутреннего курса — гибель. Оно только на руку революционерам. Есть данные, что после убийства Плеве эта революционная сволочь вообразила, что мы перепугались. Теперь они не остановятся перед новыми убийствами, надо знать этих собак! Их надо разгромить, — говорил Третов. — На кого толкает эту олоочь курс мягкого стеления? На тех, кто вели иной курс, не на Витте же? А на вас, ваше высочество, на меня, на других. По сведениям петербургского охранного надо ждать оживления у террористов.

— Вам об этом докладывали?

— Есть доклад заведующего заграничной агентурой Ратаева. Рачковский уверяет, — засмеялся Третов полнокровным, барским баритоном, — что де их боевые силы у него в руках, теперь де ничто не может случиться, будто есть крупная провокация, но ведь, ваше высочество, эта бестия лижет зад у Витте. Вы можете ему верить? Лопухин тоже уверял, что террор невозможен, да что, перед смертью Плеве мне сам говорил, что держит террористов вот где, — сжал поросший черным волосом, крепкий кулак Третов. — Незамедлительно езжайте, ваше высочество, государь вас послушает.

— Витте хочет взять царя страхом перед революцией, — и великий князь странно засмеялся. Лучи солнца заливали паркет, рассыпались по полу и освещали половину корпуса князя.

Над Москвой стояло нерасплывающееся в голубом небе солнце. Тянулись тысячи дымов из труб. Савинков ехал с Рязанского вокзала. Отвыкший от русской зимы, он зяб и кутался, закрывая уши широким швейцарским кашне.

В гостинице «Княжий двор» было всё, как обычно — скучно. Швейцар в синей поддевке. Золотые рамы зеркал, в грязных точках. Черная грифельная доска с фамилиями. Савинков шел за коридорным, ощущая вечную тоску русских гостиниц. Истертый, плюшевый диван, на котором чего только не было, несуразное трюмо, кувшины с порыжелой водой.

Коридорный внимательно разглядывал иностранца.

— Паспорт прикажете сейчас прописать?

— Да, сейчас, — глядя вокруг, Джемс Галлей тосковал. Почти брезгливо вынул паспорт с красной печатью английского короля и подписью лорда Ландстоуна и протянул коридорному вместе с крупным рублем, изображавшим Николая II.

Коридорный, выходя, отвесил благодарный поклончик.

В это время террорист московской группы Борис Моисеенко поднимался по темному, узкому ходу на колокольню Ивана Великого и от вышины лестницы у него дрожали ноги. Террористы не знали еще, в каком дворце живет генерал-губернатор. Старый сторож в стотысячный раз устало поднимался вместе с Моисеенко.

С Ивана Великого в золоте солнца и голуби небес зарябила Москва. Старый сторож, не глядя вниз, за полтинник, шамкал о гордостях русской столицы. Дрожавшей, старой рукой сторож указывал молодому человеку: — Воробьевы горы, Кремль, Москва-реку, Сухареву башню, Каланчевскую площадь. Только когда стали было спускаться, Моисеенко сказал:

— А где, дедушка, великий князь живет?

— Хнязь? На Тверской на площади, вон церква-то Страстной монастырь, от нее возьми малость влево.

— Так, так. Хорошо поди живет, дедушка, а? — спускаясь, говорил Моисеенко.

— Знамо хорошо, зачем ему плохо жить.

У Моисеенко дрожали колени, от вышины колокольни Ивана Великого.

Парень в овчинном полушубке, в смазных сапогах, у Драгомилловской заставы у заезжего маклака торговал карюю кобылу. Кобылка была шустрая. Когда на проводке

маклак хлопал кнутом, кобыла рвалась из рук, била задом, вскидывала передом, маклак приседал на карачки, чтоб удержать в поводу кобылу.

Каляев ничего в лошадях не понимал. Но кобылка понравилась, явного изъяна не было и, вытаскивая из овчинного полушубка платок, развязал его, вынул деньги и передавая маклаку 90 рублей, проговорил:

— А как звать-то ее?

— Чать не по имени отчеству, — заворачивая деньги в газету, засмеялся маклак, — зови, мол, Каряя.

Каляев стал звать кобылу — «Каряя». На извозничьем дворе не было извозчика, кто бы так ходил за лошадью, как Иван Каляев. В две недели из мохнатой, ребрастой лошаденки вышла ладная кобыла. На зависть любому извозчику носила «Каряя» по Москве легкие сани, не в сравнение с меринком Бориса Моисеенко «Мальчиком».

«Мальчик» был никчемушный мерин, поджарый, плоского ребра, с сведенными ногами, густо налившимися сквозными наливками. Он смешно бегал по Москве, вприпрыжку, от шпата высоко подбрасывая левую заднюю. Но Моисеенко и не лихач. Ему по Москве не носиться. «Мальчик» тихо стоит на Тверской площади против дворца генерал-губернатора.

Прохожие редко нанимали «Мальчика», уж очень плох голенястый мерин. Разве кто, чересчур заторопясь, крикнет:

— Извозчик, свободен?

Услышит в ответ глухой голос необорачивающегося извозчика.

— Занят.

6

В пестро-крашеной будке стоит часовой. Отъезжают, подъезжают к дворцу сани, кареты. Выходят люди из подъезда в черных шинелях на красных подкладках, в серых николаевках, разлетающихся по ветру. Но кареты великого князя Сергея нет.

А какой мороз закрутил в Москве на Тверской площади! От мороза резво едут кони. Переминается медленно «Мальчик». Не греет рваное рядно. Хлопает голицами Моисеенко. Но рысью въезжает на площадь каряя кобыла. Извозчик в синем армяке с серебряными пуговицами, в

красном кушаке, с подложенным задом, осадив валковую рысь, становится на площади. И «Мальчик» трогает, с трудом разминая на морозе сведенные ноги.

7

Первый раз вымахнула карета великого князя ночью. Увидал ее Иван Каляев. Какие рысаки! Как процокали по обледенелым торцам, словно кто-то проиграл по белым клавишам. Ацетиленовые фонари кареты ослепили. Вихрем, как смерч, пронеслась карета с темным эскортом казаков. Но долго еще дымилась ацетиленовые глаза кареты великого князя Сергея.

«Стало быть верно сказал сторож Ивана Великого, не за Николаевским и Нескучным, а за дворцом на Тверской надо вести наблюдение». Каляев тронул с площади.

8

Савинкову скучно от одиночества и от чего-то еще. Что это такое? «Ерунда с музыкой», — определяет Савинков. В номерах «Княжьего двора» ходят неповоротливые мамы из провинции за руку с детьми. Детей водят в Грановитую палату, к царь-пушке, царь-колоколу. Опиваются в «Княжьем дворе» чаем стриженные в кружалы костромские купцы. Сосут чай с блюдечка. И кажется Савинкову, всё это российской сонью и дурью, а царь-пушка грандиозным росчерком этой же вот самой российской дури.

Но и Джемс Галлей иногда гуляет по Кремлю. Думает: не встретит ли случайно карету великого князя Сергея? Хотя до сих пор не встречал. И пройдясь по Москве, купив новую книжку стихов у Сытина, Джемс Галлей возвращался в «Княжий двор», дожидаться вечера.

Трудно ждать вечер. Джемс Галлей от скуки читает «Апокалипсис», и всё думает о князе Сергее: — «Если б убил его рабочий, поротый мужик, иль битый солдат, всё было б в порядке. Но убью его я — дворянин, интеллигент. Почему же именно я? Собственно у меня к нему нет ведь даже ненависти. Но смерти его я хочу. Я связан с революцией. Правда, связь холодна, может быть в том и неувязка, что не горю, как Егор, Янек, а убиваю спокойно, может от скуки, а может и нет».

9

Трактир Бакастова у Сухаревой Башни был похож на «Отдых друзей» на Сенной. Это был извозчий трактир, хороший тем, что были в нем грязные «отдельные кабине-

ты», в которые можно было проходить со двора. Богатый барин в бобровой шубе с палкой с серебряным набалдашником мог свободно сидеть тут с поддевочным русским человеком.

— Видел! Ночью, понимаешь, видел, вырвалась из ворот, совсем близко, с ацетиленовыми фонарями, таких фонарей ни у кого в Москве нет...

— А охрана?

На столе — закуска, водка, несколько бутылок пива, про-запас, чтоб не беспокоить полового.

— С казаками проехал, к Кремлю.

— Стало быть сторож с колокольни прав?

— Ну да. Я волновался, чорт знает как.

— Стало быть убьем.

Савинков налил рюмку, выпил, закусил вывертывающимся из-под вилки крепким огурцом.

— Яnek, после убийства я узнал что-то, чего до убийства не знал. Всё как-то странно, ей Богу странно. Словно старичек даром не прошел, — закашлялся Савинков, — умер, а что-то оставил во мне, на мне, чорт знает где.

— Ты говоришь о грехе?

— Ни-ни, как раз обратное. Раньше, когда я никого еще не убивал, чувствовал, что убить грех, было такое ощущение. А теперь вот именно этого ощущения-то и нет, сплыло.

Савинков налил пузырчатую рюмку.

— Понимаешь, как-то внезапно вышло всё по Верлену: «*Je perds la mémoire du mal et du bien*». Мне как-то Гоц говорил, что его внутренней жизнью правит категорический императив Канта, а вот мой категорический императив — воля Б. О. И всё. И ничего больше. Я сказал Гоцу, а он, — это, говорит, моральное язычество. Перед тем как кокнуть старичка — улыбнулся Савинков, — вот перед этим была какая-то вера в наше дело, в террор, в революцию, а после... — Савинков развел руками, — не пойму, стерлось, понимаешь, вот самая эта тончайшая грань стерлась, перестал понимать, почему для революции убивать хорошо, а для контрреволюции, скажем дурно? Больше того — для партии убить надо, а для себя почему-то никак нельзя? — Савинков захохотал с хрипотцой голосом размоchenным водкой, сводя на Каляеве узкие горячие глаза.

Каляев сидел, подавшись телом к Савинкову. На бледноватом, нежном лице был даже как бы испуг.

— Не понимаю, — проговорил он. — Ты говоришь: убить надо, не надо. Да, дорогой Борис, убить никогда не бывает надо; ведь мы убиваем только лишь для того, чтобы в будущем жить культурно, жить именно без этого проклятого террора. Убить никогда не бывает «надо», только когда за убийством большая любовь, великая любовь к человечеству, к правде, к справедливости, к социализму, к свободе, к человеку как брату, только тогда можно убить, и мы, выходя на террор, не только ведь убиваем «их», мы убиваем себя, «свою душу» отдаем на алтарь идеи.

Савинков засмеялся.

— Ну, вот, стало быть я ее уже отдал.

— Не смейся, — взволнованно проговорил Каляев, — это больно.

— Прости, Янек, дай скажу, ты дитя, ты ребенок, и это вот твое принесение жертвы, как у Егора, как у Доры, по моему просто ваше биологическое, так сказать, назначение. Понимаешь? Мне например начинает казаться, что все эти слова о правдах-справедливостях, идеях-идеалах, о социализме и прочих фаланстерах, всё это — у вас, лучших боевиков, прикрывает исступленную жажду жертвы, как таковой. Ну, если б вот у нас, например, сейчас было не самодержавие, а социализм и рай на земле, то ты всё равно бы нашел какую-нибудь идею и принес бы себя ей в жертву.

— Неверно! — страстно перебил Каляев.

— Да, да, — говорил Савинков, — смотрю на тебя, люблю тебя, Янек, но кажется, что другой жизни, другого дела, чем «отдать жизнь» у тебя нет, даже быть не может. Акуратно получать жалованье ты не можешь не только теперь, но даже и при наступлении социализма. Ты и там принесешь жертву, но какую-нибудь другую, такая уж твоя биология, рожден жертвенником, вот что я чувствую, Янек. Ты говоришь, народ, социализм, хорошо, ну а что же это за народ? Ведь это же, милый мой, чистый миф! Ведь вот этого лакея, который нам подавал, ты не любишь? А кого же ты любишь? Ты жертву свою любишь, свою сумасшедшую идею, из-за нее и убиваешь Плёве.

На лбу Савинкова надулась толстым червяком жила, перерезавшая лоб пополам, глаза горели.

— Ты мистик, Янек, ты религиозен по своему, и живешь для смертного своего часа, в этом всё твое оправдание. А я, Янек, человек другой биологии, я люблю жизнь, — проговорил страстно Савинков, — у меня всё было ясно, а вот старичек помешал, спутал карты, подтолкнул в моей любви к жизни, легонько так подтолкнул, любишь? говорит, убил, мол, меня за то, что жизнь любишь, сознайся, говорит, за это ведь убил? ну так и люби дальше, шире, разгонистей, люби во всю и не меня только бей, а кого хочешь, потому что не всё ли равно, как и для чего убивать, если в конце концов все мы всё равно сдохнем.

— Ты лжешь, Борис!

— Ми-луй, Я-нек! — проговорил Савинков, нагнувшись обнял его и поцеловал, — ну, конечно, лгу! конечно, это спьяну я, ты прав, — Савинков смеялся. А кончив смеяться, сказал:

— А у тебя, Янек, старичок ничего не оставил? а?

— Что оставил, смою своей кровью и кровью нового палача нашего народа. Для меня святыней горит Россия и социализм. Я иду на этот огонь и отдаю себя радостно. Верь, Борис, наше место недолго останется пустым, наши смерти — почки грядущих цветов.

— Понимаю, ты именно «отдаешь» себя, как женщина, не спрашивая ни о чем, может для мук, но в том-то и сладость, что отдаешь. В тебе — исступленная женственность, Янек. Но тебе я не завидую, а есть люди, которым завидую.

— Егор?

— Иван, — сказал Савинков.

— Азеф?

Савинков кивнул головой: — Ты больше думаешь, Янек, о том, как ты умрешь, а не как убьешь. А он — обратное. У него душа неседая. Даже души нет, вставлена революционная машина. Домашняя гильотина. Рубит, а он пальцами отстукивает, счет ведет. Жить ничто не мешает. Ни старичек, ни гибель товарищей. Вот я веду одно дело. А он? Целых три! И задумывается только над тем, как быстрее и верней убить всех трех. Ничего больше. Концы в воду. Всё на мельницу революции. А там видно будет.

— Иван Николаевич по душе мне чужд, — сказал Каляев. — Я его уважаю, даже люблю, за то, что он наша большая сила, сила революции, без него б не осуществи-

лось то, что взрывает трон, сотрясает государство, подымает революцию.

— Ты ребенок, Янек, милый ребенок, ты его «уважашь», «любишь даже», а он пошлет тебя на смерть, тебя разорвет в клочья, и он даже не почешется, завтра же тебя забудет.

— Идущие не обращают вниманья на падающих, Борис. Если б он оплакивал каждого из павших товарищей, как оплакивают некоторые, он не мог бы вести дело Б. О. Ты подумай только, какая ответственность? Какая тяжесть лежит на Иване Николаевиче?

— Да, да, — сказал Савинков, прислушиваясь к граммофону за стеной. Сквозь хохот многих голосов там пело граммофонное сопрано. Оба несколько минут просидели молча.

— Ты говорил, что в Женеве писал стихи?

— Писал, — смутившись сказал Каляев.

— Прочти.

— Тебе не понравится.

— Почему? Как называется?

Каляев улыбнулся по-детски. — Не знаю еще, может называться «Пусть грянет бой».

— Длинно. Стихи должны называться коротко.

— Можно придумать другое.

Каляев стал читать отчетливо и тихо:

Моя душа пылает страстью бурной
И грудь полна отвагой боевой.
Ах, видеть лишь свободы блеск пурпурный
Рассеять мрак насилия вековой!
И маску лжи сорвав с лица злодея,
Вдруг обнажить его смертельный страх,
И бросить всем тиранам не робея
Стальной руки неотвратимый взмах!
Довольно слез! Пусть грянет бой победный!
Народ зовет — преступно, стыдно ждать!
Рази ж врага, мой честный меч наследный,
Я весь, весь твой, о родина, о мать!

Облокотясь на стол, Савинков слушал.

— Последнее четверостишие слабо, — сказал он, — а два первых хороши. «Меч наследный» плохо.

— Я не нашел рифмы, — засмеялся, захлебываясь, Каляев. — Прочти свое.

— Тебе мое не понравится.

Савинков прочел стихотворение, посланное Вере:

Дай мне немного нежности,
Мое сердце закрыто.
Дай мне немного радости,
Мое сердце забыто.

— Отчего оно может мне не понравиться? Наоборот, мне очень нравится, — сказал Каляев и помолчав добавил: — знаешь что, Борис, ты талантливее меня.

Когда дымы из труб перестали уходить в небо, когда Москва погасла и стали раздаваться дребезги городских, оба вышли с темного двора трактира и, прощаясь, обнялись в воротах.

10

Малейшую ухабинку видел с козел кучер Андрей Рудинкин. Ацетиленовые фонари взрывали снежную темь. Великокняжеская карета мчалась с Николаевского вокзала. Сергей возвращался из Петербурга, после доклада императору о принятии курса твердой власти. Каланчевской, Мясницкой, Никольской мчалась великокняжеская карета. Она была больше кареты Плеве. Старинная, немецкой работы, с бронзовыми изогнутыми змеями вместо ручек. С желтыми спицами. Ярким гербом. С сероватой шелковой обивкой внутри. Козлы были широкие. Так что кучер, несмотря на тяжкий вес, сидел несколько с краю. Рядом неизменно ездил любимый лакей князя Оврущенко.

Жеребцы были не вороные, как у Плеве, а темно-серые. Невысокие, вершков трех, но ладные, широкогрудые, крепкоподпружные, шли маховым низким ходом. Левый «Жар» трехлеткой на московском ипподроме ставил вёрстный рекорд и правому «Вихрю» трудно было в паре с «Жаром». Рудинкин не пускал их поэтому врезвую. Жеребцы ехали ровным махом ко дворцу генерал-губернатора.

11

Каляев знал уже всё. Ночью: — ацетиленовые фонари. Днем — белые возжи, желтые спицы, широкий кузов, герб, черная борода Рудинкина. Даже карету княгини не

смешал бы с князевой, потому что сытый, словно молоком мытый, Андрей Рудинкин возил только Сергея.

Дора приехала из Нижнего-Новгорода, где хранила динамит московской группы. Террористы замыкали жизнь Сергея динамитным кольцом. Его жизнь была уже на исходе.

Написав письмо, Савинков лежал на диване. У дивана стояло кофе. Савинков пил кофе с бенедиктином, думая о смерти Сергея. Потом он оделся, вышел из «Княжьего двора». У гостиницы, закутавшись в отрепья, сидели нищие. Ветхий старик и старуха. Савинков кинул им двугривенный. Рапушивая толстый хвост под ударом возжи, за «Княжий двор» промчал серый лихач толстого господина, с головой закутавшегося в играющую серебром оленью доху.

Ослепительно горели кресты московских церквей. От мороза, молодости, здоровья, снега было радостно идти на Тверскую площадь на явку с Каляевым.

Но больше часа по площади ходил Савинков: — ни Каляева, ни Моисеенко не было. Савинков уже не радовался морозно-голубому дню, несшейся в дне жизни города. Охватило волнение за дело и товарищей. Возвращаясь, возле гостиницы он обернулся на оклик:

— Прикажете подвезти, барин!

Савинков увидал на «Мальчике» едет Моисеенко. Савинков сел. Ни седок, ни извозчик не говорили, едучи в сторону Савеловского вокзала. Только когда «Мальчик» стал уже уставать, в глухом Тихвинском переулке Моисеенко перевел его на шаг и обернулся.

— Читали заявление московского комитета? — взволнованно проговорил он.

— Какого комитета? Почему ни вас, ни «поэта» нет на площади?

Моисеенко сунул Савинкову квадратную бумажку:

«Московский комитет партии социалистов-революционеров считает нужным предупредить, что если назначенная на 5 и 6 декабря политическая демонстрация будет сопровождаться такой же зверской расправой со стороны властей и полиции, как это было еще на днях в Петербурге, то вся ответственность за зверства падет на головы генерал-

губернатора Сергея и полицмейстера Трепова. Комитет не остановится перед тем, чтобы их казнить.

Моск. ком. партии с. р.»

— Чорт знает что, — в бешенстве пробормотал Савинков, разрывая бумажку.

— Вы понимаете, — волновался Моисеенко, — комитет готовит на Сергея одновременно с нами? понимаете, какая ерунда? Они сорвут дело. После их заявления Сергей уж уехал из дворца, мы три дня гоняем по Москве, не можем выследить, где он. — Моисеенко сел на козлах, как следует: надо было выезжать на Новослободскую.

Савинков от злобы сжимал кулаки.

— Сволочи, — бормотал он, — эти «наследники Михайловского» конечно не убьют, а у нас сорвут дело.

Они выехали на Новослободскую. Улица была пуста. По улице шли рабочие. Обогнали их. Моисеенко повернулся на козлах.

— Павел Иванович, вам во что бы то ни стало надо повидаться с комитетчиками, иначе погублено дело. Ведь они не знают, что мы здесь.

— Уж три дня, говорите, его нет во дворце? — злобно проговорил Савинков.

— Три.

— Может пропустили?

— Да нет, переехал.

— Какая бестолковщина! Какая ерунда! Что же вы думаете, кто из комитета может вести дело?

— Кроме Зензинова — никто. Надо увидаться с ним и открыть карты.

Савинков не отвечал, соображая, как увидаться с тем молодым студентом Зензиновым, с которым когда-то жил в Женеве.

— А знаете, сделайте так, — заговорил Моисеенко, — езжайте к Марии Львовне Струковой, Спиридоньевка 10, моя родственница, я знаю, она встречается с Зензиновым и человек надежный. Просите ее устроить свидание. Она делает.

— Тогда езжайте к этой вашей Струковой сейчас же, — проговорил Савинков. — Тут медлить нельзя. А вдруг эта Струкова откажет?

— Не откажет.

Моисеенко повернул «Мальчика», стегнув. И «Мальчик» запрыгал по Новослободской в обратном направлении.

— Где же «поэт»? — привстав, спросил Савинков.

— Потерял из виду. С ума сходит, носится по городу. Мы с ног сбились.

Больше они ни о чем не говорили. «Мальчик» бежал вприпрыжку на Спиридоньевку.

12

Струкова не была революционеркой. Стриженная, похожая на мужчину, любила интересных людей, нравились революционеры. И она помогала им, подвергая себя даже риску.

— Какой-то господин, барыня, фамилии не называет, хочет лично говорить.

— Проведи в кабинет, — деловым басом сказала Марья Львовна и оправившись перед зеркалом, пошла, быстрой походкой развевая юбку.

Навстречу встал, светски поцеловал руку незнакомый, изысканный молодой человек.

— Марья Львовна Струкова? — проговорил он, — мы незнакомы, я друг вашего родственника Бориса Николаевича Моисеенко.

— Ах, Бори? Он здесь?

— Нет, его нет. Но, Марья Львовна, я от него к вам, по очень важному делу, только могу ли я просить, чтоб разговор и мой визит к вам, — Савинков улыбнулся, как улыбаются светские люди, — остался между нами.

— Разумеется, пожалуйста.

— Мне нужно во что бы то ни стало, не позже завтрашнего дня увидаться с Владимиром Зензиновым. Других путей узнать его адрес у меня нет. Прошу вас, устройте это свидание, дело не терпит никаких отлагательств. Дело большое и очень важное.

— С Владимиром Михайловичем? — глубоким басом произнесла Марья Львовна и лоб ее избороздился соображающими складочками.

— Да.

Марья Львовна соображала.

— Хорошо, — сказала она, — но где? у меня?

— Нет, Марья Львовна. Завтра в восемь я буду у подъезда театра Корша, там при входе много народу. Пусть вы и Зензинов придете туда. Меня он едва ли узнает,

мы давно не видались. Но пусть следит за тем, с кем позо-
роваетесь и поговорите вы. Я скажу вам несколько слов и
пойду от театра, он должен идти за мной, вот и всё.

Марья Львовна хотела улыбнуться, ей понравился та-
инственный план, но сдержалась. И хоть назавтра была
приглашена на серебряную свадьбу своего дяди, всё же
сказала басом:

— Великолепно. Так и сделаем. Я конечно не могу ру-
чаться, сможет ли приехать Зензинов. Но если сможет, так
и сделаем.

— Я должен вас предупредить, пожалуйста скажите
Зензинову, чтобы он тщательно проверил себя и не привел
бы с собой филеров. Если за ним есть слежка, чтобы не
приходил ни в коем случае. Он это сам поймет, конечно.

— Да, да, конечно.

— Итак, Марья Львовна, — поднялся Савинков, —
будем считать наше свиданье оконченным, надеюсь, оно
останется в полной тайне.

— Можете быть спокойны.

Шурша длинной шелковой юбкой, Марья Львовна про-
водила Савинкова до двери.

13

У Корша шла «Свадьба Кречинского». Кречинского
играл Киселевский. Москвичи любили Киселевского и валом
валили на спектакль. В восемь у театра толпилась толпа.
Сновали барышники. Стояли наряды полиции. Подкатывали
извозчики, лихачи, частные сани, кареты. Из саней, карет
выпрыгивали шубы, дамские, мужские. Чтобы не мять при-
чесок, дамы были в пуховых платках. Находу открывая су-
мочки, бежали к подъезду.

Прекрасный рысак захрапел от слишком быстрого оса-
да. Савинков легко выпрыгнул из саней и быстро взбежал
по ступенькам.

— Партер третий ряд, — подлетел приземистый ба-
рышник в каракулевой шапке.

— Не надо, — махнул элегантный господин.

Заметив полную, брюнетистую Марию Львовну в тя-
желых соболях, направился к ней с любезной улыбкой. При-
подняв бобра, Савинков поцеловал руку:

— Как я рад вас видеть, Марья Львовна.

— И я очень рада, — улыбнулась Струкова и не зная

что сказать, проговорила: — вы поклонник Сухова-Кобылина или Киселевского?

— Сухово-Кобылина. Прекрасный драматург, но с судьбой убийцы. Вы знаете?

— Да что вы? Не знала. Ну мне пора, прощайте. А вы?

Молодой человек снова приподнял бобровую шапку и поцеловал руку даме. Потом он пошел, проталкиваясь среди опаздывавшей в театр публики.

Одетый в потертое пальтишко без мехового воротника, в истертую котиковую шапку, Зензинов отделился от стены. Он видел Марью Львовну, говорившую с этим элегантным человеком. Не слышал, что они говорили, да это и неважно. Но кто этот молодой человек, Зензинов не понимал. «Неужели наш? Эс-эр? Не может быть. Я никогда его не видал. И что ему от меня нужно?»

Элегантный молодой человек в бобрах шел быстро. Зензинов ускорил шаг, чтобы поспевать. Молодой человек шел не оглядываясь, уходил слишком далеко.

Зензинов знал, что в Москве за ним слежка. Но прежде чем прийти к Коршу, проделал столько трюков, что сейчас был совершенно спокоен. Слежки не было. Впереди в свете желтых фонарей колыхалась шапка молодого человека, на расстоянии ста шагов.

Молодой человек несколько раз сворачивал в улицы. «Вероятно, хочет выйти на Дмитровку», — думал Зензинов, ускоряя шаг. «Да, сворачивает именно на нее. Но кто же он? Чорт знает...»

Зензинов увидал, как выйдя на Дмитровку молодой человек замедлил шаг. «Надо догонять». Зензинов подошел вплотную к незнакомцу в бобрах. Теперь, поровнявшись, они сделали несколько шагов идя рядом. Никто из них не глядел друг на друга. Вдруг незнакомый сделал еле уловимый знак рукой и тут же отскочив с тротуара на улицу, крикнул навстречу мчавшемуся лихачу:

— Стой!

Лихач осадил большого вороного рысака, разгорячившегося в беге. Незнакомый не сказал ни слова. Оба они подошли к саням. И незнакомый пропустил Зензинова первым. Впрыгнув за ним, он резко крикнул на морозе:

— К Тверской заставе, как следует!

Рысак бросился с места, кидая в передок гулкие комья, понесся стрелой по Дмитровке. «Знакомый голос», — думал

Зензинов, но молчал. Он был приглашен, ждал, чтобы заговорил спутник. Но молчал и спутник. Он даже не смотрел на Зензинова. Зензинов обоку взглянул на укутавшееся в бобры лицо, откидывавшегося всем телом на ухабах незнакомого. «Не знаю. Лицо как каменное. Не русский должно быть. Что за притча?» — думал Зензинов. Но лихач так мчал по темным улицам, так гикал — «эй — ахх — берегись!» — так кричал по беговому на разошедшегося рысак, что где тут было думать. Сначала мимо летели освещенные улицы, теперь темные, неосвещенные домишки, и вот почти ничего, какие-то деревья, пошла Тверская застава.

Незнакомый оглянулся назад, придерживая от рвущегося ветра шапку. Оглянулся и Зензинов. В темноте прямой, освещенной дороги никого. Только они несутся чортовым лётом, словно на ипподроме берут трехверстный приз. И лихач гикает, кричит...

— Налево, к трактиру! — закричал незнакомый.

Голос Зензинову показался где-то слышанным. Но рысак уже осел под одноглазым покривившимся фонарем трактира и слышно, как тяжело носит боками рысак, как храпит от сумасшедшего хода.

Незнакомый выпрыгнул первый, сунул лихачу видимо столько, что тот снял только шапку. Зензинов прошел за незнакомым в трактир. И только, когда в отдельной комнате незнакомый снял шубу и бобра с лысеющей головы, он ахнул: — «Да ведь это же Павел Иванович!» Но Павел Иванович молчит. Потирая от холода руки, глазами улыбнувшись незнакомцу, молчал и Зензинов. Каменное, серое, мертвое лицо у Савинкова. Он говорит половому брезгливо и повелительно:

— Дашь два ужина, что у вас есть на ужин? Прекрасно, водки дашь графин и вина, какое у вас есть вино?

— Никакое-с. Вина нету. Только водка.

— Водки и два ужина, да живее!

Зензинов смотрит — диву дается. Как будто он, Павел Иванович, никаких сомнений. А совершенно не он. Это не женовский юноша бежавший из Вологды. Поживший барин с усталым лицом, аристократически растянутым говором, повелительным жестом. «Вот это грим!» — в восторге думает Зензинов.

— Давайте будем кратки, ибо нас могут каждую ми-

нуту прервать, — проговорил Савинков. — Я — член боевой организации. Вы — член московского комитета партии. Не так ли?

— Так.

— Вы готовите покушение на Сергея? Неправда ли? Мне это известно. Но я должен вас предупредить, чтобы вы сейчас же ликвидировали всё, сняли наблюдение, сняли всех занятых в этом деле людей, потому что, — Савинков сделал паузу, — это наше дело, его веду я и оно близится к концу. По понятным причинам комитет об этом не знал, но теперь я вынужден вам открыть карты, ибо вы уже своим заявлением спугнули Сергея. Он переехал с Тверской площади.

— Разве? — тихо проговорил Зензинов.

— Да. Но он от нас никуда не уйдет. Я уже знаю, что он в Нескучном. Это даже лучше для нас и хуже для него. Теперь вместо короткого пути от Тверской до Кремля ему надо ехать от Нескучного к Калужским и затем к Москвареке через Пятницкую, Большую Якиманку, Полянку, Ордынку и так далее. Мы убьем его на улице. И убьем скоро. Только повторяю, даете ли вы мне сейчас слово, что с завтрашнего дня вы снимете с него всякое наблюдение. Вы понимаете, надеюсь, это ведь не дело чести, а дело успеха. Кто ведет дело в комитете — вы?

— Да, я. И я могу вам сказать, что конечно с завтрашнего дня мы снимем наблюдение и прекратим всё. Мы даже не знали, что боевая в Москве.

— Это меня радует. По крайней мере, я думаю, что наша конспирация несколько лучше вашей.

— Дай Бог.

За дверью послышались скрипкие шаги полового. Он внес поднос с засаленными бараньими котлетами и потным графином водки.

— Холодная? — проговорил Савинков тем же безразличным барским голосом.

— Точно так-с, как же водке зимой да не быть холодной?

— Ладно.

Половой небыстро вышел, скрипя сапогами.

— Это всё, зачем вы меня хотели встретить? — спросил Зензинов. — Я хочу сказать, если это всё, то может быть лучше, чтобы мы бросили ужин и уехали, ведь судите

сами, если нас кто-нибудь здесь увидит, может показаться подозрительным, тому же половому. И тогда...

— Вы хотите сказать — виселица? — улыбнулся Савинков узостью глаз.

— Нет, я хотел сказать, — погибло дело.

— Ах так! Но я думаю, что мы с вами здесь в полной безопасности. И можем смело поужинать. К тому же я живу так уединенно, вижу только с товарищами по делу и то урывками, мне приятно вырваться из кольца конспирации и посидеть со свежим человеком. Роль богатого ирландца не так то уж оказывается легка и весела.

Зензинов ел отбивную котлету, внимательно слушая. Он конечно знал безошибочно, что это Павел Иванович. Но до сих пор Савинков не назвал себя. И это дивило Зензинова. Когда Савинков опрокинул большую рюмку, заедая ее котлетой, Зензинов спросил:

— Скажите, в петербургском деле вы тоже участвовали?

Савинков посмотрел пристально.

— Да, — сказал он медленно, — как же.

— Я так и думал. Блестящее дело.

— Трудное, — сказал Савинков.

— Все дела террора трудные.

— Ну, как сказать. Наше теперешнее тоже конечно трудное. Но ведь это потому, что слишком высоки птицы.

Зензинов доел. Дальнейшее инкогнито казалось ему бессмысленным. Он сказал:

— Скажите, ведь вы жили у меня в Женеве, когда бежали из Вологды.

Савинков улыбнулся.

— Вы узнали меня сразу, Владимир Михайлович?

— Какой там сразу! У вас изумительный грим. Я узнал вас только тут, в трактире, да и то первое время сомневался. Вы изумительно перевоплотились в англичанина. Но и сами конечно изменились. Я не видал вас почти два года.

— Да, да, изменился. Конечно.

Опершись руками о стол, Зензинов слушал бесконечный рассказ Савинкова. Савинков говорил тихо, со множеством интонаций, то понижая голос, то повышая, о том, как трудно быть и жить боевиком, умирающий боевик отдает свое тело, а боевик живущий душу.

— Вы не поймете, не поймете как это тяжело. Это

опустошающе, это ужасно, — прервал свой рассказ Савинков. Зензинов, глядя на него, думал: — «Всё тот же обаятельный Павел Иванович, тончайший художественный рассказчик, яркий, талантливый. Какой изумительный человек. Какие силы у нашей партии, у революции, раз такие люди идут во главе — в терроре!»

— Я знаю, что еще раз отдаю свою душу, а быть может, и дай Бог, свое тело партии и революции, — говорил Савинков, — я знаю, это нелегко, но я отдаю себя делу потому, что слишком люблю страну и верю в ее революцию.

Зензинов взял его руку, крепко пожал.

— Все мы обреченные, — тихо сказал он.

— Но я верю в нашу победу, — ответил Савинков.

— Конечно. Разве без веры возможна наша работа? В особенности ваша, Павел Иванович?

— Да, — проговорил Савинков. — Ну что же, поедем? Они встали.

— Стало быть вы даете мне слово, что с завтрашнего дня комитет отдает нам Сергея полностью?

— Да.

— Прекрасно. — Савинков позвонил вилкой о стакан.

— Получи за всё, — бросил половому богатый барин.

Половой, согнувшись у стола, начал было что-то выписывать грязными каракулями.

— Синенькой хватит? — крикнул Савинков, — что останется возьми себе, выпей за мое здоровье!

Половой оробел. Господа наели всего на два с четвертью. Что было ног бросился он к бобровой шубе, сладострастно снимая ее. Но Зензинову не успел подать. Он сам надел свое вытертое пальтишко.

Рысак зазаяб у подъезда. Уж не раз проезжал его лихач. Ругался матерью на занесшихся в эдакий трактир господ.

— Заяб? — с крыльца весело крикнул Савинков, — постой-ка, брат, разогреем! — Он крикнул половому. Половой вынес чайный стакан водки. Лихач только крякнул на морозе, но так, что лошадь вздрогнула. И, когда господа сели, дунул и понесся снег, комки, ухабы, гиканье. Ни говорить, ни видеть нельзя в сумасшедшем лёте. Лихач сдержал рысака только когда по бокам замелькали теплые огни московских улиц.

Ни ночью, ни днем не спал Савинков. Всё заволоклось силуэтом Сергея, взрывом. Явки с Каляевым и Моисеенко шли ежедневно. Все стали нервны, бледны, худы. Словно чуя беду, генерал-губернатор в третий раз менял дворец. Из Нескучного переехал в Кремль, в Николаевский. И Каляев и Моисеенко остались теперь по ту сторону стен.

— Волнением делу не поможешь, — говорил Савинков Моисеенко в трактире Бакастова, — сам ночей не сплю.

— Но вы же видите, что наблюдение затруднено, мы не можем ждать его у ворот, да и неизвестно, из каких кремлевских ворот он выезжает. Время на терпит, события кругом нарастают. А наши силы истрепаны. Дора неделю сидит с динамитом.

— Надо немедленно вести наблюдение в самом Кремле.

— Я уже пробовал вчера, стоял у царь-пушки, но там задерживаться нельзя. Прогоняют.

— Лязь или нельзя, надо вести.

На следующий день драный ванька на «Мальчике» въехал через Спасские ворота в Кремль. Въезжая снял шапку, перекрестился. И доехав до царь-пушки, встал.

Городовые не обратили внимания. Простояв с час, ванька выехал через Китайские ворота, потому что въехала в Кремль карая кобыла. И извозчик стал лицом к дворцу.

Савинков чувствовал себя плохо. В этот день он сидел в комнате Доры. Почти две недели, как приехала Дора с динамитом из Нижнего. Ждала. И казалось, что никто из товарищей не понимал ее мук. Она была права. Если б Алексей был здесь, Дору б не забыли, ей бы дали место в Б. О., которого хочет, без которого нет жизни. Но Дора на пассивной работе. Ей не дают того, чего хочет Дора: — убить и умереть.

— Ах, дорогая Дора, теперь только одно желанье. Понимаете, — говорил Савинков. — Я забыл, что у меня мать, жена, товарищи, партия, всё забыл, Дора, ничего нет. День и ночь вижу только — Сергея. Сажу на его приемах, гуляю с ним в парке, иду завтракать во дворец, еду по городу, вместе страдаю бессонницей, знаете Дора, это переходит в навязчивую идею и может кончиться сумасшествием. Но поймите, Дора, что потом, если нас с вами не повесят жан-

дармы, что может случиться каждый день, каждую минуту, ведь достаточно только неосторожного шага или дешёвенькой провокации, потом, Дора, когда мы всё это, даст Бог, обделаем и генерал-губернатор будет на том свете, а мы с вами приедем в Женеву, ведь никто, ни Чернов, ни Гоц, ни даже Азеф не поймут, чего это стоило! Чего это стоило нам! Никто даже не захочет поинтересоваться. Убит, Ура! Ну, а мы-то, Дора? А? Разве это так уже просто?

— Надо кончать скорей, — проговорила Дора.

— Бог даст кончим.

— Вот мы все вместе работаем в одном деле, для одной идеи, — тихо начала Дора. Савинков ее остро слушал. — А какие все, ну, решительно все разные. Ни один не похож на другого. В мирной работе партии, там, мне всегда казалось, один как другой, другой как третий, все по моему одинаковые.

— Это верно и тонко, Дора.

— А тут, вы, например, и Иван?

— Ну, что я и Иван? — поднялся на локте с дивана Савинков.

— Вы совсем разные.

— В чем?

— В себе разные. Иван — совершенно без колебаний: расчет и логика. С ним работать легко. А вы сплошное чувство, да еще переполненное какими-то вопросами. Вы даже не человек чувства, а какой-то острой чувствительности. Всё всегда залито сомнениями, специфическими вашими теориями, чем-то непонятным. С вами трудно работать. Вы не даете цели, не ведете к ней. Вы сами ощупью идете, щупаете руками, с закрытыми глазами. А Иван Николаевич всё видит и ясно показывает.

— Хо-хо, Дора! — притворно засмеялся Савинков, — не думал, что в вас так много наблюдательности и даже «философии»!

— «Поэт» тоже другой. Швейцер тоже совершенно другой.

— И вы Дора — совсем другая, неправда ли?

— Наверное.

— Все мы совсем другие. Этим-то и хороша жизнь. Потому-то я и ненавижу серую партийную скотинку, которая, разиня рот, слушает Виктора Михайловича и ест из его уст манну.

— Вы слишком резки, Борис, это ненужно. У вас нет любви к товарищам.

— Кого? Любить всех? Это значит никого не любить, Дора.

17

В девять они ехали. Вез Каляев. Сворачивали к окраинам Москвы. Когда улица обезлюдилась, Каляев повернулся на козлах. В желтом свете редких фонарей еще резче чернела худоба Каляева. Его глаза ввалились, щеки обросли редкой бородой. Каляев был похож на истомленного постом монаха. Профиль был даже жуток.

— Янек, — сказал Савинков, — дальше наблюдение вести нельзя. У нас сил нет. Мы хорошо знаем выезды. Надо кончать. Как ты думаешь?

— Да, — сказал Каляев. — Лучше всего метать, когда он поедет в театр. Он теперь часто выезжает. В газетах объявляется о выездах.

— Продавай лошадь, сани и на несколько дней выезжай из Москвы, тебе надо отдохнуть. Мы останемся здесь. Перемени паспорт и возвращайся к 1-му февралю. Тогда кончим.

— Это верно, надо отдохнуть, я очень устал, — сказал Каляев, — чувствую, нервами как-то устал, иногда даже кажется, что не выдержу. Я уеду. А к 1-му буду здесь. Ты веришь, Боря? а? Я уверен. И знаешь, — загорелся Каляев, лошадь шла тихим усталым шагом, — ведь если «Леопольд» в Питере убьет Владимира, мы здесь Сергея, это будет такой им ответ, ведь это почти революция. Жаль, что может быть не увижу ее, — проговорил, также внезапно поникая, Каляев. — Хочу только одного, чтоб товарищи в Шлиссельбурге узнали, чтобы Егор, Гершуни, все узнали, что мы бьемся и побеждаем их...

Навстречу ехало несколько экипажей, Каляев по-кучерски поправился на козлах, подтыкая под себя армяк и тронул рысью.

18

В этот вечер, уступив постель Доре, Борис укладывался на диване. Огня не зажигали. В сумраке номера, освещенного только фонарями с улицы, как темные паруса, белели простыни. Это Савинков стелил на диване.

Когда сел расшнуровывать ботинок, Дора уже лежала в постели. Не спала. Слишком много тоски было в этой

ночи, чтобы спать. Дора думала: — неужели и теперь товарищи обойдут?

По полу раздались легкие шаги босых ног. Дора видела белую фигуру Бориса. Он прошел и налил из графина воду. Только издали на улицах барахтались ночные конки. Тишина номера жила полновластно.

Савинков чувствовал, не заснет. Проклятая бессонница. Он думал о Доре. Было странно, раньше Дора его не интересовала, как женщина. Худенькая, подраненная птица. Сегодня во время разговора об Иване уловил редко улыбавшиеся губы. Представил Дору заснувшей. Повернулся. Свет окон падал на кровать Доры.

Он встал, пошел к графину. И когда пил, дрожали ноги. Тихими шагами, ставя прямо ступни, почти бесшумно подошел к кровати. Остановился над Дорой.

Дора поднялась на локте.

— Вы что, Борис? — испуганно прошептала она.

— Ничего, — проговорил он и на «го» пересекся голос. — Не опится. Хотел поговорить. Вы не спите Дора?

Он сел на кровать. Дора не поняла. Никогда еще полураздетый мужчина не сидел так близко. Дора слегка отодвинулась.

— Мне тоже не спится, — сказала она. — Это от ожидания.

У Бориса стучали зубы. Дора не слышала. Но увидала над собой острые глаза, показавшиеся злыми и чужими.

— Может быть скоро умрем, Дора, правда? — прошептал Борис сжимая ее руку, голос был необычен. — Ах, Дора, Дора, — прошептал он нежно и его руки вдруг обняли ее и порывисто придвинулось в темноте лицо. Только тут Дора поняла, зачем он пришел.

— Уйдите! Сейчас же, уйдите!

— Дора... Дора, может быть через три дня...

— Это подло! Я сейчас же уйду...

«Глупо» пробормотал, вставая, идя к дивану, Борис.

Но Дора встала с кровати. Он видел в темноте, как она быстро одевалась. «Какая ерунда», проговорил Савинков.

— Выпустите меня, — оделась Дора. — Я не останусь.

— Что вы выдумали? — зло проговорил Савинков. — Я буду выпускать вас среди ночи? Вы с ума сошли! Номер заперт. И я вас не выпущу. Можете спать совершенно спо-

койно. Метафизическая любовь к Покотилову без вашего желанья не будет нарушена.

Слезы подступили к горлу Доры.

Борис сидел, поджав ноги под одеялом.

Ему показалось, Дора плачет.

— Дора, — проговорил он тихо. — Простите, я оскорбил вас. Я не хотел. Я думал, вы в любви тела также свободны и просты, как я. Вот и всё. Не делайте драмы. Выпустить я не могу, вы понимаете. Гостиница заперта. Надо вызывать швейцара. Ложитесь и спите.

Дора сидела у стола, закрывшись руками. Она плакала.

Борис тихо встал, бесшумно пройдя по ковру. Дора слышала его приближение, но теперь она его не боялась.

Подойдя, он взял ее руку. Рука была в слезах. Борис отнял ее от лица, несколько раз поцеловал. Потом поцеловал ее в голову, тихо проговорил:

— Простите за всё, Дора, может быть мы оба через несколько дней сойдем с ума... Прощаете?

Дора не отвечала. Но ее пальцы едва заметно сжали руку Бориса. Она прощала всё, но плакала. Борис еще раз поцеловал ее в волосы. И прошел к дивану. Он слышал, как Дора долго плакала. Прошла к кровати и, не раздеваясь, легла. Дальше Борис ничего не слышал, заснул, провалившись в бездонную черную яму сна. Ничто не снилось ему. Не снилось и Доре, заснувшей в странной, вывернутой неудобной позе.

19

Карюю кобылу Каляева давно уж подвязали цыгане к широкой распалке розвальней, вместе с другими лошадьми вели далеко от Москвы. Лошади трусили за розвальнями, запряженными пятнастой белой кобылой с провислой спиной. Когда набегу кусались незнакомые лошади, били ногами, старый цыган кричал что-то дикое, отчего лошади успокаивались. И тихо бежали за розвальнями.

Но «Мальчик» еще ковылял по Москве. Вместо обычного гарнца получал теперь два. На рассвете долго жевал съеденными зубами, выпуская в кормушку смешанное со сляной зерно, снова подхватывая теплыми, похожими на мухобойку, губами. Его можно было видеть в Кремле. Он дремал у царь-пушки, закрывая старые глаза.

Хозяин был с ним всё ласковее. Скребницей чеша старый круп, говаривал: — Ты, «Мальчик» молодец, свое дело зна-

ешь. — «Мальчик» косился слезящимся глазом. Словно, чтоб отблагодарить, сразу брал подпрыгивающей рысью от извозничьего двора.

«Мальчик», стоя, спал в Большом Черкасском переулке. Он не знал, что сегодня 2-е февраля и зачем к саням подошел, поскользнувшийся на льдистом тротуаре барин в бо-брах.

20

Несколько часов тому назад Савинков звонил по телефону Доре в «Славянский базар», говоря.

— Погода прекрасная, думаю мы сегодня поедem.

— Как хотите, Джемс — ответила Дора, И взволнованно прошла в свой номер. В нем Дора заперлась. Быстро открыв шкаф, с трудом вытащила чемодан с динамитом. Останавливаясь от волнения, твердя «возьми себя в руки, возьми себя в руки», начала приготовление бомб для Сергея.

Иногда Доре казалось, кто-то стучит. Она вздрагивала, приостанавливалась. Это был обман, самовнушение. В большой фарфоровой, с синими цветочками, посуде мешала бертолетовую соль, сыпала сахар. Наполнила серной кислотой стеклянные трубки с баллонами на концах, привязала к ним тонкой проволокой свинцовый грузик, в патрон гремучей ртути вставила трубку с серной кислотой, на наружный конец ее надела пробковый кружок. Дора знала, при падении свинцовый грузик разобьет стеклянные трубочки, вспыхнет смесь бертолетовой соли с сахаром, воспламенит гремучую ртуть, взорвется динамит и... умрет генерал-губернатор.

Беря большую трубку, Дора вспомнила Покотилова. «Крепись, Дора, возьми себя в руки, возьми себя в руки». К четырем часам в номере всё было прибрано, подметено. Завернутые в плед лежали две десятифунтовые бомбы.

Дора сидела в кресле. Как всегда от динамита пахло горьким миндалем, разболелась голова. Чтоб не поддаться сну, она открыла окно. В комнату клубами повалил белый, морозный пар. Скоро Доре стало холодно. Она надела шубу. В шубе села в кресло с книгой в руках, ожидая стука, который должен быть точно в шесть. Так он и раздался, желанный стук: — два коротких удара.

Савинков вошел заснеженный от езды и мороза, был бледен. Не снимая шубы и шапки, спросил:

— Готово?

- Всё.
- Это? — указал он.
- Да.
- Почему у вас так холодно?
- Я открывала окно.
- Пахло?
- Я боялась заснуть.
- Вы очень устали? — участливо заговорил Савинков, взяв ее руку. — Как мы вас мучим, Дора.
- Почему вы мучите? Не понимаю.
- Вы возьмете или я?
- Лучше я.
- А что вы читали?
- Стихи — смутилась Дора.
- Ладно. Идемте скорей, ждет.

«Мальчик» стоял у гостиницы. Подпрыгивая повез их в Богоявленский. На езде Савинков развязал осторожно плед, перекладывая бомбы в портфель. «Так будет лучше», сказал он, держа портфель на коленях.

Идя по Ильинке, они видели как отделился от стены, пошел за ними прасол, в поддевке, картузе, высоких смазных сапогах. Прасол нагонял их, поровнявшись, сняв шапку, заговорил с барином.

Был уже вечер, стлались зимние коричневатые сумерки. Прасол взял у барина тяжеленький сверток, крепко держа его, стараясь не поскользнуться на льду, пошел к Воскресенской площади, через которую полчаса восьмого должен ехать великий князь Сергей в оперу, на «Бориса Годунова» с Шаляпиным.

21

Возле здания городской думы, Каляев ходил со свертком. Весь он был во власти жгучей легкости наполнившей тело. Знал, через полчаса, может через час, наступит тот момент, после которого ничего не будет. Будет счастье революции и Ивана Каляева.

Думать становилось трудно. Думал о том, как бы не поскользнуться, не упасть в темноте со свертком. Мостовая была ледяная. Каляев ступал осторожно. Мороза не чувствовал, казалось даже жарко. Вдруг от Никольских ворот, не то сон, не то явь, на мгновенье блеснули сильные фонари. Ацетиленовые фонари Каляев узнал не глазами, всем су-

ществом. Забыв о скользкости, он почти побежал им навстречу, лавируя меж ехавших по площади экипажей.

Карета Сергея ехала небыстро. Меж ней и Каляевым оставалось двести шагов. Каляев обогнул последний экипаж. Теперь их не разделяло ничто. Только время. Задышавшись, глотая холодный ветер, Каляев бежал наперерез карете. Но, ослепляя всё на своем пути, простучав колесами, карета промчалась мимо.

Сжав оверток, качаясь, Каляев шел медленными шагами с площади. Тело было в поту, ноги дрожали. У Никольских ворот его за руку схватил Савинков.

— Что же? Что? — прошептал он задышающимся шопотом.

— Не мог... дети... — тихо проговорил Каляев.

И в ту же секунду Каляев понял, какое преступление он совершил перед партией. Они молча шли к Александровскому саду. Каляев бессильно опустил на первую обмерзшую, заснеженную скамью.

— Борис, — проговорил он, — правильно я поступил или нет?

Савинков молчал.

— Но ведь нельзя же... дети...

Савинков сжал руку Каляева.

— Правильно, Янек. Дети невиноваты. Но ты не ошибся, были действительно дети?

— Я был в двух шагах. Мальчик и девочка. Но я попробую, когда поедет из театра. Если один, я убью его.

Они долго сидели в Александровском саду. Вставали, уходили, приходили снова. Наконец начался театральный разъезд и у подъезда Большого театра заматались лакеи, выкликая экипажи. Замахали рукавами, раскричались извозчики зазывая седоков. Из дверей повалила, возбужденная музыкой Мусоргского, толпа шуб, дох, боа, муфт. Каляев, замешавшись в толпе, не спускал глаз с ацетиленовых фонарей кареты.

Девочка за руку с мальчиком прошли опушенными ножками. За ними шла пожилая женщина. Каляев узнал великую княгиню Елизавету. Следом шел высокий генерал-губернатор, и находку разлеталась его шинель на красной подкладке.

Проводив его взглядом Каляев ушел с Театральной площади.

Дора ждала в глухом переулке Замоскворечья. Издали она узнала ковыляющего «Мальчика». Савинков взял ее в сани и, молча, передал портфель с бомбами.

— Не встретил?

— Встретил. Но не мог, были дети.

Дора молчала, поправила на коленях портфель.

— Дора, вы оправдываете «поэта»?

— Он поступил, как должен был поступить.

— Но теперь вы снова будете вынимать запалы, разряжать, заряжать. Может произойти неудача. Вы опять рискуете жизнью и всем делом.

— Мы не убийцы, Борис, — тихо проговорила Дора. — «Поэт» прав. Разряжу и заряджу без оплошности.

Свободной рукой она подняла воротник шубки, мороз щипал за уши.

Они ехали по Софийке. Савинков вылез. Остаток ночи до синего рассвета провел в ресторане «Альпийская роза».

4-го февраля Савинков и Дора ждали Моисеенко, стоя за портьерой окна.

— Приехал, Дора, одевайтесь, — проговорил Савинков. Он был такой же бледный, усталый, впалые щеки, как у тяжело больного обтянули скулы, глаза обвелись темными кругами, став еще уже. Когда брал портфель, на этот раз с одной бомбой, Дора заметила как дрожат его руки. Она торопливо надевала шубу, шляпу.

— Не проезжал еще? — тревожно спросил Савинков, садясь в сани.

— До двенадцати нет, — ответил Моисеенко.

— Стало-быть успеем. Теперь поедет в три.

— Куда везти?

— Да в Юшков же переулок! — раздраженно проговорил Савинков. — Поскорей, нахлестывайте!

«Мальчик», получив два удара, прыгнул галопом. С галопа перешел на возможно быструю, скверную рысь. Такой вихлястой рысью, тяжело дыша, вбежал в Юшков переулок. Тут у сумрачного дома Моисеенко остановился. Путаюсь в полости саней вылезла Дора.

— Вы ждете у Сиу, на Кузнецком, так, Дора?

— Да, да, — проговорила она, не оглядываясь, идя. На следующем углу в сани сел Каляев, одетый прасо-

лом, в поддевке, картузе, смазных сапогах. Они поехали к Красной площади.

— Янек, — говорил Савинков, — мы должны сейчас же решить, либо сегодня, либо надо отложить дело. Я боюсь, одного метальщика недостаточно. Может быть надо стать вдвоем? Но у нас сегодня один снаряд.

— Что ты говоришь! — возбужденно сказал Каляев. — Никакого второго метальщика не надо! Позавчера я был тоже один. Ну? И если б не дети, я кончил бы.

Савинков молчал, угнетенно, разбито.

— Ты настаиваешь именно сегодня и ты один?

— Да. Нельзя в третий раз подвергать Дору опасности. Я всё беру на себя.

— Как хочешь. Тогда надо вылезать, кажется, — сказал Савинков, оглядываясь, словно они ехали по совершенно незнакомому месту.

— Что это, Красная? — спросил он.

— Красная, барин, — ответил Моисеенко с козел.

— Янек, в последний раз, ну, а если неудача? Тогда погибло дело?

Лицо Каляева раздраженное.

— Неудачи быть не может. Если он только поедет, я убью его, понимаешь?

Моисеенко остановил «Мальчика».

— Приехали, барин, — проговорил он, отстегивая полость.

Каляев вылез со свертком. За ним вылез с пустым портфелем Савинков и кинул в ладонь извозчику светленькую мелочь.

— Я к Кремлю, — тихо сказал Моисеенко.

Савинков не ответил. Они шли с Каляевым по Красной площади. На башне Кремля старые часы проиграли «два».

— Два часа, — сказал Каляев.

— Ну? — проговорил Савинков.

Каляев улыбнулся.

— Прощай, Борис, — сказал он и обнял его. Они расцеловались в губы.

Не обращая ни на что внимания, Савинков смотрел, как легкой походкой, не оглядываясь, уходил Каляев к Никольским воротам. Когда он потерял его, пробормотал: «Куда же теперь идти?» Машинально пошел к Спасской

башне. Возле башни сгрудились извозчики, не могли разъехаться и, выбиваясь из сил, ругались матерью.

Через Спасскую башню Савинков прошел в Кремль. И вдруг вздрогнул: у дворца стояла карета великого князя. Рысаки мотали головами. «Убьет», — и радость залила его сердце. Он быстро пошел из Кремля на Кузнецкий, к Сиу, где ждала Дора.

24

Он почти бежал по Кузнецкому. Сам не знал почему торопился к Сиу. Предупредить ли Дору, что покушение удастся? Вернуться ли с ней, чтоб видеть? Он сталкивался с людьми. Сердце билось.

Еще не дойдя, услышал отдаленный глухой удар. И остановился у магазина Дациаро, будто рассматривая открытки. «Неужели Янек? Но почему так глухо?»

У Сиу сидели праздные москвичи, отводящие душу покупкой безделиц на Кузнецком мосту. Дамы пили кофе, ели пирожные. Савинков увидал Дору в глубине кафе. Перед ней стояла чашка.

— Пойдемте отсюда, — сказал он, странно скаля зубы, пытаясь сделать улыбку.

Дора поднялась. Взглянув в витрину окна, она увидела, что по улице бегут люди, кто-то машет руками, кто-то споткнулся, упал, тяжелый господин смешно перепрыгнул через него, убегая, за ним вихрем пробежали какие-то мальчишки.

— Что такое? — спросила Дора.

Публика из кафе бросилась к выходу. Савинков стоял бледный.

— Да пойдемте же.

— Простите, мадам, вы, мадам, не заплатили, — подбежал лакей.

— За что? — спросила Дора.

— За кофе и за два пирожных.

— Пирожных я не ела, — сказала Дора, рассеянно шагая в сумочке.

— Кого?! — Что?! — Убило?! — Кого?! — закричали в кафе. Кузнецкий мост залился бегущими, все бежали к Кремлю.

Савинков сжал руку Доры, тащил ее сквозь толпу. От Никольских ворот площадь залилась людьми. Все молча

лезли куда-то. Толпа, сквозь которую нельзя было пробиться, казалась Савинкову отвратительной.

— Вот, барин, извозчик!

В пяти шагах, у тротуара стоял «Мальчик». Дора была бела, губы сини, она что-то шептала.

— Поедьте на извозчике, — сказал Савинков. Дора не сопротивлялась, тихо шепча — «Янек, Янек».

«Мальчик» медленно продирался сквозь сгрудившуюся толпу. Когда ехали по Страстному бульвару, Моисеенко попридержав «Мальчика», повернулся:

— Слышали?

— Нет.

— Я стоял недалеко. Великий князь убит, — чмокнул он, дернул возжами, и стегнул кнутом «Мальчика». «Мальчик» дернул сани, Савинков и Дора качнулись. Но не от толчка Дора упала на плечо Савинкова. Дора рыдала глухими рыданиями.

— Господи, Господи, — слышал, склонившийся к ней Савинков, — это мы, мы его убили...

— Кого? — тихо спросил Савинков.

— Его, великого князя, Сергея, — вздрагивая худым телом, рыдала Дора.

Савинков улыбнулся и крепче ее обнял.

25

В это время четверо жандармов, скрутив ноги и руки Каляеву, везли его в арестный дом Якиманской части. Он старался закричать — «Да здравствует свобода!» Лицо было безобразно сине. Окровавленный, он полулежал в санях. В сознании смутно несло происшедшее, как виденная и давно забытая картина. Каляев ощущал запах дыма, пахнувший в лицо. Мимо плыла еще, в четырех шагах, черная карета, с желтыми спицами. На мостовой лежали еще комья великокняжеской одежды и куски обнаженного тела. Потом напирала толпа. А великая княгиня металась, крича: — «Как вам не стыдно! Что вы здесь смотрите!?» — Толпа хотела посмотреть куски мяса ее мужа. И напирала.

Возле арестного дома Каляев потерял сознание. Жандармы вволокли его за руки и за ноги.

26

Вечером Каляев пришел в себя. На допросе ничего не говорил, слабо улыбаясь. Тогда его повезли в Бутырскую тюрьму, в Пугачевскую башню. С Николаевского вокзала

в это время уходил скорый поезд. В купе 1-го класса сидел худой господин с газетой. Светски полупоклонившись напротив сидящей старой даме Савинков спросил:

— Я не помешаю вам, если буду курить?

— Пожалуйста.

Господин с удовольствием закурил.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

После убийства великого князя Сергея московской группой Б. О., петербургская — спешно готовила убийство великого князя Владимира виновника расстрела рабочих 9-го января.

Максимилиан Швейцер жил недалеко от Зимнего дворца: в отеле «Бристоль», на углу Морской и Вознесенского. В его распоряжении было достаточно динамита. И воля шести товарищей была как динамит.

Но чья-то рука мешала. Филеры спугивали наблюдение, боевик «Саша Белостоцкий» бежал, боевиков Маркова и Басова схватили. Но Швейцер всё же работал по ночам в отеле «Бристоль» готовя бомбы.

Но вдруг прохожие, застигнутые на углу Морской и Вознесенского, с криком метнулись в стороны от отеля «Бристоль». Извозчицы лошади подхватили. Из четырех этажей «Бристоля» летели стекла, камень, доски. На улице из развалившихся стен падала ломанная мебель. Кучей вниз ухали кирпичи, смешанные с розовой пылью. Напротив, у старого Исаакия, взрывом свалило воронихинскую решетку.

Возле капитальной стены нашли тело. Мужчина лежал на спине, страшно. Голова была откинута, лицо обращено к улице. Грудная клетка разворочена, в левой половине не было ничего. Позвоночник был бел, открыт. Руки без кистей и части предплечья валялись рядом. В обломках, мусоре лежали куски мяса, мышц и сердце.

2

На месте взрыва толклась праздная толпа. В толпу с Почтамтской вбежала бледная Вера. Труп был один. И Вера сразу узнала, что это не Савинков.

Вернувшись к себе на Средний, Вера была разбита,

измучена. Взглянула на часы: — было 12. Вера поняла, что ждет детей. И когда в передней зашаркали ноги няньки, а потом раздались, близясь к комнате, смешные ударчики по коридору, Вера встала, с улыбкой осветившей испитое лицо, подхватила Витю, покрывая поцелуями его розовые от гулянья щеки, не слушая, что что-то смешное рассказывает Витя.

3

В купэ поезда в Женеву Савинков читал об убийстве великого князя Сергея. Англичане в «Daily Telegraph» писали: — «Снова красная звезда тирано-убийства мрачно засияла на темном русском небе. Сергей был унесен в один момент одной из тех фатальных бомб, которые русские конспираторы умеют так хорошо готовить и так хорошо бросать. Вы не можете безнаказанно доводить народ до бешенства или отрицать за ним элементарные права свободных граждан, не вызывая тем тираноубийства. Сергей был тиран в старом смысле этого слова, каких история и трагедии рисуют в самых мрачных красках. Великое изречение блаженного Августина правдиво и поднесь: — когда справедливость отброшена в сторону, верховная власть является разбоем».

Немцы писали без изречений, деловито: — «Die Zeit» писала: — «Убийство Сергея не вызвало в мире ни удивления, ни ужаса. Его предвидели, ожидали и когда оно исполнилось — произвело впечатление необходимости. Если б в России не было заговоров, надо было бы спросить себя: — каким образом отсутствует следствие, когда налицо причина? Русское самодержавие проповедует посредством залпов незыблемость своих основ и получает в ответ динамитные бомбы. Кто играет в истории такую кровавую роль, как Сергей, всегда должен быть готов к кровавому концу. Царизм не должен удивляться, что его катастрофы не вызывают ни в ком сочувствия».

Француз Франсис Прессанс в «L'Humanité» писал: — «Следует признаться, что таинственные судьи произносят свои приговоры над тиранией без ошибок. Кто осмелился бы защищать Плеве? Кто осмелился бы горевать о судьбе Сергея? Великие князья изъяли себя от действия гуманности. Они ведут себя как хищные звери в бараньем стаде. Пресыщение привело их к удовлетворению чувственности

всякой ценой. Их частная жизнь полна преступлений, кутежей. И среди всех этих преступников худшим был Сергей.

Также писали швейцарцы в «Peuple de Genève»: «Невежественную, безоружную толпу, желавшую на коленях просить о своих нуждах, царь, уступая настойчивым советам своих родичей и приближенных, наградил свинцовым дождем. Этим поступком царь поставил себя вне законов. Он чудовище подобное тем, которые давали ему советы. На царские пули народ отвечает динамитом...»

Савинков выбросил газеты в окно летящего поезда. Им владело странное, но приятное чувство: — «О смерти Сергея Романова пишет весь мир, а убил его он, Борис Савинков». Савинков знал, как его встретят в Женеве.

4

Квартира Гоца была переполнена. В комнате трудно было говорить, кричали все. Старые, молодые, Чернов, Рутенберг, Рубанович, Ракитников, Авксентьев, Тютчев, Натансон, Брешковская, Бах, Шишко, Зильберберг. Много толпилось народу. Самым молчаливым был Азеф. Расплывшейся тушей сидел в углу, только изредка улыбался, когда окружали товарищи и жали руки. Он был главой праздника. Бабушка Брешковская, когда вошел Азеф, поклонилась ему по-русски — до земли. Чернов обнял его, и расцеловал.

— Эх, Ваня, мир без старосты, что сноп без перевясла, так и мы без тебя! Нет уж, товарищи, — покрывал всех его тенор, — не тот разговор будет у нас с социал-демократами! Не тот-с, кормильцы! Много дыму да мало пылу! А тут, как говорится, бай, бай, да и слово молви! За нами пойдут крестьяне, за нами рабочие! Горой пойдут! И власть над революцией будет наша, эсеровская власть! И Россия будет наша, эсеровская Россия! А эс-деков под хвост, товарищи! Да здравствует Б. О.! Да здравствует ЦК партии!

— Нет ли у вас воды? — глухим, сипящим голосом спросил Азеф жену Гоца. Азеф пил короткими, животными глотками. Был взволнован. Убийство Сергея было неожиданным. Азеф думал, Савинков измотавшись в наблюдении, бросит. Поэтому попросил и второй стакан. От нервнои мучила жажда.

— Ты чего распился, а? — обнимал его Чернов. Все радостно смотрели на Азефа. — Не воду, дорогой, надо

пить! Шампанею! Шампанею будем тебя отпаивать, Ваня! Так-то!

— Ладно, брось, — прогнусавил Азеф, улыбаясь толстыми, вывороченными губами.

5

На Монбланской Набережной, у Монбланского моста, кафе «Националь» попрежнему круглый год сияло огнями.

Азеф и Савинков, не торопясь, шли по мосту. Азеф держал Савинкова под руку. Савинков сейчас любил Азефа. Савинков чувствовал, с ним жизненно взяли они одну линию и понимали друг друга. Внутренне знал, что Азеф сильнее. Но в этом не любил признаваться даже себе.

По ярко освещенному залу «Националь» первым шел Савинков. Меж столиков, ни на кого не смотря, за ним шел Азеф. Савинков был щегольской, изящный.

— Пойдем в угол, — сказал Азеф, когда Савинков остановился у столика, у окна. Савинков пошел за Азефом. Тот, обогнув стол, грузно вдавил себя в мягкое кресло.

— Жрать хочется до чорта, — бормотал Азеф, — закусим как следует.

Согнувшись близко головами над напечатанной золотом картой с отельным гербом, они долго выбирали меню.

— Ты как насчет почек в мадере?

— Ничего, давай.

— А «Барсак»?

Азеф поморщился: — Я французское не люблю. Лучше рейнского. Любишь «Либфрауенмилх» ?

Повернув голову в полоборота к лакею, не глядя на него, Савинков заказывал. Лакей необычайно быстро всё записал в блокнотик и, поклонившись, побежал.

— Ну, теперь расскажи, — начал Азеф, — только подробно, всё.

Савинков провел обими руками по лицу, сверху вниз, словно умылся.

— Да что ж рассказывать, — протянул он.

Толстое, словно налитое желтым воском лицо Азефа ласково улыбалось вывороченными, липкими губами.

— Ты уж, Боря, не ленись, — мягко прогнусавил он.

Колыхая серебряным подносом с затуманившимися, охолоделыми рюмками и с дымящимися почками в мадере, подбежал лакей.

— Я сам, — остановил раскладывавшего по тарелкам лакея Савинков. Лакей отбежал. Савинков стал раскладывать.

— Как «поэт» себя держал, был спокоен?

— Совершенно. Ты знаешь, — Савинков задержал графин с водкой в руке, глядя на Азефа. — Таких как «поэт» у нас нет и не было в Б. О. Если б таких было больше, можно б было перебить в две недели весь царствующий дом.

Азеф ухмыльнулся: — Преувеличиваешь, а Егор?

— Егор тоже.

Азеф уже ел почки, часто вытирая салфеткой испачканные в соусе усы.

— А Дора волновалась поди, сама хотела, а ? где она?

— Сейчас в Питере. Конечно волновалась, — и, чуть улыбаясь, Савинков рассказал про истерику на извозчике, после убийства. Азеф захохотал. Дальние гости оглянулись. Азеф на них не смотрел.

— Женщины всегда женщины. Кишка тонка, — сказал он.

Лакей подошел, стал убирать испачканную посуду, судки, рюмки.

Савинков рассказывал о делах. О Петербурге, о покушениях, о том, что он узнал от Швейцера, о Леонтьевой, о Барыкове, Ивановской, о боевой группе в Москве, Азеф за едой, словно и не слушал. Задавал вопросы изредка. Ему нужен был эквивалент. Он его искал. И за ужином Азеф выяснял, что отдать полиции взамен отданного партии Сергея. В математически-точном мозгу за прозрачным «Либфрауенмилх», которое оба пили небольшими, холодноватыми глотками, у Азефа создавалась отчетливая картина, кого безопасно отдать Ратаеву. Когда всё стало ясно, он развалился в кресле, приятно вытянув ноги под столом, и, расправляя складки на жилете, гнусаво сказал:

— Да, брат, дела вообще в шляпе.

— Как будто.

— И даже не как будто.

Теперь Азеф переходил уже к другому.

— Слышал, ты кооптирован в ЦК? — улыбнулся он толстогубой улыбкой. — Это я настоял. Чернов был против.

— Ах, так? Рыболов был против? — ухмыльнулся Савинков, вспоминая рыжую неприятную ему фигуру теоретика.

— Ерунда, — махнул Азеф. — У Виктора есть странности. Я не об этом. Ты приходи обязательно на первое заседание. Интересный вопрос. Помнишь, я говорил тебе в Петербурге, — прищурил Азеф темные маслины глаз, лицо стало лукавым, — если нам удастся кончить с Плеве, то будут деньги, а если прибавить Сергея, то и вовсе.

— Ну?

— Ну вот. Поступило предложение от члена финской партии активного сопротивления Кони Циллиакуса, через него на террор хотят дать большие деньги. Я проверял: — верно, дают.

— И много?

— Хватит.

— Кто?

— Не то американцы, не то японцы, вообще недурно.

— Между американцами и японцами есть разница.

— То-есть? — насутился Азеф.

— Японцы в данный момент на войне бьют русский народ. Если они дают деньги, то наверное не из-за симпатии к русской революции, а чтоб облегчить избиение русского народа на фронте ударами с тылу.

Азеф потемнел, оттопырив влажные губы.

— И что же? При чем тут «симпатии»? Нам нужны деньги? Мы их берем. А кто дает, не всё ли равно?

— Японцы, неудобно. Пойдет крик. Мы можем быть скомпрометированы, от нас отвернется всё общество.

— Общество? — Азеф повернулся и плюнул в плевательницу, пустив длинную слюну. — Общество? Нужны деньги, мы их возьмем. Если сделаем дело, общество и прочая сволочь, само побежит за нами. А если ничего не сделаем, нас же затопчут. Без денег, что ты сделаешь? Ты убил бы Сергея без денег? Ведь я тебе деньги давал. Почему ты знаешь откуда они? Да ты плечами не пожимай! — проговорил бешено Азеф, — это важный вопрос. Я настоял на твоей кооптации в ЦК. Нам надо это дело провести, могут быть возражения. Деньги дают Б. О., а не ЦК, и их надо взять во что бы то ни стало, — рокотал Азеф, низко наклонясь над столом. — Не понимаешь? Ведь деньги на террор, стало быть, я и ты держим ЦК и всю партию в руках.

Савинков улыбнулся вывороченным губам Азефа. Не оттого, что Азеф взволнован, даже хрипит. А оттого, что действительно, с чего он вздумал разводить эти сахарные

теории? Ведь на самом деле, не всё ли равно от кого? Неужто он вдруг «пожалел, видите ли» каких-то там вшивых солдат, которых как баранов запарывает царь, гоняя то под японские шимозы, то на усмирение крестьянских бунтов.

Азеф понял его длительную улыбку.

— Ну? — прогнусавил он. — Братъ иль не братъ? — и в улыбке растянул толстые губы.

— Братъ, Иван, всё братъ.

Азеф засмеялся.

— Эх, ваше сиятельство, людей убиваете, а всё в белых перчатках ходить хотите, верно Гоц тебя скрипкой Страдивариуса зовет. Всё рефлексики, вопросыки, декаденщина всякая, как это — «о, закрой свои бледные ноги!» — и Азеф залился долгим гнусавым хохотом.

6

Передав Ратаеву телеграфно о боевиках в Москве, Азеф, после смерти Швейцера, решил петербургских пока оставить. Утром, идя к Чернову, пощупать как мыслит теоретик относительно не то американских, не то японских денег, Азеф сдал тяжеловесное заказное Ратаеву об общепартийных мелочах: —

«Наконец то я выбрался вам написать. Дело в том, что не хотелось писать, пока не нащупаешь чего-нибудь существенного. От Чернова я только что узнал, что теперь государь на очереди. Его слова, что Россия не прекратит войны до тех пор, пока жив еще один солдат и в казне имеется один рубль, сделают государя очень непопулярным в России и Европе и покушение, вероятно, будет встречено также сочувственно, как и Плеве. Письмо, мне кажется, из Бадена писано Селюк. Содержание его вами понято правильно. Что касается ряда имен, о которых мне приходилось с вами говорить, то удалось выяснить следующее: Еремей — это Ст. Ник. Слетов. Наталья — Мария Селюк, в Киеве известна под именем Натальи Игнатьевны. Веньямин живет за границей с прошлого года, пишет в «Р. Р.» изредка на рев. темы, его перу принадлежит статья в № 44 «Р. Р.» — «Без адреса» за подписью «быв. социал-демократ», постоянно, говорят, живет во Фрейбурге, без сомнения террорист, ездивший в Россию, предполагаю, по делам террора. Веньямина здесь теперь уже нет. Я его не застал. Считаю его очень талантливым. Павел Иванович молодой человек, черные усы,

28 лет, недавно приехал из Питера. Видал его несколько раз. Трудно ориентироваться в его роли, но во всяком случае шишка. С Пав. Ив. (данные вами приметы Савинкова не совсем подходят к нему — для установления пришлите карточку) я стараюсь сблизиться. Тоже с кн. Хилковым, хотя последний, обладая аристократическим воспитанием, нелегко поддается сближению. Вежлив и только. Удалось мне открыть здесь Кудрявцева. Он в Женеве живет под фамилией Мешковского. Высокого роста, борода светлая, в очках, одет с претензиями на Чайльд-Гарольда, в плаще, с черным, широким бантом. Ева послана в Одессу для работы в типографии, неважная особа и мало опасная, нелегальная хотя. Маша — не знаю кто, только не Тумаркина, которая живет с Авксентьевым. О Леопольде ничего здесь не слышно и никто такого имени не упоминал. Деньги получаемые Минором от Гав. — это от Гавронского, который живет в Москве и женат на сестре Минора. Платит 100 рублей в месяц. Саша, — который пишет Вере Гоц, — это Саша-Ангел, транспортист. Деньги мы улавливались, что пришлете, как только получите мой адрес, который я и прислал, — другой адрес назначался для открыток. Во всяком случае деньги переводом через банк на Вольде, а чек заказным пришлите немедленно, пост ресторант, так как сижу без денег. Пришлите мне расходных 500 рублей и жалованья за этот месяц 500.

Жму руку ваш *Иван*»

7

Успехи Б. О. слали в террор ежедневно десятки отважных членов партии, готовых умереть за революцию. Никогда не были так заняты Азеф и Савинков. Весь день не расставались. Везде их видели вместе. Непосвященные удивлялись: — что общего меж этим молодым человеком и тучным, черным, животного громадным уродом? Посвященные знали, что связывает Павла Ивановича с Иваном Николаевичем. Кровь. Они сливались у партии в крепкую, одну руку силу.

Но нелегко теперь войти в Б. О. Входящих допрашивал Савинков. Глаза монгольского разреза не были рентгенами. Савинков не умел узнавать людей. Был сух, надменно спрашивал:

— Почему хотите работать именно в Б. О.? С решением идти в террор не рекомендую торопиться. Сюда дол-

жны идти те, кому нет психологической возможности участвовать в мирной работе. Но если вы настаиваете, поговорите с Иваном Николаевичем.

Азеф не подавал руки. Был скуп на слова. Еле переплывал через вывороченные губы. Но глаза! Глаза были рентгенами. Искоса взглядывая, Азеф насквозь угадывал человека.

— Здраасти, хотите работы? Какую же хотите? Ну, а как же вы? В нашем деле и к веревочке ведь надо готовиться? — гнусаво рокотал Азеф, чиркая пухлой рукой по короткому горлу.

8

В эти дни в Женеве Савинков много читал, много думал. Жизнь казалась ему «ползущим глетчером, правимым пустотой». «Ни на чем, вот на чем я построил свое дело», — любил он повторять Макса Штирнера.

Перед заседанием ЦК Савинков писал стихотворение. Оно билось где-то внутри. Это доставляло удовольствие. Но надо идти на заседание и не опаздывать, просил Азеф, вопрос американо-японских денег Циллиакуса важен. Савинков чуть-чуть задержался. Стихотворение он написал без помарок.

«Он очень низко
Мне поклонился.
Я обернулся,
Увидел близко
Его седины,
Его морщины,
Беззубый рот.
Я удивился:
Ведь он убит!
В гробу дубовом
Старик суровый
Давно лежит.
Он улыбнулся,
Я побежал.
Домой вернулся
И отшатнулся,
Меня он ждал!
Опять седины,
Опять морщины,
Беззубый рот,

Опять улыбка,
Опять поклон,
Или ошибка?
Или не он?
Он был так близко.
Я торопливо
Посторонился,
Весьма учтиво
Я отдал низкий
Ему поклон.
Да это он.
Ведь жизнь есть сон.
Нестрашный сон.

Положив листок с стихотворением под пресспапье, чтоб не снесло ветром, Савинков пошел на заседание ЦК.

9

Заседание ЦК было бурно. Не потому, что из России шли вести о революции и через сановное лицо получились данные о перепуге и растерянности правительства. Принятие денег от Кони Циллиакуса бури тоже не возбудило. Заседание стало бурным, ибо заседавшие вдруг почувствовали: — партия в руках провокатора.

Началось это так. Усталый, председательствующий Гоц, закутанный в кресле в теплый плед, торопясь от волнения, сказал:

— Товарищи, только что получены сведения. В Москве 16-го марта арестованы члены Б. О. — Борис Моисеенко, Дулебов и Подвицкий. 17-го марта в Петербурге арестованы — товарищи Прасковья Семеновна Ивановская, Барыков, Загородный, Надеждина, Леонтьева, Барыкова, Шнеров, Новомейский, Шергов, Эфрусси и Кац. Кроме того на станции Петербургско-Варшавской железной дороги схвачен с динамитом Боришанский. Динамит также найден в Петербурге у Татьяны Леонтьевой. Товарищи: — сказал Гоц, руки его дрожали, — в несколько дней мы потеряли самых дорогих, самых беззаветных работников, боевая организация в России разбита! Товарищи, это ужасно, но есть вещи еще более ужасные, чем это, нанесенное нам поражение. Страшные факты есть, товарищи, требующие немедленного расследования. Я не боюсь сказать и не ошибусь: в центре нашей партии — провокатор!

В комнате, переполненной людьми, наступила страшная тишина. Все смотрели на Гоца. Прямо против него тучно сидел Азеф.

— Товарищи! — дрожал мягкий голос Гоца, изобилующий интонациями, — не только провал боевой в Петербурге и Москве заставляет нас отнестись со всей внимательностью к этому вопросу. Имеются факты, неопровержимые, подтверждающие наличие крупного провокатора среди нас. Сначала скажу, — присутствующий здесь, только что приехавший товарищ Николай Сергеевич Тютчев рассказывает факт, явно наводящий на грустные размышления.

Пожилой, серебряно-седоватый человек барственного облика, одетый скромно, но изящно, с бородкой клином, с умным энергичным лицом, проговорил из угла:

— Разрешите, Михаил Рафаилович?

— Пожалуйста, Николай Сергеевич. — Гоц печально откинулся на спинку медицинского кресла.

— Дня за два, накануне арестов в Питере, — заговорил размеренно, спокойно Тютчев, — ко мне позвонили в редакцию «Русского Богатства» по телефону. И голос, мной неузнанный, сказал: — «Предупредите — все комнаты заражены».

Тишина в комнате не прерывалась, Азеф неуклюже повернулся на стуле. Подпершись рукой, он устался на Тютчева. Низкий лоб наморщен, брови сдвинуты. Тютчев не глядел на него. Он обводил товарищей, останавливаясь больше всего на взволнованном, измученном лице Гоца.

— Я спросил: — «нельзя ли поговорить лично?» По видимому мой вопрос был неожиданен, с ответом произошло замедление, мне показалось даже, что как будто мой собеседник с кем-то переговаривался и затем задал, как бы нерешительно, такой вопрос: — «Да ведь поздно уж, да и где?» — Я ответил — «Здесь». Ответ был такой: — «Нет, это неудобно» и трубка была повешена.

Тютчев смолк. В комнате, казалось, были слышны бившиеся сердца. Тишина начала взрываться короткими разговорами.

— Тише, товарищи! — костяшками руки простучал Гоц.

— Вопрос к Николаю Сергеевичу — протянул руку Азеф.

— Пожалуйста, Иван.

Азеф тучно, неловко, всем телом повернулся к Тютчеву, потому что шея у него не поворачивалась.

— Николай Сергеевич, стало-быть вы не узнали говорившего по голосу?

— Нет. Но должен сказать, этот голос, всё же я где-то слышал, он мне напомнил очень характерный тембр, который я уже не слыхал лет 10.

— А простите, Николай Сергеевич, женский или мужской был голос? — все обернулись к Чернову.

— Ну, знаете, Виктор Михайлович, — улыбаясь, проговорил Тютчев, — это мне кажется не столь существенно. Ведь мы же не знаем кто звонил, и вероятно не узнаем. Что же гадать на кофейной гуще? Голос был мужской.

Чернов сделал неопределенный жест.

— Товарищи, мы чересчур детализируем этот случай, — говорил Гоц. — Сейчас не место и не время. Да и что же, из пальца ничего не высосешь. Голоса Николай Сергеевич не узнал. Я хотел только осведомить вас об этом факте. Но ведь в руках у нас есть и еще более веские данные, уже фактического характера.

Азеф смотрел темными, упорными, спокойными глазами в мечущееся лицо Гоца.

Савинков толкнул Азефа, наклонившись.

— Ты веришь?

— Возможно, — бормотнул Азеф.

— Мы получили по адресу «Революционной России» следующее письмо. Прочту его, а потом уже будем комментировать. — Повысив вибрирующий в волнении голос, Гоц читал: — «Уважаемые товарищи, департамент полиции имеет сведения о следующих социалистах-революционерах: — 1) Герман, имеет паспорт на имя Бориса Дмитриевича Нерадова, жил в Швейцарии, теперь в России (нелегально), переехал «вероятно» не по паспорту Нерадова, 2) Михаил Иванович Соколов, проживал в Швейцарии по паспорту германского подданного Людвиг Каина, должен отправиться в Россию, 3) за Соколовым поедут в Россию: А) Гриша, именующийся Черновым, Васнецовым, Бордзенко, Б) князь Дмитрий Александрович Хилков (двумя неделями позже) и В) месяца через два бывший студент Михаил Александрович Веденяпин (выедет нелегально из Швейцарии). С товарищеским приветом...»

Азеф бормотнул набок, Савинкову: — Подписи нет.

— Подпись есть? — громко спросил Савинков.

— Есть, я не называю, — взволнованно ответил Гоц, придерживая рукой на столе четвертушку бумаги. — Товарищи! совершенно ясно, эти сведения мог дать только провокатор. Я долго думал, положение очень серьезно. Мы должны стоять на единственно-революционной точке зрения: — не должно быть забронированных имен и авторитетов. В опасности вся партия. Будем исходить из крайнего положения: — допустим, что каждый из нас в подозрении. Пусть выскажутся товарищи, может быть кто-нибудь подозревает определенно кого-нибудь?

Наступила ужасная тишина. Сидевшие рядом не смотрели друг на друга.

— Я не хочу скрыть своих подозрений, товарищи, — в тишину проговорил тихо Гоц, — может быть я совершаю преступление, но пусть рассудит суд, я должен сказать, что у меня есть основания подозревать одного члена партии.

Наступила гробовая тишина.

— Я подозреваю... Татарова...

Тишина углубилась. Гоц понял: — подозрения разделены товарищами.

— Во-первых, по моим подсчетам Татаров на свое издательство издержал за шесть недель больше 5.000 рублей. Откуда у него эти деньги? Ни партийных, ни личных средств у него нет. О пожертвовании он должен бы был сообщить ЦК. Я спрашивал, откуда у него эти деньги? Он говорит, что их дал известный общественный деятель Чарнолусский. Не скрою, я начинаю сомневаться в этом. Предлагаю послать кого-нибудь в Петербург узнать у Чарнолусского, давал ли он деньги и сколько. Кроме того, Татаров на-днях приезжает в Женеву. Надо установить здесь за ним наблюдение. Повторяю, если Татаров сказал правду об источнике денег и наблюдение товарищей ничего не установит, я отказываюсь от подозрений, но, товарищи, я не могу не поделиться сомнениями...

— Правильно, Миша! — крикнул Чернов.

— Это очень похоже, — пророкотал Азеф Савинкову.

— Кто возьмет, товарищи, наблюдение в Женеве за Татаровым?

— Просим Савинкова! — крикнул Азеф.

— Савинкова! — поддержали голоса.

— Надо трех.

— Сухомлин! Александр Гуревич!

— Итак, товарищи Савинков, Сухомлин и Гуревич должны взять на себя эту тяжелую, но необходимую в интересах партии обязанность. В Петербург же к Чарнолуускому предлагаю поехать товарищу Аргунову.

— Просим! Просим!

Аргунов, недавно бежавший из ссылки, встал, хотел, что-то сказать. Но ясно было, не протестует. И Гоц, повышая голос, крикнул:

— Против нет? Товарища Аргунова стало быть направляем в Питер.

Повестка дня исчерпалась.

10

Ночью, Азеф шел один по Бульвару Философов темной, согнувшейся тушей. Дымя папирсой, перебирал всё, что приносила память. Он временил с петербургскими боевиками. Сомнений не было: партию предают кроме него. Скрипя подошвами по гравию, Азеф безошибочным нюхом понял: — Татаров.

Азеф не мог в эту ночь спать. Свернул к Английскому саду. Сев на скамью, куря, хрипло бормотал. В несущемся с Лемана, холодящем ветре он решил смерть Татарова. Но страх, что Татаров успеет донести, и его разоблачить, не уходил. Азеф слышал, как от холода у него лязгали зубы. Иногда толстые губы в темноте расплывались во что-то схожее с улыбкой. Он сам с собой бормотал.

Ветер становился холодней. В темноте озера возвращались увеселительные пароходы туристов. С пароходов лилась музыка, блестели огни. Азефу стало холодно. Он пошел, качаясь тяжелой тушей, по дорожке Английского сада к отелю. Но и в отеле, Азеф не ложился. Кроме Татарова заносился еще удар неизвестного. И этот удар тоже надо было отвести. Азеф сел за письмо:

Сначала он привел цитированный Гоцем документ с подписью «с тов. приветом Вл. Косовский», потом посопев, стал нанизывать расплывающиеся строки:

«Этот документ может вам, Леонид Александрович, показать, насколько у вас в Д. П. всё неблагополучно и насколько нужно быть осторожным, давая вам сведения. Здесь в Женеве в группе с. р. это письмо привело всех к мысли, что имеется провокатор, который очень близко сто-

ит ко всем делам. Неужели нельзя обставить дело так, чтобы циркуляры Д. П. не попадали в руки рев. организаций? Последствием этого будет, что кн. Хилков, который пока еще в Англии в Лондоне гостит у своей семьи, не поедет, так как ему немедленно сообщили об этом документе. Тоже будет с Веденяпиным. Право удивляюсь, что департамент не может устроить конспиративно свои дела. Деньги и письмо я не получил. Деньги вышлите немедленно. Ради Бога, будьте осторожны. Один неосторожный шаг и провал мой.

Жму руку, ваш Иван».

Над Женевским озером рассвет был полновластен. По озеру уходили лодки рыбаков в далекую красноватую синеву. Не раздеваясь, в черном костюме, Азеф спал на диване, стоная, скрипя зубами, вскрикивая, словно что-то хотел рассказать и не мог.

11

На утро Савинкову сказали, что Татаров приехал. Татаров — большого роста русак, с квадратной крепковьющейся бородой, коротковатыми ногами, темными волосами, распадающимися на стороны. Татаров костист, широк, шагал шумно, говорил громко, напоминая расстриженного дьякона.

Савинков знал его с детства, вместе играли в лапту и в рюхи. Узнав, что Савинков в Женеве, Татаров сразу пришел к нему. Сейчас друг друга бы они не узнали. Савинков — европеец, чересчур элегантен для революционера. Татаров хоть и любил завязать модный галстук, надеть новомоднейший костюм, но был поповен, мужиковат. Стуча башмаками, громко крича, Татаров чувствовал себя прекрасно.

— Давненько, давненько, Борис Викторович, не видались! Ну расскажите, как живем? Вы откуда сейчас? Из Москвы?

— Из Киева.

— Как из Киева? Мне сказали из Москвы?

— Может быть из Москвы.

— Ха-ха-ха! Всё-то у вас тайны да тайны! Законспирировались до ушей! Чай не с провокатором говорите, а с товарищем постарше вас стажем-то!

— Не виноват, начальство свирепое, Николай Юрьевич.

— Это кто-же начальство-то? Тоже поди — печать

на устах моих. Главное — всё сам знаю. Заграницей — Мишка Гоц! В России сами своей персоной боевикам начальство! Мне очки тоже втираете, ну да ладно. — Татаров громко ходил, мят в руках широкополую светлую шляпу, какие часто носят плохие художники.

Татаров был неумен и нечуток. Растабаривая, даже не глядел на Савинкова. — «Вот этого большого человека убью, за то что гадина, за то что глуп, за то что бездарно накрутил пестрый галстук, убью, как быка. Но какой громадный? Зашумит, когда упадет», — думал Савинков.

— Страшно рад вас видеть, — говорил Татаров. Тютчев здесь, с ним ведь вместе в ссылке в Сибири жили! Вообще в Женеве куда ни сунься — наши. Только Баску вот хотел повидать. Не знаете, где она?

— А кто эта «Баска»?

— Да Якимова!

— Ааа слышал, не знаю. А скажите, Николай Юрьевич, у вас кажется теперь издательство будет?

— Как же, как же, будет, будет, а что? Есть у вас что-нибудь для издания, вы ведь пишете, кажется?

— Есть кой-что.

— Давайте, с удовольствием, с удовольствием.

«Убью», — думал Савинков.

— Если позволите, я передам вам на днях.

— Мемуары?

— Не совсем. Почти.

— Очень интересно, очень. Вы вот что, Борис Викторович, ко мне в воскресенье товарищи на обед соберутся, а то ведь скоро дальше еду, приходите и вы, и рукопись с собой захватите, ладно?

— Вот, — сказал Савинков, ударяя ладонью по ладони Татарова и пожимая ее крепче обыкновенного.

12

Обед Татаров давал на 15 персон в кабинете ресторана «Англетер». Азеф прислал извинение. За столом присутствовало 14 человек головки партии. Седовласый Тютчев сидел с Брешковской. Трепыхая рыжей шевелюрой, в новом воротничке, подпиравшем толстую шею, смеялся Чернов. Был Савинков, старый Минор, Ракитников, Бах, Натансон, Авксентьев, Потапов. Только трое — Тютчев, Савинков, Чернов — знали уже, что обед дает провокатор. Стол был сервирован пестро, красиво, с серебром, цветами,

винами, деликатессами. Татаров вспоминал, как 8 лет назад основал группу «Рабочее Знамя». Товарищи напомнили ему за обедом, как объявил он голодовку в Петропавловской крепости, проголодав 22 дня. Татаров лишь отмахнулся, проговорив:

— Что там, 22, другие больше голодали, — и подняв бокал, встал.

— Товарищи, выпьем за революцию, которая близка, поступь которой мы слышим! Выпьем за партию, водительницу революции, и в первую очередь за товарищей боевиков — ура!

Узкие бокалы зазвенели разным звоном, чокались, а бокалы были наполнены по разному. Чокнувшись с последним — Черновым, Татаров залпом выпил свой бокал, чувствуя приятную хмельную теплоту. Кто-то быстро поднял ответный тост, и махая бокалом прокричал:

— За счастливый отъезд Николая Юрьевича! За удачу его работы в России — ура!

После обеда, когда все шумели, были веселы, оживлены, Чернов подошел к Татарову, улыбаясь, крутя на его пиджаке большую пуговицу, сказал:

— Когда ж едете, Николай Юрьевич?

Взяв Чернова за бицепсы, и притягивая его к себе, Татаров проговорил:

— Сегодня вечером, 11.30, Виктор Михайлович.

— Невозможно.

— Почему?

— У ЦК к вам дело.

— Я должен ехать. Какое дело?

Чернов говорил, улыбаясь: — Я уполномочен ЦК просить вас остаться на день.

— Ну, хорошо, — пожал плечами Татаров, — если дело, останусь. До завтра?

— До завтра.

Чернов сказал просто, задушевно.

Проходя мимо Савинкова, бросил:

— Остается. Следите.

13

Расправляя смявшуюся от ветра бороду, Татаров вошел веселый.

— Здравствуйте, — говорил свежо, полнокровно, переходя от Тютчева к Савинкову, от Савинкова к Баху. В

Тютчеве показался ему из-под бровей холодок. «Он всегда такой», — успокоился Татаров и встал рядом с Савинковым у стола. На столе в золотенькой раме была карточка полной брюнетки. Оба посмотрели на нее, хоть брюнетки не знали.

— В чем же дело?

— Да вот ждем Чернова, он председатель.

В этот момент отворилась дверь, вошел улыбающийся Виктор Михайлович.

— Совет да любовь, — проговорил он с порога, — погода-то, кормильцы, пушкинская! Прозрачность, ясность, шел по рю де Каруж — не воздух, зефир. А, Николай Юрьевич, здравствуйте, грехом думал, не дождался, поди, уехал. Ну, прекрасно, прекрасно, так что же, товарищи, никак меня только и ждали? Не посетуйте, — подкатил удобное кресло, с большими ручками, Виктор Михайлович.

Савинков, Тютчев, Бах, Татаров садились, Рассыпал по креслу дряхлые кости Минор. Но по тому, как садились, Татаров уже почувствовал недоброе. «Зачем не уехал?» — подумал он. Но, не подавая виду, проговорил поглаживая бороду:

— Какой вопрос, Виктор Михайлович? — и голосом остался вполне доволен, прозвучал без волнения.

— Одну секунду, Николай Юрьевич, — проговорил Чернов, быстро пиша кругленькими буквами — Вопрос? — откладывая перо, поднял Чернов один глаз на Татарова, а другой пустил куда-то в сторону, — видите ли, очень серьезный, то-есть не так чтоб уж очень, но ЦК сейчас занят ревизией партийных дел, и вот от имени ЦК я просил вас остаться чтоб при вашей помощи выяснить финансовую и цензурную сторону предпринятого вами издательства. Вы, конечно, поймете желание ЦК взять издательство под свое руководство?

Татаров посмотрел на свою руку, лежавшую на столе. Было ясно: — подозревают. «Надо, главное, держаться с абсолютным спокойствием», — сказал он себе внутренне, когда Чернов говорил:

— Но прежде, чем перейти, Николай Юрьевич, к этому вопросу, мне бы, то-есть, не мне, а всей комиссии, хотелось бы выяснить некоторые детали...

Татаров силился понять: о чем? Плотно свел брови над цыганскими глазами. Расправил рукой бороду, не догадался.

— Прошу вас ответить по первому, так сказать, пункту, — глаза Чернова разбежались еще больше, — кто дал вам деньги на издательство? Только уж, Николай Юрьевич, — задушевно сказал Чернов, — знаете народную мудрость, кто правды не скажет, тот много свяжет, режьте нам, кормилец, всё правду-матку, прошу вас.

— Конечно, Виктор Михайлович, — засмеялся Татаров, — вы наверное просто не осведомлены, я говорил Гоцу: — деньги в размере 15 тысяч рублей дал мне Чарнолуцкий, а дальнейшую помощь обещали Чарнолуцкий и Цитрон, это одесский издатель, — добавил Татаров.

Это было только мгновение. Мутноватый глаз Чернова замер где-то под потолком. Тряхнув рыжей шевелюрой и пригладив ее, Чернов протянул:

— Так, так, видите, я вот этого, например, не знал, а скажите, — вдруг кинулся он на Татарова и в голос прозвучала резкость, — остановились вы сейчас в Отель де Вояжер под фамилией Плевинского?

Татарову надо было расхохотаться, ударить кулаком по столу, закричать — что за безобразие! Но Татаров увидел, глаза товарищей режут. «Провал», — пронеслось. И он почувствовал, как дважды перевернулось у него сердце и, показалось, что упало на подошву ботинка.

— Под фамилией Плевинского.

— А номер комнаты?

— Кажется 28.

Совсем близко проплыло лицо Чернова. Улыбалось, перекашивалось. Отчеканивая слога, раздались слова:

— Это неправда. Мы справлялись: ни в номере 28, ни вообще в Отель де Вояжер Плевинского нет.

Слышно было чье-то дыхание. Заскрипел, Минор переложил ногу на ногу.

— Я не помню названия. Может быть, это не отель де Вояжер. — Татаров понимал, что говорит глупо, что топит себя, но он уж катился к какой-то страшной пропасти. Казалось, сейчас убьют, как убивали Судейкина. Савинков чертил на бумажке женский, кудрявый профиль.

— Вспомните, — сказал Чернов. — Борис Викторович, запишите в протокол: не помнит ни названия гостиницы, ни улицы, ни номера комнаты.

О бумагу скрипело перо Савинкова.

— Мы же не дети, — проговорил Татаров, — я сол-

гал о гостинице, потому что живу с женщиной и этим оберегаю ее.

— Ах так?

— Если хотите, я назову имя женщины.

— Нет, что вы, Николай Юрьевич, не надо, кормилец. Вы бы сразу так и сказали, тогда мы просто это оставим, простите, вот вы какой чудак! Извините. Перейдем к делу. Скажите, Николай Юрьевич, чем обеспечено ваше издательство в отношении цензуры?

Татаров хотел оборвать, закричать. Но понял, что не выйдет.

— Мне обещал покровительство один из людей имеющих власть, — и услышал, как ему изменяет пересекающийся голос.

— Кто именно? — сухо бил теперь голос Чернова, как гвбзди вбивал в совершенно мягкое и они уходили до шляпки.

— Один князь.

— Какой князь?

— Зачем? Я сказал — князь. Этого достаточно.

— По постановлению ЦК предлагаю вам сказать фамилию.

— Хорошо, это — граф, — тихо сказал Татаров.

— Граф?

— Это же неважно, граф или князь, вообще зачем фамилия?

— Центральный комитет приказывает вам.

Татаров сморщился, проведя рукой по лбу.

— Граф Кутайсов, — тихо сказал он.

— Кутайсов? — поднялся Чернов. — Вы с ним сносились? А известно вам, что партия готовила покушение на графа Кутайсова?

Голова Татарова опустилась, руки судорожно сжимали край стола.

— Вы солгали, — услышал он приближающийся голос Чернова, — скрывая свой адрес, солгали об источнике денег. Чернолуцкий вам не давал. Мы это проверили. Цитрона вы даже не знаете, фамилию его услышали впервые три дня тому назад от Минора. Вы подтверждаете это?

Татаров вздрогнул, поднял голову. Последние силы встыхнули. «Уйти, бежать» — пронеслось. Он закричал:

— В чем вы меня обвиняете?! Что это значит?!

— В предательстве! — крикнул несдержавшийся Тютчев.

Родилось долгое, страшное молчание.

— Будет лучше, если сознаетесь. Вы избавите нас от труда уличать вас, — сказал Чернов.

— Дегаеву были поставлены условия. Хотите мы поставим условия вам? — проговорил Бах.

Савинков на протоколе рисовал что-то вроде ромашки.

Дверь открылась и все увидали на пороге Азефа. Он был сердит, насуплен. Кто его знал, мог догадаться, Азеф в волнении.

— Простите, товарищи, я запоздал, — тихо проговорил он.

— Мы кончаем, Иван, садись, — сказал Чернов.

Скользкий взгляд по Татарову сказал всё. Азеф прошел, грузно вдавив тело в кресло, в углу комнаты.

Покачнувшемся голосом, каждое мгновение могшим перейти в рыдание, Татаров сказал:

— Вы можете меня убить. Вы можете меня заставить убить. Я этого не боюсь. Но я не виноват, честное слово революционера.

Чернов склонился к Тютчеву. Тот мотнул серебряной, коротко стриженной головой. Чернов стал писать. Потом бумажка пошла к Тютчеву, Савинкову, Баху.

Татаров смотрел на свои ботинки, ему казалось, что шнурки завязаны туго и неудобно. Чернов встал, обращаясь к Татарову прочел:

«Ввиду того, что Н. Ю. Татаров солгал товарищам по делу и о деле, ввиду того, что имел личное общение с графом Кутайсовым и не использовал его в революционных целях и даже не довел о нем до сведения ЦК партии, ввиду того, что Татаров не мог выяснить источника своих значительных средств, комиссия постановляет устранить Татарова от всех партийных учреждений и комитетов, дело же расследованием продолжать».

Татаров не поднял головы.

— На сегодня вы свободны. Но ЦК запрещает вам выезжать из Женевы без его на то разрешения. Отъезд ваш будет рассматриваться как побег.

Не прощаясь, опустив голову, Татаров вышел. В передней почувствовал, что дрожит. На улице шел дождь. Татаров его не заметил, хотя и поднял воротник.

— Да он же уличен! — кричали в комнате. — Погибли товарищи! — Убить! — Но разве на основании!? — Провокаторов убивали с меньшими основаниями!

Азеф кричал бешено: — И выпустили!? Выпустили!? Его надо было давить сейчас же, как гадину! — лицо Азефа искажилось злобой, какой еще никогда никто не видал.

— Но пойми, не тут же на квартире Осипа Соломоновича!? — кричал Чернов.

— Мякотелые вороны! Слюнтяи! Чистоплюи! Тут нельзя!? А ему нас посылать на виселицу можно!? Вы знаете, что он повесил товарищей? Или вам это как с гуся вода!!!??? — закричал Азеф, и быстрыми шагами, ни с кем не прощаясь, вышел, хлопнув дверью.

Утром в номер Татарова постучали. Татаров сидел неумытый, в рубаше, перерезанной помочами. Вошел Чернов. Не подавая руки, сел в кресло. Татаровым овладело беспокойство.

— Даже руки не подаете? — проговорил он.

— Николай Юрьевич! Мы не подадим вам руки до тех пор, пока вы не смоете с себя подозрений, — начал Чернов. — Скажите, — задушевно сказал он. — Зачем вы лгали? Зачем вся эта история с Кутайсовым? с Чарнолусским? с гостиницей? что всё это значит?

Мысли Татарова бились и путались.

— Виктор Михайлович, понимаете, что я переживаю? — голос его задрожал, это было хорошо, — мне, проводившему годы тюрьмы, ссылки, восемь лет жившему мучительной революционной работой, словно сговорясь, бросают нечеловечески-тяжелое обвинение?

Челюсть Татарова вздрагивала, он мог заплакать.

— Я не могу на суде, это слишком тяжело. Но у меня есть что сказать. Все говорят о провалах в Питере, в Москве, о провокации. Но разве я не чувствую сам, что провокация есть, — проговорил Татаров. — Я знаю, что есть. И вижу, что я ошибся, не доведя об этом до сведения товарищей. Я ведь на свой риск и страх давно веду расследование, как могу, и теперь мне удалось...

— Выяснить провокатора?

— Да.

— Фамилия? — взволнованно придвинулся к нему Чернов.

— Виктор Михайлович, вы не поверите, но это факт! Это — факт! — ударил себя в грудь Татаров, — партию предает... Азеф...

— Что?! — вскрикнул, вокакивая Чернов. — Оскорблять Азефа! Руководителя партии?! Вы наотмашь эдак не отмахивайтесь! Я пришел за чистосердечным признанием! И ваша роль теперь ясна, потрудитесь явиться для дачи новых показаний!!

— Но это же правда, уверяю вас, Виктор Михайлович, что это правда! — закричал Татаров, наступая на Чернова, — я достану вам факты!

— Негодай! — сжав кулаки, Чернов выбежал из комнаты.

Татаров торопливо укладывал чемоданы. «Смерть, да, да, да, смерть!» — метался он по запертому номеру. И когда его ждали для дачи показаний, Татаров был уже под Мюнхеном, по дороге в Россию.

16

Весна шла теплая, голубая. В Петербурге пахло ветром с Невы. Цвели острова. По Невскому шли веселые люди. В притихших садах пригородов белым цветом раскидалась черемуха. По ночам на улицах слышалось пенье.

Близорукий шатен в золотом пенсне, товарищ прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты, Федоров, в этот день не чувствовал весны. Он был мягок. Получив предписание выехать в Шлиссельбург для присутствия при казни террориста Каляева, почувствовал себя дурно.

Федоров даже не знал, как туда ехать, в Шлиссельбург? Объяснили, надо сесть в полицейский катер у Петропавловской крепости. И Федоров в катере, волнуясь, ехал пять часов. Были тихие сумерки. Нева катилась потемневшая. Над ней плыла ущербленная луна. В лунном свете белосиними показались Федорову стены и башни Шлиссельбурга.

Подрагивая от холода, от нервов, в сопровождении жандармов Федоров прошел в ворота с черным двуглавым орлом и надписью «Государева». Белые дома, зеленые сады крепости показались странными. В сопровождении жандармов пошел к дому коменданта. Направо в сумерках

увидал белую церковь, с потемневшим крестом. Церковь стояла тихо, словно была в селе, а не в крепости.

— Я товарищ прокурора, Федоров, — проговорил Федоров, здороваясь с комендантом.

— Очень приятно, — сказал комендант, но видимо ему было скучно.

— Я хотел бы сейчас же пройти к заключенному.

— Время еще есть, — сказал скучно комендант. — Впрочем ваше дело. Корнейчук! — крикнул он. — Проведи господина прокурора в манежную.

17

Каляев, в черном обтертом сюртуке, сидел на кровати. Шея была голая, худая. В камере стоял стол, стул, кровать. Каляев казался маленьким, тщедушным. На шум открывшейся двери он обернулся.

— Здравствуйте, — проговорил, входя с жандармом Федоров. — Я товарищ прокурора судебной палаты.

Федоров представлял себе террористов гигантами с огненными глазами. Мягкий Каляев поразил его. Странными были ласковые глаза. Это не глаза террориста.

— Я знал, что вы придете. Садитесь, — проговорил Каляев.

— Простите, — сказал Федоров, голос его дрогнул. — Я, господин Каляев, не знаю, известно ли вам, что если вы подадите на высочайшее имя прошение о помиловании, то смерть будет заменена вам другим наказанием?

Странные глаза Каляева остановились на Федорове, как бы не понимая его.

— Я буду просить, — улыбаясь сказал Каляев, — но не царя, а вас и то только об одном. Доведите пожалуйста до сведения правительства и общества, что я иду на смерть совершенно спокойно. Помилования я не просил, когда меня уговаривала великая княгиня Елизавета. И сейчас просить не буду.

Каляев увидел: Федоров взволнован, у него вздрагивают губы.

— Я хочу говорить с вами, — сказал Каляев и улыбнулся мягко, — как бы это сказать... казнь будет через несколько часов... как с последним человеком, которого я вижу на земле. Только постарайтесь понять меня и исполните мою просьбу. Я не преступник и не убийца. Я воюющая

сторона, сейчас слабейшая, в плену у врага, он может со мной сделать, что хочет. Но душу мою, мои убеждения, идею мою он не может отнять, понимаете?

— Господин Каляев, я человек других убеждений, — проговорил Федоров.

На лицо Каляева вышла странная, как-будто даже насмешливая улыбка.

Федоров путался. Ему хотелось сделать что-нибудь приятное этому маленькому, тщедушному человеку — перед его смертью.

— Может быть, вы хотите переговорить со мной наедине? Выйдите! — бросил он жандарму.

Жандарм споткнулся, зацепив шпорой о шпору, зазвенел и вышел. Но когда дверь заперлась, Каляеву показалось, что зря, что говорить не о чем. Федоров платком протирает пенсне.

— Странно, — глядя в пол, медленно произнес Каляев, — может-быть мы с вами были в одном университете.

— Я окончил в Москве, — проговорил Федоров, надевая пенсне.

— Я там начал, — сказал Каляев, но вдруг нервно вскочил и заходил по камере. — Если б вы знали, если б знали, как я волнуюсь. Поймите, я хочу, чтоб товарищи знали, что я иду на смерть совершенно спокойно и ни о каком помиловании не прошу.

Помолчав, Федоров сказал:

— Может быть вы хотите написать об этом? Я приглашу ротмистра, он заведетелствует и это будет документ. Я передам его в палату.

— Но разве это можно? Да, да, пусть все знают, что я умираю спокойно. Ведь это необходимо, поймите, в интересах дела. Спокойная смерть это сильный акт революционной пропаганды. Это больше чем убийство.

Федоров подумал: «Боже мой, неужели у них таких много?»

Федоров встал. — Подождите, я принесу бумагу — проговорил он, и распахнув дверь, сильно ударил приложившегося к скважине жандарма. «Что за гадость!» — бормотнул Федоров. — «Виноват, вашбродь», — проговорил жандарм.

Меж крепостной стеной и сараем строили виселицу. В темноте мелькали силуэты людей. Федоров отвернулся.

В доме коменданта его поразили собравшиеся люди. Стояли представители сословий, три обывателя из мелких торговцев. Прислонясь задом к подоконнику, поглаживая бороду, стоял священник. Шумно обступили офицеры гарнизона генерала барона Медема, командированного присутствовать при казни Каляева министерством внутренних дел.

Перед генералом, на столе лежали ножи, молотки, ножицы.

— Прекрасные изделия делают, ваше превосходительство, не подумаешь, что опособны, — говорил, показывая их, комендант.

— Прелестно, — сказал генерал, держа молоток.

От блеска пуговиц, мундиров, от разговоров у Федорова комком подступила тошнота. Он выбежал на крыльцо в темноту: — его вырвало. Проводя рукой по вспотевшему от напряжения лбу, Федоров пошел к манежу.

Каляев, улыбаясь, проговорил:

— Вот, хорошо что пришли, а мне уж объявили.

Федоров прислонился к стене. Каляев писал. Но вдруг обернулся, вскочил. — «Где же шляпа? — проговорил он, — где моя шляпа? она была тут, — он шарил по постели, — ах, вот она», — и схватив шляпу сделал шаг к Федорову.

— Я написал. Чего ж мы ждем? Пойдемте, чем скорее, тем лучше. — Каляев в локте сжал руку Федорова, но смотрел мимо него, на огонь лампы.

— Может быть вам что-нибудь передать?

— Передать? — сказал Каляев, как в забытьи. — Не знаю, что передать? Я никому зла не сделал, любил людей, за них умираю, что же передать? Главное не забудьте, что я не унизился просьбой о помиловании. А нет, впрочем это неделикатно, лучше: — остался силен и не просил помилования, — улыбнулся блестящими глазами Каляев.

— Но у вас же есть мать? Я передам.

— Передадите? — забормотал Каляев, — сейчас. Он писал, рвал, бросал. Закрыв лицо руками, просидев так несколько секунд, потом оторвавшись, стал снова писать:

«Дорогая незабвенная моя мать! Итак я умираю! Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу от-

нестись к своему концу. Пусть же ваше горе, дорогие мои, все: — мать, братья, сестры потонет в лучах того сияния, которым светит торжество моего духа. Прощайте, привет всем от меня кто знал и помнит. Завещаю вам: храните в чистоте имя моего отца. Не горюйте, не плачьте. Еще раз прощайте, я всегда с вами.

Иван Каляев»

Промокнув грязной промокашкой несколько раз, Каляев передал письмо.

— Теперь я спокоен, пойдемте, пойдемте скорее.

Дверь навстречу ему отворилась. Вошел худой ротмистр с двумя солдатами.

— Приготовьтесь, — сказал худой ротмистр.

Странно улыбаясь, Каляев посмотрел на ротмистра. И, повернувшись, сказал Федорову:

— Прощайте, спасибо.

19

В столовой коменданта, освещенной лампами и канделябрами, шумели.

В темноте двора Федоров сел на скамью под липами. Прямо, в отдалении темнела готовая виселица. Федоров смутно помнил, как из дома вышел генерал Медем, полукругом шли офицеры, священник и представители сословий. Открылась дверь манежа. Под сильным конвоем с саблями наголо, в квадрате жандармов, с непокрытой головой шел маленький человек в обтрепанном сюртуке. Шея была голая.

Рассветало. Пахло липами. Федоров с трудом шел к виселице, и ему казалось, что именно потому, что слишком сильно пахнет липами. Он слышал, как читали приговор. Подошел священник. Каляев отстранил крест.

— Уйдите, батюшка, счеты с жизнью покончены. Я умираю спокойно.

И тут же подошел палач Филиппев, надевший на Каляева саван.

— Взойдите на ступеньку, — сказал хрипло Филиппев.

Из мешка чуть придушенный, но спокойный раздался голос:

— Да как же я взойду? У меня мешок на голове, я ничего не вижу.

Федоров отвернулся, закрыв лицо руками, сделал три шага.

Удивился, почти тут же услышав шаги. Шли генерал барон Медем, офицеры, представители сословий, священник.

От ворот Федоров обернулся. На виселице качалась, казавшаяся очень маленькой, фигурка в саване.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

В кресле, как всегда, бледный, закутанный во что-то шерстяное, сидел Гоц. Рядом сидел, куря папиросу Азеф. Видно было, что они долго разговаривали. Вошел Чернов.

Гоц сразу же протянул ему «Журналь де Женев».

— Прежде всего читай, — сказал он.

— Ну, что скажешь? — спросил, следя за лицом Чернова, Гоц.

— То-есть, как что? — отходя, беря стул, садясь ближе, сказал Чернов. — Новый шаг, довольно крупная уступка. Маневрируют.

— Ловушка?

— Приходится бабе вертеться, коль некуда деться.

— Ну, от тебя-то, Виктор, я этого не ожидал, — процедил, попыхивая папироской, Азеф. — Сейчас Минор был, всё кричал, мы де наивные люди, манифест 17 октября это, мол, чтобы нас эмигрантов в Россию заманить. Видите ли, расконспирируемся, они нас сгребут и крышка. И ты думаешь для нашей милости Россию вверх ногами поставили? Переменили самодержавие на конституционный строй! Высоко ценишь, Виктор!

— Да двойственный характер манифеста в глаза бьет! Конечно, маневр! *Divide et impera!* Вот что! Успокой оппозицию, раздави революцию!

— Ты не прав, Виктор, — сказал Гоц, — первым словам манифеста я не придаю значения. Это фасад, стремление уберечь «престиж власти». Конечно, правительство долго будет барахтаться, предлагать обществу услуги для подавления крайностей. Но ясно: — со старым режимом кончено. Это конец абсолютизма, конституция, новая эра И нечего говорить о ловушках. Как после крымской кампании был предreshен вопрос освобождения крестьян, так после японской — конституция. Нашу тактику борьбы это разумеется сильно меняет.

Вошел Савинков, здоровался, а Гоц говорил.

— Вот возьми, например, хотя бы Ивана Николаевича с Павлом Ивановичем, им остается сказать «ныне отпускаеши». С террором кончено. Может ты другого мнения?

— Да, да, — повышенно быстро, даже неразборчиво, заговорил Чернов, — в этом ты прав, с террором надо воздержаться, это верно, то-есть не то, чтобы кончено совсем, — заметил он пренебрежительную улыбку Савинкова, — а надо держать под ружьем, чтобы в любой момент снова двинуть.

— Засолить, так сказать, впрок, — сказал Савинков.

— Уж там понимайте, с укропом иль без укропца, а, конечно, подсолить придется.

Вошли Шишко, Авксентьев, Сухомлин, Фундаминский, Ракитников, Тютчев, Натансон, группа боевиков. Возбужденные, видимо только что спорившие. Войдя, сразу заговорили. Савинков сел в дальний угол комнаты. Говорил первым из них Шишко, страстно, как юноша, слегка пришепетывая. Кричал, что надо сейчас бросить партию к массам, широким фронтом вести наступление.

— Постой, Леонид, а террор?

— Террор? — остановился Шишко. — Что же террор? Террор пока конечно невозможен.

— Правильно! Держать под ружьем, но не приступать к действиям.

— Разрешите! — крикнул Савинков.

К нему обернулись. Одну руку Савинков заложил за широкий борт пиджака. Другая была в кармане. Вид был вызывающий. В фигуре пренебрежение. Не меняя позы, говорил, что надо бить правительство на улицах, в зданиях, на площадях, во дворцах и тогда вспыхнет настоящая Македония, о которой мечтал повешенный Каляев. Он был страстен и красив в своей речи.

— Надо понимать что такое террорист, надо знать, что престиж партии поднят террором, надо уметь не бояться славы террора, славы смерти наших товарищей! Только нанося удары ножом, револьвером и бомбой мы завоюем подлинный контакт с массами и подыдем всероссийскую революцию. Я слышу речи, чтоб держать боевую под ружьем, «засолить». Как боевик, я протестую против такой оскорбительной постановки вопроса. Нас нельзя засаливать впрок! Мы не огурцы, мы революционеры, для нас

психологически невозможна такая постановка вопроса! Мы дали партии славу, мы дали партии средства, так нечего ж, ослепившись какими-то конституциями, откидывать нас, как ненужный партии хлам! Мы отдали жизнь террору и, если я не ошибаюсь, мы террористическая партия! Мы не смеем склонять свое знамя в момент, когда его надо широко развернуть над Россией красным полотнищем и поднимать ветер революции! Мы террористы-боевики мыслим так! Мы не дадим выбросить нас в самый острый момент за борт и тем погубить приобретенную славу партии освященную именами Сазонова, Каляева и других товарищей. Нет, я не верю, что свертывается знамя террора. Напротив мы должны дать, в гимне начавшейся музыки революции, могучее кресчендо! Пусть дадут задание совершить самый смелый, самый отчаянный акт! Мы возьмем его. Пусть скажут ворваться в Зимний с поясами, наполненными динамитом! Мы это сделаем. Во имя революции, во имя славы террора! И это произведет больший взрыв в стране, чем газетное объединение с массами! С массами объединяет кровь, а не типографская краска! Я не знаю, как решит ЦК, но думаю, что выражаю мнение всех боевиков и говорю от их имени: — мы не опустим знамя террора, которое вымочили в крови товарищей, которое нам свято! Мы хотим жертв и пойдем на них во имя всероссийской революции!!

Савинков чувствовал возбуждение от охватившего его подъема. Речь была удачна. На лицах боевиков он читал восторг. Не видел только лица Азефа. Азef сидел спиной.

— Нечего мудрить над революцией, молодые люди, уж позвольте обратиться так, — встал старый Минор, потряхивая бородкой, — революции, батюшка, со стороны ничего не навяжешь, не прикажешь, спасительных рецептов ей прописывать нечего, она идет, она налицо и патетические речи Павла Ивановича художественно хороши, но не к лицу в данный момент. К чему тут револьверные выстрелы?

Савинков стоял бледный. Он ждал выступления Азефа. Встал Фундаминский, снял пенсне, заговорил гладко.

— Насущной задачей партии в данный момент является аграрный вопрос, разрешение которого будет исторической миссией партии. Террористическая борьба отжила свое, отнимая людей и средства, она ослабляет партию, и будет мешать разрешить главную экономическую задачу.

Савинков ждал речи Азефа. Заговорил Гоц, соглаша-

ясь с Фундаминским, Сухомлин, соглашаясь с Гоцем, Натансон, соглашаясь с Сухомлиным, Авксентьев, соглашаясь с Натансоном. Последним встал Азеф. Его внимательно слушали все.

Он стоял, искривясь толстым телом, не отрывая руки от кресла.

— Я буду краток, — рокотал он уверенно и твердо, — вмешательство в ход стихии социальных масс считаю гибелью. Мы помогали революции выйти из глухих берегов, она разливается. Мы должны заботиться, чтоб не быть оттертыми ею. Я шел с партией, отдавая свою жизнь. Теперь пора многое пересмотреть из программного и тактического багажа. Говорю, как будет достигнута конституция, стану последовательным легалистом. Что ж касается, чтоб держать под ружьем Б. О. — это слова. Держать под ружьем Б. О. нельзя. Я выслушал членов ЦК, и беру на свою ответственность: — боевая организация распущена!

Азеф грузно сел и взял с пепельницы недокуренную папиросу.

2

Когда кончилось собрание, крайне взволнованный Савинков подошел к Азефу.

— Что это значит, ты распустил Б. О.?

— А ты не слыхал все эти разговоры? Как же можно вести дальше дело? — Азеф ласково улыбнулся, похлопывая Савинкова по плечу: — Не кручинься, барин, найдем работу.

К ним подошел Чернов.

— Иван, пойдемте закусим в «Либерте».

— Пойдем, Павел Иванович, выпьем за упокой Б. О. — гнусаво проговорил Азеф.

Чернов, Савинков и Азеф сидели в красноватом ресторанчике «Либерте». Красноват он был от красных лампиров, от пола, затянутого красным сукном. Стол был дальний. Народу в ресторане не было. Если не считать женщину и мужчину, целовавшихся в полутемной кабине.

— Ну и манифестик! Весь день проболтались, не заметили даже, что не ели. Это вам скажу манифестик! Настоященский! — говорил Виктор Михайлович.

Азеф ел, не слушая.

— Да, интересное времячко. Сам в Россию поеду, сво-

ими глазами прикину, как это выходит. Вести то хороши, да свой глаз ватерпас.

— Если будет настоящая конституция, нам работать не придется, — прохрипел Азеф, выплевывая жилы на тарелку.

— Что ты, Ваня, в таком пессимизме, кто же работать-то будет, а?

— Кадеты. Нас ототрут.

— Чудишь, толстый, чудишь, — проговорил Чернов. — Хотя знаешь, тебя кой-кто из товарищей уже назвал: «кадет с бомбой».

— Вот увидишь.

— Нет, какую чудовищную ошибку совершает ЦК! Вы поймете это через полгода, через год, уверяю вас. Но тогда будет уже поздно, — говорил бледный, взвинченный Савинков.

— А вы всё о своем? Кто про что, кузнец про угли. Преувеличиваете, Павел Иванович, преувеличиваете, голубок. Ошибки не сделано. Правильно поступлено. Разумно, хладнокровно, хотя конечно... без эстетики... — улыбнулся Чернов.

— Дело тут не в эстетике, Виктор Михайлович, а в здоровой политике. Бросаете террор, когда он нужнее всего. А если хотите насчет «эстетики», то скажу вам, что боевое дело надо понимать. Сейчас создалась боевая, а через год может ее и не создадите. Люди сжились, сработались, верят друг другу. Да наконец, люди отдали себя террору, а теперь что же? Писарями сделаете? У нас к террористу такое отношение — болезненно засмеялся Савинков, — нужен, иди, бей, взрывай, подставляй лоб, нужда кончилась — ко всем чертям, с тобой не считаются, а то, что может с бомбами свою душу выкинул, не в счет, сдачи не дается.

— Ах душа-душа, душа-то может она и хороша, да когда живет не спеша, кормилец, Борис Викторович. Дело тут у вас вижу не столько революционное, партийное, сколько личное, голубчик. Ну что же, личные драмы конечно, всякие бывают, ну влюбились в бомбочку и расставаться жалко, — смеялся Чернов, — а расстаться, хоть может и временно, а нужно, ничего тут не поделаешь. Дело то уж слишком ясное: — самодержавие, борьба, поэзия, романтизм жертвы, будить героизмом массы, это всё, батюшка, понимаем, дело неплохое к тому же красивое, прямо говорю

красивое дело, за то и ореол носите «герой, мол», даром он ореол-то тоже не дается. Но вот открылись новые горизонты, вы и пасуете, бомбочку-то бросить жаль, жаль расстаться то с ней и с ореолом. Вы меня уж по дружбе то простите, ореол то вещь тоже притягательная, чего уж там говорить — все мы люди, все человеки, рисовали поди красивую смерть, смерть за Россию, как Егор, как Иван, да... нет уж ничего тут не поделаешь. А насчет того чтобы в Зимний то вторгаться, взрываться с динамитными поясами, так это же такая отчаянная романтика, что ужас! Понимаю, конечно, хочется вам эдакое динамитное кресчендо произнести, без него, чудится, клякса выйдет, но это всё ни к чему, пустынное предложение, личная драма, личная...

После плотной еды Азеф ковырял в зубах зубочисткой. Трудно было понять, слушает он или нет. Азеф смотрел в одну точку на сиденье пустого стула.

— Ну, хотя бы и личная! — говорил Савинков, — понимаю, что ЦК всех личных драм на учет взять не может. Но дело то в том, что личная драма, как вы говорите, — драма всех боевиков, а их человек 50 в наличии, людей довольно надо полагать решительных, людей террор бросать не желающих. Скажите вы вот мне, что же я и товарищи должны теперь делать? Убить Дурново? Запрещаете. Убить Витте? Запрещаете. Убить Николая? Тоже, оказывается не ко времени. Так что же? — развел руками Савинков. — Может одного вы мне всё-таки не запретите? Подойти на улице к какому-нибудь жандарму Тутушкину и всадить в него последнюю пулю! Это ведь карт вашей игры, надеюсь, не смешает? А на мельницу революции всё же вода! Тутушкин не Дурново, не Витте, не царь всероссийский, пройдет незаметно, для меня же по крайней мере не будет изменой всему прошлому.

— Тут уж, ответить не берусь, дело ваше, хозяйское, — залиvisto захохотал Чернов и потребовал рюмочку бенедиктину.

— Пойдем, — зевая гиппопотамом, проговорил Азеф.

— Погоди, толстый, посошок выпью и пойдем.

3

Женева спала. Улицы тихие, сонные. Рю Верден, по которой шли Азеф и Чернов, погасала постепенно. Ехал черный велосипедист. Доезжая до фонаря, поднимал шест. Квартал улицы погружался в мрак. Черный человек катил-

ся дальше. Чернова с Азефом он проехал, не обратив внимания. Они шли в полной темноте.

— Все эти Тутушкины, Зимний дворец, разумеется, пустяки, — рокотал Азеф. — С террором надо покончить, это верно, только вот одно еще осталось. Это имело бы смысл, логически завершая борьбу и политически не помешало бы.

— О чем ты?

— Охранное взорвать? А?

Улица была пуста, темна. Грохнули жалюзи. Всё замерло.

— Как ты думаешь, Виктор? Стоящее дело, правда? Кто может что-нибудь возразить? Охранка живой символ всего низкого, подлого в самодержавии. И пойми — просто сделать. Под видом кареты с арестованными во внутренний двор ввезти пять пудов динамита. Рrrrrраз! Никаких следов от клоаки! Всё к чортовой матери со всеми генералами!

— Как тебе сказать, дело конечно хорошее, — проговорил Чернов, — хотя тоже, пожалуй, романтика больше, а? — он взял Азефа под руку, они шли медленно. В дверях магазина в странном костюме, похожем на чуйку, сидел сторож, сидя спал.

— Что ты, какая к чорту романтика! Нужное дело, ты подумай!

Они стояли на углу. Уже расплывался синий рассвет. Город прорезался в тумане. Туман шел к небу. Оголились здания. Появлялись спешащие люди.

— Нннет, Иван, не знаю, пожалуй и ни к чему

— Да нет, важно, Виктор, очень важно. Я еще вернусь к этому плану. Ты подумай.

4

Кроме прикованного к креслу Гоца, все эс-эры уезжали в революционно волновавшуюся Россию. Ехали с волнением, надеждами. Ехал Азеф, ехал Савинков. В отеле «Мажестик» чемоданы Азефа были уже увязаны. Он перечитывал письмо певицы «Шато де Флер» — Хеди де Херо. Конечно, Хеди была не де Херо. А просто Хедвиг Мюллер из саксонской деревеньки Фридрихсдорф. Но среди кокоток петербургских шантанов Хедвиг гремела, как «La bella Hedy de Negro» и, став подругой вел. кн. Кирилла Владимировича, ездила с ним даже на войну с Японией.

«Доброе утро Hänschen! Семь часов, сейчас ты встава-

ет и позевывает по тому что еще очень рано. После чая гуляет в красивый парк. Я спросила тебе как здоровье? Думаю хорошо, здоровье лучше (besser) чем последнее время в Петербурге. Ну теперь я встаю... Время после обеда. Я ложусь на столе балкона, выдаю легкие тучки, выдаю Eisenbahn. Печалю оттого, что не могу прийти к тебе. Но я знаю увидимся и это мне очень радоваться. Вспоминаю что ты не любишь шоколад, но я знаю что тебе нравится горячий чай и буду вариться его тебе. Я очень обрадована получить твоё письмо, что ты хорошо поправил своё здоровье. Я хочу подарить тебе чудный Kissen. Я знаю что полежать этот Kissen очень надо для тебя. Пожалуйста пиши мне по-немецки. Хеди».

Азеф достал открытку, обыкновенную «карт-посталь», с изображением декольтированной «роскошной брюнетки». В волосах эспри. Зубы обнажены в запрокинутой улыбке. Хеди очень полных, но красивых форм.

Даже глядя на открытку Азеф почувствовал возбуждение. Рот развела растяжка приятных воспоминаний. Он знал запрокинутую шею, руки, ноги, губы. Они встретились с Хеди в «Аквариуме», перед убийством Плеве. Они ели ананас.

Азеф любил Хеди. И сел писать ответ:

«Meine süsse Pipel!

Понимаешь ли ты и знаешь ли, как я о тебе мечтаю. Вот сейчас передо мной твоё открытка, которую целую. Ах как я бы хотел, чтобы ты была со мной, как бы мы мило провели время. С деньгами у меня не важно, но всё же я присмотрел тебе красивую шубку из норки, какую ты хотела иметь. Мейне зюссе Пипель! ты должна обставить нашу квартирку уютно, как я и ты любим. Я вышлю тебе деньги, деньги у меня будут. Перед приездом я тогда тебе pošлю телеграмму. Выкупи обстановку, которую сдали на хранение Подъячеву на Зверинской, как получишь деньги. Мы славно проведем время в Петербурге. Я отдохну с тобой, мы не будем расставаться. Как я мечтаю с тобой снова проводить те ночи, как раньше, представляю тебя, целую мысленно тебя часто, часто. А ты? Как ты ведешь себя? Сморти, я не люблю твоих старых знакомых. И прошу не встречайся с ними. Пора уже быть «solide» и «anständig». Мне тут раз не повезло. Хотел выиграть для тебя в казино, играл на твоё счастье, чтобы нам в Петербурге было еще

веселей. Удивительно, всем счастье, а папочке никогда. На втором кругу сорвали. Понимаешь как я был зол. Ну буду писать тебе скоро, помни и думай о твоём Муши-Пуши.

Всю мою либе зюссе Пипель, папочка щекочет шершавыми усами.

Dein einziges armes Hänschen».

Азеф, улыбаясь, заклеивал письмо, зализывая его толстым языком, и чуть закатив глаза.

5

Савинков писал: —

«Дорогая Вера! Я пишу тебе «дорогая», а сам не знаю, — дорогая ты мне или нет? Нет, конечно, ты мне дорога, а потому и дорогая. Иногда я думаю, что теперь, когда встретимся, ты не поймешь меня. Не найдешь, кого знала и любила. Нового, может быть, разлюбишь. Жизнь делает людей. Иногда я не знаю: — живешь ли ты? Вот сейчас вижу: — в Петербурге осенняя грязь, хмурится утро, волны на Неве свинец, за Невой туманная тень, острый шпиль — крепость. Я знаю: в этом городе живешь ты. Порой ничего не вижу. Люди, для которых жизнь стекло, — тяжелы.

Недавно я уезжал. Был ночью на берегу озера. Волны сонно вздыхали, ползли на берег, мыли песок. Был туман. В белесой траурной мгле таяли грани. Волны сливались с небом, песок сливался с водой. Влажное и водное обнимало меня. Я не знал, где конец, начало, море, земля. Ни звезды, ни просвета. Мгла. Это наша жизнь, Вера. Я не знаю в чем закон этой мглы? Говорят, нужно любить человека? Ну а если нет любви? Без любви ведь нельзя любить. Говорят о грехе. Я не знаю, что такое грех?

Мне бывает тяжело. Оттого что в мире всё стало чужим. Я не могу тебе о многом писать. Последние дни стало тяжелей. Помню, я был на севере, тогда, в Норвегии, когда бежал из Вологды. Помню пришел в первый норвежский рыбацкий поселок. Ни дерева, ни куста, ни травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаном тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. И всё кругом — рыбаки, рыба, океан — мне чужие. Но тогда не было страшно, у меня было *мое*, где то. Теперь я знаю: — моего в жизни нет. Кажется даже, что жизни нет, хотя я вижу детей, вижу любовь. Кажется есть только — смерть и время. Не знаю, что бы я мог делать в мирной жизни? Мне не нужна мирная жизнь. Мне нужна, если нужна, то не

мирная, я не хочу мирной ни для себя, ни для кого. Часто думаю о Янеке. Завидую *вере*. Он свят в своей смерти, по-детски, он верил. В его муках поэтому была правда. А во мне этого нет. Мне кажется, как он я не умру. Люди разные. Святость недоступна. Я умру быть может на том же посту, но — темною смертью. Ибо в горьких водах — полынь. Есть корабли с надломленной кормой и без конечной цели. Ни в рай на земле, ни в рай на небе не верую. Но я хочу борьбы. Мне *нужна* борьба. И вот я борюсь ни во имя чего. За себя борюсь. Во имя того, что я хочу борьбы. Но мне скучно от одиночества, от стеклянных стен.

Недели через две я наверное приеду. Я хочу чтоб ты жила возле меня. Люблю ли? Я не знаю, что такое любовь. Мне кажется, любви нет. Но хочу, чтобы ты была возле меня. Мне будет спокойней. Может быть это и есть любовь?

В прошлый вторник я переслал тебе с товарищем 200 рублей.

Твой Борис Савинков»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

В Петербурге Савинков поселился, как Леон Родэ, на Лиговке в мебелированных «Дагмара», в просторечии называвшихся пипишкиными номерами. С утра уходил на Среднюю Подъяческую в редакцию «Сын отечества». Там архиереи партии в табачном дыму решали, как отдать землю крестьянам с выкупом или без выкупа. Кричали о Витте, революции, манифесте 17-го октября. В боковушке собирались боевики. На массивном диване обычно Азеф, в кадилльном куре папирос. Казалось бы бить Тутушкиных? Но Савинковым владела тоска. Ходил по Петербургу, не оглядываясь на филеров, пил, было мало денег, много грусти. Планы Азефа: — взрыв Охранного, арест Витте, взрывы телефонных, осветительных проводов — слушал безучастно.

— Что ты, Павел Иванович, — недовольно рокотал Азеф — то Тутушкины, динамитные пояса, то слова не выжмешь.

— Ерунда всё, Иван. Нужно возродить боевую. К чему всё это? Разве это сейчас надо? — идя с заседания, говорил Савинков.

— Конечно, не это, — крихтел Азеф.

— Так ты думаешь, боевая возродится?

Согнувшись от дождливого промозглого петербургского ветра, налетавшего с Невы, Азеф бормотал неразборчиво:

— Зависит не от ЦК, а от Витте. По моему старичок сработает на нашу мельницу. — Азеф закашлялся, в кашле выпуская на тротуар слюну. Откашлявшись, догнал Савинкова.

Из ресторана «Кармен» вылетали звуки скрипок. На 16-й линии казался уютен «Кармен» в эту петербургскую ветренность. Азеф вошел в ресторан, заполняя собой дверь, задевая за косяки. Савинков шел за ним.

— Ты что? — смотрели в карту, когда лакей лепетал детской беззубой челюстью о том, что бараньих больше нет, а свиных тоже нет.

— Мне, голубчик, яичницу!

— Подвело животы! — раскатисто хохотал Азеф, — то-то боевую возродить!

— Не в том, Иван, суть. Денег нет, деньги будут.

— Где найдешь?

— Не бойся, в провокаторы не пойду. В том суть, что ни во что кроме террора не верю. Отдал делу силы, а теперь когда нужно показать Витте — террор! — вдруг из-за какой-то тактики складывать оружие, это измена.

— Не кирпичись, барин, придет время. Тебе денег дать?

Азеф вытащил из жилетки смятую сторублевку.

— Барин ты, без подмеса, Боря — исподлобья, лукаво засмеялся Азеф, — пристрастился изображать англичан, вот ни на какую работу толком и не поставишь. Скучно да «проза», либо «бомбочки», либо «стишки», — колыхал в смехе животом Азеф, — лощеный ты у нас, недаром зовут кавалергардом.

— Демократических сопель и вшивых косм не люблю, — пробормотал Савинков. Он ел с аппетитом яичницу.

— Раз, — вдруг улыбнулся он, — знаешь, как сейчас помню, прибегает одна товарищ к Тютчеву, при мне прямо бьется: — Николай Сергеевич, вы представьте, говорит, иду сейчас по Невскому (Савинков представил запыхавшуюся женщину), — вижу, говорит, Азеф на лихаче едет

среди бела дня, обнявшись, с дамой легкого поведения.

— Ну, а Тютчев? — пророкотал Азеф.

— Развел руками. Стало быть, говорит, нужно для дела. А другой раз кто-то протестовал, потому что видел тебя в ложе Александринки, сидит, говорит, Азеф с дамой в бельэтаже, у всех на виду в смокинге, на пальце громаднейший брильянт! Ха-ха-ха. Кстати не пойму, Иван, отчего тебя бабы любят? а? Рожа твоя откровенно сказать не апостольская.

— А тебя не любят? Бабы чуткие, — улыбаясь прогнусавил Азеф, — в тебе мягкую кость чувствуют, вот и не идут на тебя, — захохотал дребезжащим хохотом.

Ресторан был наполнен запахами пива, водки, кухни. Но выходить не хотелось. Они сидели в углу. Было видно в окно, как хлестал на улице мелкий дождь и неслась мгла, застилавшая улицу.

Азеф пыхтел, курил.

— Скажи, Иван, только по правде, есть у тебя вера или вовсе нет? — сказал Савинков.

— Какая вера?

— Ну, в наше дело — в социализм?

— В социализм? — пророкотал Азеф, темные глаза, смеясь, разглядывали Савинкова. — Все на свете, барин, ist eine Messer- und Gabelfrage. Ну, понятно, это нужно для молодежи, для рабочих, но не для нас же с тобой, смешно...

— А разрешите вас, товарищ, спросить, — прищурившись углями монгольских глаз, проговорил Савинков, — кажется вы глава боевого комитета, подготовляющего вооруженное восстание в борьбе за социализм?

Оба засмеялись. — Пойдем, Боря, — сказал Азеф, — и шумно поднялся.

2

На улице их охватил резкий, кружащий ветер. На крыше грохотало листовое железо. Прошла мокрая блестящая конка. После нее на улице стало темно.

— Боевой много дела, — в налетающем ветре говорил Азеф, крепко надвигая котелок. — Витте, охранка, вот еще с Дулебовым.

— Что с Дулебовым? — отворачиваясь в ветре, сказал Савинков.

— Тихое помешательство, сошел с ума. Жандармы

перевели в лечебницу Николая Чудотворца, он там записки пишет. Записки чушь, полная галиматья, но называет правильными именами. Сейчас врач наш, передает, а разнюхают жандармы, скверно. Жаль Петра, но ничего не поделаешь, обезвредить надо, — проговорил Азеф, поднимая воротник пальто.

— Петра?

Удерживая котелок, Азеф, поворачиваясь корпусом к Савинкову, сказал:

— Ну, конечно, Петра. Все равно жить ему недолго, а вред может принести громадный.

— Убить?

— Ну да. Чего ты? Он же сумасшедший.

На них налетел черный, мокрый ветер, оба перевернулись от него, пропятились несколько шагов.

— А Татарова забыл? — пробормотал Азеф в темноте, — это тоже дело.

На углу, сжавшись под кожанам, дремали извозчики. Азеф и Савинков обнялись, расцеловались и разошлись до завтра.

3

За два дня до сигнала к вооруженному восстанию в Москве, туда из Курска прибыл новый генерал-губернатор Дубасов и из Петербурга Евно Азеф. Восстание подавили. И когда Пресня еще дымилась кровью, бежав из Москвы и Петербурга, ЦК партии эс-эров открыл съезд у водопада Иматра, в гостинице «Туристен».

На заседаниях съезда Азеф сидел мрачный.

— Эх, Иван Николаевич, не отдавать бы Москвы семеновцам!

— Что ж поделаешь, — разводил он плавниками-ладонями, — так сложились обстоятельства.

Азеф с речами не выступал. После Москвы знал свою силу. Ждал просьб. Просьбы пришли. В новую боевую вошли: — женщины: Мария Беневская, Рашель Лурье, Александра Севастьянова, Ксения Зильберберг, Валентина Попова, Павла Левинсон, мужчины — Савинков, братья Вноровские, Моисеенко, Шиллеров, Зильберберг, Двойников, Горисон, Абрам Гоц (брат Михаила), Зензинов, Кудрявцев, Калашников, Самойлов, Назаров, Павлов, Пискарев, Зот Сазонов (брат Егора), Трегубов, Яковлев и рабочий «Семен Семенович».

Базой по изготовлению снарядов Азеф сделал — Финляндию. А первыми актами — убийства — Дубасова, генерала Мина, П. И. Рачковского, министра Дурново, адмирала Чухнина.

4

На явочной квартире на Фурштаттской Савинков, придя с Марией Беневской, застал Азефа мрачным и расстроенным. Да и сам волновался, четыре дня не находя нигде Ивана Николаевича.

— Как я беспокоился, Иван, — пожимал Савинков двумя руками руку Азефа. Застенчиво пожала руку Азефа и хрупкая блондинка Мария Беневская.

— Мы так волновались, Иван Николаевич, — проговорила и покраснела.

Азеф насуплен. На Беневскую даже не взглянул, пыхтел. — За мной гонялись, как за зайцем.

— Ты неосторожен, Иван.

— Да, Иван Николаевич, и с вашей стороны это преступление. — Беневская красива, тонка, в манерах аристократизм, хорошее воспитание.

Азеф кольнул ее правым глазом.

— Преступление, — пробормотал он, усмехаясь, — хорошо еще, что так кончилось.

— Ты, надеясь на свою нереволюционную наружность, пренебрегаешь примитивными правилами конспирации, Иван. Так нельзя, батенька, надо быть осторожнее. Что же это, случайность, иль гонялись за тобой, как за главой Б. О.? Как ты думаешь?

— Почем я знаю, — нехотя пробормотал Азеф, — факт налицо, а как меня повесят, как главу Б. О. или как члена ЦК, это не так важно.

Почему Беневская влюбленно смотрела на Ивана Николаевича? До вступления в Б. О. была толстовкой-христианкой, признавая борьбу со злом насилием. Сейчас, не расставаясь с Евангелием, стала террористкой. Товарищи не понимали, каким путем эта строгая девушка пришла к ним? Ивана Николаевича она любила, как главу террора, на который вышла бесстрашно, борясь за счастье России и человечества.

— Шутки брось, Иван. У тебя нет подозрений?

Уже час, как ждал этого вопроса Азеф.

— Каких? О чем ты говоришь?

— О провокации.

— О провокации? — поднял на Савинкова темные глаза Азеф и расплылся в иронической улыбке. — Ха-ха-ха! Никаких подозрений конечно нет, потому что ясно и ребенку: — партия изобличила провокатора, оставив его на свободе. Так что же ты думаешь, провокатор — муха, хрупкая институтка, которая от испуга падает в обморок? Ты думаешь, — хмурясь, искажаясь говорил Азеф, — что Татаров не работает, что он бросил свое дело, перепугался и сел в бест? Да я голову дам оторвать, что это его рука. Он нас всех отошлет на виселицу. Но что же, если ЦК этого хочется, пойдем и на виселицу, — Азеф запыхтел папирсой.

— А разве он изобличен? — взволнованно спросила Бенеvская.

— Безусловный провокатор, — отрезал Савинков. И после раздумья проговорил: — Иван, если мы несколько раз шли по указке ЦК, то теперь, когда удар занесен над Б. О., нам нечего стесняться. С твоим арестом сорвутся все намеченные акты. Мы должны обезопасить себя.

— То есть как? Что ты думаешь? — как-бы нехотя спросил Азеф.

— Убить Татарова, вот как, — сказал Савинков, пристально глядя в выпуклые, темные глаза Азефа.

Что нужно, было выговорено. Азеф молчал. Пыхтел, докуривая папиросу. Потом, бросив ее на пол, задавил штиблетой, закурил другую.

— Я думаю, ты поймешь, Борис, что самому мне поднимать этот вопрос неудобно. Татаров для своего спасенья обвинил меня перед Черновым.

— И что же?

— Я поставлю себя в двусмысленное положение. Могут сказать, убираю с пути человека, обвинявшего меня в предательстве.

— Какая чепуха!

Бледное лицо Бенеvской внезапно порозовело, изредка вздрагивали ресницы, словно она хотела что-то сказать и не выговаривала.

— Нет не чепуха, — медленно, лениво говорил Азеф. — Я щепетилен. Я не могу вести это дело. Потом сам понимаешь, Татаров не генерал, не губернатор, он товарищ,

бывший, но все равно, у него есть имя, биография, убивать его не так-то просто.

— Бросим всю эту психологию, — махнул рукой Савинков, — все это так, Татаров не генерал, в былом революционер — прекрасно. Но он предатель. С слезкой за тобой над Б. О. занесен удар. Его надо отвести. Стало быть надо убить Татарова. Ясно, как арифметика. Не понимаю наконец, почему легко убить генерала и нелегко провокатора? Это люди одного берега. Ну, провокатора убить психологически может быть несколько труднее, только и всего. Убийство же Татарова важнее сейчас убийства Дубасова.

Азеф не глядел на Савинкова. Ждал.

— Если тебе, как ты говоришь, неудобно ставить убийство Татарова, давай я беру его на себя.

Азеф молчал.

— Не знаю, — ответил он, — могут выйти осложнения с ЦК.

— На осложнения мы плевали. Б. О. под угрозой виселицы, а мы еще будем думать о входящих и исходящих.

— Если ты уверен, что надо — бери. — Азеф выбросил дымящийся окурок из мундшука и опять задавил его штиблетой.

— Но ты то сам как считаешь? Необходимо или нет? — раздраженно проговорил Савинков.

— Я считаю необходимым, — тяжело подымаясь с кресла, проговорил Азеф.

5

Чтоб убить провокатора Татарова в Варшаву выехал Савинков, Бенеvская, Моисеенко, Калашников, Двойников и Назаров. План был прост. Его выдумал Савинков, гуляя по улицам «в желтом паре петербургской зимы».

В Варшаве Моисеенко и Бенеvская на имя супругов Крамер сняли на улице Шопена квартиру. Савинков пригласит Татарова для дачи показаний. А убьют — Назаров, Двойников, Калашников.

Двойников московский фабричный, крепкий, скуластый. Назаров тоже рабочий, выше Двойникова, легкий и высокий. Оба сильны. Но все же первый удар предоставлен рассеянному студенту Калашникову. Он так настаивал, что удар отдали ему.

Мимо памятника Яну Собесскому Савинков шел, крутя тростью. У квартиры с железной дощечкой «Протоиерей Юрий Татаров», длительно нажал кнопку. Дожидаясь, ни о чем не думал.

Матушка Авдотья Кирилловна торопилась надеть туфли, все никак не попадала правой ногой. Но уж очень ей не хотелось, чтобы сын выходил отпирать — «простудится еще, Господи», — шептала она, — «да и отдохнуть только лег». — И почти бегом побежала, мягко чавкая туфлями.

— Простите, пожалуйста, — проговорил прекрасно одетый господин, стоя перед Авдотьей Кирилловной. — Могу я видеть Николая Юрьевича?

Авдотье Кирилловне господин очень понравился. Тихо, по старушечьи улыбаясь, она проговорила:

— Отдохнуть он лег, сын то мой, ну, вы все таки пройдите в залу, я ему скажу.

Обтерев о половичек ноги, чтобы не наследить, Савинков прошел в залу. Зала маленькая, в фикусах, геранях, кактусах, с альбомами, плюшевыми скатертями ширмами, портретами духовных лиц.

Когда скрипнула дверь и на пороге встала плотная фигура Татарова, Савинков рассматривал над диваном портрет монаха в клобуке.

— Ах, это вы? — удивленно, нерешительно проговорил Татаров и Савинков увидел: — побледнел.

— Здравствуйте, Николай Юрьевич! — весело сказал он, пожимая руку.

— Присаживайтесь, — проговорил Татаров.

— У меня к вам дело.

— Пожалуйста, — опустив голову, сказал Татаров. Он посмотрел на брюки Савинкова в полоску и заметил, что ботинки грязны, «без калош ходит», — подумал Татаров.

— Видите ли, Николай Юрьевич, члены следственной комиссии по вашему делу, все, кроме Баха (внезапно, но естественно солгал Савинков) сейчас в Варшаве. Я полагаю, в целях вашей реабилитации необходимо устроить допрос, дабы вы могли защититься, мы же с своей стороны могли бы выяснить дело. Получены новые сведения, весьма меняющие дело в благоприятную для вас сторону. Това-

рищи поручили мне зайти к вам спросить: — хотите ли вы дать показания?

— Я ничего не могу добавить к уже данным, — проговорил Татаров, не поднимая головы. Савинков осмотрел его, опять как в Женеве, представляя, как рухнет с шумом на землю под ударами товарищей.

— Но я говорю, Николай Юрьевич, в нашем распоряжении есть новые данные. Вот, например, вы указывали на провокатора в партии. У нас есть теперь данные, могущие, быть может, реабилитировать вас окончательно.

— Да, я говорил о провокаторе. И сейчас скажу, — провокатор это — «Толстый», Азеф.

— Откуда у вас эти сведения?

— Эти сведения достоверны. Я имею их из полиции. Моя сестра замужем за приставом Семеновым. Он хорош с Ратаевым. Я просил его, в виде личной мне услуги, осведомиться о секретном сотруднике в партии. Он узнал, провокатор — «Толстый», Азеф.

— Ну, вот видите, — произнес Савинков, — если вы могли бы документально подтвердить это, хотя прямо скажу, я лично полицейскому источнику полностью не доверяю.

— Я понимаю, но здесь, Борис Викторович...

— Я понимаю, Николай Юрьевич, — перебил Савинков, — но разбор этого материала — дело следственной комиссии *in concreto*, мне поручено пригласить вас. Вы хотите придти?

Он видел, как Татаров волнуется, теребит, мнет бороду.

— А кто там будет?

— Чернов, Тютчев и я.

— А еще кто?

— Больше никого.

Татаров молчал, соображая.

— Ну, хорошо, — проговорил он. — Я приду. Какой адрес?

— Улица Шопена 10, квартира Крамер. Спросите госпожу Крамер.

— Хорошо. В восемь?

— В восемь.

В передней, в приоткрытую щель смотрела Авдотья Кирилловна.

— Скажите, — остановил вдруг Татаров Савинкова,

проговорив тихо: — Как же так, вы подозреваете меня и не боитесь придти ко мне на квартиру. Ведь, если я провокатор, я же могу вас выдать?

— А разве я вам сказал, что мы подозреваем вас? Я в это не верю ни одной минуты, Николай Юрьевич. Для того и приехала комиссия, чтобы окончательно выяснить.

— Ну, хорошо, до свиданья, — проговорил Татаров.

— До свиданья, до завтра. Только, пожалуйста, не запаздывайте.

Легкой походкой Савинков спустился по лестнице, на которой дворничиха зажигала керосиновую лампу. На улице Савинкова охватило чувство хорошо выполненного дела: — в восемь Татаров будет в квартире Крамер.

7

В доме № 10 на улице Шопена оживление началось с пяти. А с шести Беневская села в гостиную в кресло. Была бледна. Вероятно не опала ночь. Калашников то ходил по кабинету, то что то насвистывал, то выходил в корридор.

В дальней, пустой комнате, согнувшись за столом что-то писал Савинков.

Назаров и Двойников пили чай. Они были друзья с юности, как еще привезли их отцы из деревни и отдали на Сормовский в мальчики.

— Нет, Шурка правды на свете, — откусывал сахар крепким зубом Назаров. — Во время восстания сколько народу побили, теперь дети малые по миру бродят. Бомбой бы их всех безусловно, вот что...

— Ээ, Федя, — качал головой Двойников, — оно так то так, да все таки, брат, к такому делу с разлету не подходи. К такому делу надо в чистой рубахе идти, может даже я и недостоин еще, например, послужить революции, как вот Каляев.

— Брось трепать, Шурка, — хмурился Назаров, — в рубахе, не в рубахе. Надо убить? Надо. Значит концы в воду и ходи кандибобером.

Назаров допил, по привычке перевернул чашку вверх дном, утерся, сказал:

— Ну, я иду со двора.

Допив чай, Двойников произнес со вздохом что-то вроде «ииээхх!» и зашумел редкими ударами сапог к окну на улицу.

— Стало быть, Мария Аркадьевна, вы выходите к не-

му и проведете его в гостиную, тогда он отрезан. Я выйду из кабинета.

— Товарищ Калашников, скажите, вы убеждены, что это предатель?

— Да. А что?

— Я боюсь, вдруг ошибка, это ужасно.

— Какая вы чудачка, Мария Аркадьевна. Он предал товарищей, послал их на виселицу.

— Нет, я знаю... убить надо.

В дверь с черного хода раздался несильный стук. Беневская и Калашников вздрогнули.

— Он? Не может быть, рано, — проговорил Калашников и бросился в коридор. Беневская видела он держится за карман. Знала — в кармане финский нож.

Кто-то вошел с черного хода. — Вот шаталомный, — услышала Беневская голос и смех Назарова.

— Опоздал, чорт возьми, города не знаешь, извозчик дуралей попался, — говорил Моисеенко.

— Все в порядке, товарищ Моисеенко, — сказал Калашников.

Двойников тихо свистнул у окна. Все насторожились.

С противоположной стороны улицы, спрятав голову в воротник, согнувшись, быстро шел Татаров.

Беневская подошла к зеркалу и почему-то быстрым женским движением поправила волосы. Оторвавшись от рукописи, Савинков прислушался к свисту, ждал звонка. «Сейчас должен позвонить». Но звонка не раздавалось.

Назаров пристыл к стеклу во двор, походя на кошку: — прямо против окна стоял Татаров, о чем-то спрашивая дворника. Назаров не сообразил, Татаров мотнул дворнику и очень быстро пошел к калитке.

Все замерев, ждали звонка. Назаров кошкой прыгнул с табуретки, бросившись в гостиную.

— Уходит! — закричал он. — Что же вы рты то поразевали!

За Назаровым бросились все к окнам и увидели удалявшегося Татарова.

— Уууу, гад... — пробормотал Назаров.

Калашников стоял растерянный. Беневская странно смотрела на всех. Она была несчастна. На шум вошел Савинков.

— Ушел? — проговорил он. — Теперь всех провалит. Надо сейчас же бросать квартиру.

— А если догнать?

— Что ж ты, на улице?

— А что, и на улице место найдется.

— Брось, Федя, — раздраженно проговорил Савинков. — Сейчас же бросаем квартиру, он всех нас провалит.

8

Ни на один звонок не отпиралась дверь в квартире Татарова. Николай Юрьевич вернулся бледен. Не скрывая своего состояния, еле дошел до постели, упал. Склонившейся в переполохе Авдотье Кирилловне, не выдержал, проговорил:

— Мама, меня убить хотят, не отпирай...

— Коля...

— Оставь меня, — отстраняя рукой, проговорил Татаров.

Зарыдав, вышла Авдотья Кирилловна, закрываясь закорюзлыми неразгибающимися от старости пальцами.

Татаров лежал с закрытыми глазами. Борода неаккуратна, взлохмачена. Мысли билась чудовищно, и не поспевая одна за другой, сталкивались, причиняя невыносимую боль. Татарову хотелось бы не думать.

Но что же сказал дворник? Что сняли муж и жена. Что пришел сперва молодой человек, хорошо одетый. Все это могло быть. Потом прошли двое, «как бы рабочие, в картузах». Все стало ясно. Савинков заманивал. Изящный Савинков, называющий «Николай Юрьевич», подающий руку, говорящий умно, любезно — был страшен. Татаров чувствовал на лбу пот, и словно тяжелым молотом ударили изнутри в голову. Казалось, что слышится какой-то несущийся мимо шум. Будто сама жизнь несется уже мимо Николая Юрьевича Татарова. Чтоб освободиться, он попробовал встать. Но голова закружилась и Татаров упал на локоть.

9

Савинков и Назаров шли по Огородовой улице.

— Да ведь ты говоришь нужно?

— Нужно.

— Значит и убью.

— Чем?

— Ножом.

— На дому?
— А то где же?
— А если не уйдешь, Федя?
— Брось, если да если. Не хочешь посылать, сам ступай, только ведь, поди, не сумеешь, — засмеялся Назаров, обнажив крепкие, желтоватые, нечищенные зубы.

— Ладно, — проговорил Савинков, — валяй. Но ножом трудно, не промахнись.

— Увижу, чем стругать буду, струмент весь со мной. Ээ, ушел гад, а? Сколько народу революционного погубил. Сколько товарищей угробил. Ну да и от нас не уйдет.

— Ну, прощай, Федя, — останавливаясь, сказал Савинков. Он торопился вслед за товарищами к московскому поезду.

— Прощай.

— Ах, да, — спохватился, берясь за карман Савинков. Назаров обернулся. — Я ж тебе денег не дал.

— Каких?

— Да надо же денег.

— Есть у меня деньги. Не надо мне твоих денег, — зло отмахнулся Назаров.

— Да, возьми.

— Очумел ты с твоими деньгами, — нахому пробормотал Назаров.

Савинков постоял, посмотрел вслед и улыбнувшись, пошел к извозчику.

10

В Москве, в газете «Русское слово» Савинков прочел телеграмму: — «22 марта на квартиру протоиерея Юрия Татарова явился неизвестный человек и убил сына Татарова. Спасаясь бегством, убийца тяжело ранил мать убитого ножом. До сих пор задержать убийцу не удалось».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Никогда не был Азеф так весел, как этой весной в Петербурге. Мозг Ивана Николаевича был математический. Расчеты сходились. Окупались деньгами. Он жил с Хеди. И все радовало.

П. И. Рачковскому отдал динамитные мастерские в

Саперном и Свечном. Правда, отношения оборвались. Рачковский стал даже неаккуратен в выплате жалованья, не ответив на письма. Но Азеф и не волновался, поигрывая с левой руки.

Приходившему на квартиру к Хеди, Павлу Ивановичу, Азеф рокотал:

— Уютная обстановочка, Боря, а? Люблю, Боря, мещанство.

— Мещанство? А я не люблю мещанства.

— Где уже тебе любить мещанство, ты у нас барин, англичанин.

Очень весел был Иван Николаевич в те дни.

2

Но кабинет начальника петербургского охранного отделения, генерала А. В. Герасимова, был интересен историку, психологу и вообще любителю тайн человеческих душ. Много занятого в кабинете у генерала. Только в кабинет никто не входит. Даже подметает не сторож Исаич, в георгиевских крестах и медалях, а сам генерал Герасимов. Завтрак не вносят, а выходя, со стула берет генерал.

А. В. Герасимов плотен, высок, по военному прям. С заклиненной бородкой, с усами кверху. Глаза? Глаза — серовато-стальные. Была и привычка: генерал дергал носом.

На Мойку, в охранное, генерал приезжал в штатском хорошо сшитом костюме. Когда задумавшись, сидел за столом кабинета, был похож на большую, белесоватую, но очень хитрую рыбу.

3

Азеф в это утро встал рано. Вышел в прекрасном расположении духа, напевая «Три создания небес». Знал, что в Лионском кредите 60.000, что при всеобщей сумятице, охватившей разваливающуюся империю, можно поставить акты, от которых захватит дух всей Европе.

Но что за странность? Азеф шел по делу Б. О. На углу Гороховой и улицы Гоголя, как старый, матерый волк, спиной почувствовал сзади что-то волнующее, недоброе. Оборачиваться головой Азеф не умел. Шея была слишком коротка. Поэтому он быстро, словно отгрызаясь от удара, повернулся всем корпусом: — близко, по пятам шли два филера.

«Что за чорт?» Широко перешагнув через лужу, Азеф пошел по улице Гоголя. Филеры шли в двадцати шагах.

Азеф шел быстрее. По делу надо было выйти на Невский. Но он свернул к Мойке. «Ерунда, отвяжутся», пробормотал. Но филеры шли по пятам. Азеф снова повернул к Невскому. На Невском у музыкального магазина «Юлий Генрих Циммерман» остановился, в витрину смотря на филеров. Филеры остановились у колбасной.

Азеф двинулся. Двинулись и они. Азеф видел ясно: — один рыжий, громадный, наверное из дворников. Другой — низкий, очень широкий в плечах, на кривосогнутых ногах. «Что за дьявол?» — бормотал Азеф, чувствуя, что спина его покрывается потом, и он устает от ходьбы и волнения.

Обкладывая Рачковского всеми ругательствами, он шел крупными шагами, торопливо раскачивая животастое тело на тонких ногах. Никто не поверил бы, что с такой легкостью может идти этот неуклюжий, громоздкий, уродливый коммерсант. Азеф знал — за углом лихачи. Только мельком взглянул на очередного, понял, что вороной старик может дать еще ходу по Петербургу, и впрыгнув в пролетку, бормотнул: «К Николаевскому вокзалу».

В тот же момент вынырнули филеры, заметались. Но вороной мастадонт, раскачивая старый костяк со стороны на сторону, уж размял опоенные ноги и мчал Азефа по Невскому. «Сволочь», пробормотал Азеф. Это относилось к Рачковскому.

4

Ни на следующий день, ни на третий день не мог вызвать Азеф действительного статского советника П. И. Рачковского. На лбу Азефа наливалась жила — признак волнения. Азеф любил ясность. Хеди заметила его озабоченность, рассеянность. Он даже не мог быть ласков. Часто подходил к окну. Глаз был верен: — обложен филерами.

— *Warum bist du so traurig? Warum denn, mein Schatz?* — пышнотелая Хеди прижалась к Азефу, крепко поцеловав его в губы, именно так, как он любил.

— *Ach, weiss du, ich bin bisschen erkältet, ich weiss selber nicht, was mit mir los ist, ich fühle mich nicht wohl. Weiss du, ich bleibe paar Tage im Bett. Das wird am besten sein und meine kleine Pipel wird за мной ухаживать.*

— *Mein armes Hänschen, mein Муши-Пуши, мой папашка,* — зацеловывала его Хеди. Уложила в постель. И отнесла письма Азефа на почту.

Хуже всего было, что Азеф ничего не понимал. Когда

встал, сразу подошел к окну. На противоположной стороне никого не было. Он прошел в уборную. Дом был угловой. Филеров не стояло и здесь. Азеф понял: в департаменте была ошибка, теперь выяснилась. Напевая «шли по улицам Мадрида», он пошел к Хеди и всё утро прохохотали, продурчились, проласкались.

В цилиндре, в черном пальто обтягивающем уродливую фигуру, Азеф вышел из дому выбритый, надушенный. Слежки не было. Возле ресторана «Амбир» на Невском, куда хотел войти, чтобы вызвать Савинкова, с двух сторон за руки схватили Азефа филеры и жандармы.

Вырываясь всей тушей, Азеф закричал: — Что это значит?! Как вы смеете! Я инженер Черкасов!!

— Не сопротивляться! — гаркнул ротмистр с щеткой черных усов. И двое жандармов поволокли Азефа к пролетке.

Мельком с извозчика Азеф осмотрел собравшихся у тротуара. Знакомых, как будто, не было. Эту дорогу Азеф знал лучше жандармов. Везли на Мойку в охранный, в тот самый дом, где умер Пушкин. Азеф знал и это. Но думал о том, что под цилиндром выступил пот и обтереться нельзя, жандармы держат за руки.

5

Цилиндр лежал на деревянном, изрезанном ножами столе. Пальто висело на гвозде. Азеф, в синем костюме, лежал на койке одиночной камеры. Захватывающее бешенство не проходило.

В четыре часа дня на пороге появился генерал Герасимов, в штатском. Азеф не поднялся. Герасимов сел у стола и улыбнулся, чуть дернув носом.

— Я начальник охранного отделения генерал Герасимов, потрудитесь встать и назвать вашу фамилию, — сказал он. Слова падали каплями на жесть, без всякого выражения.

Азеф вскочил с койки с лицом перекошенным злобой. Глаза были отведены далеко в сторону, так что радужница исчезла, были только желтые белки и этот «белый огонек» перерезал лицо.

— Я инженер Черкасов! Живу на Фурштаттской! Требую немедленного объяснения, почему я арестован!? И если вы сейчас же меня не освободите, я буду жаловаться министру!

— Так-так-так, — пробараоанил по столу крепкими пальцами генерал Герасимов, рассматривая Азефа.

— Потрудитесь отвечать, что это значит!? — наступая на генерала крикнул Азеф.

— Значит? — тихо проговорил Герасимов. Азеф увидел стальные щели глаз генерала. — Вы инженер Евно Азеф, член партии социалистов-революционеров! Вот что это значит!

Бешенство сплыло с желтого лица Азефа.

— Что?! — проговорил он. — Какая чушь! — и расхохотался на всю камеру. — Вы меня с кем-то путаете, генерал! Я Черкасов. Я отдал свой паспорт.

— Так-так-так, — прищуриваясь, сказал генерал, подергивая носом, — однако же я буду вас держать до тех пор, пока вы не станете несколько умнее.

— Вы бредите! Это безобразие!

— Ну, вот что! — крикнул Герасимов, ударив по столу так, что на нем подпрыгнула кружка. — Не очень то вы! Бросайте канитель! И потрудитесь отвечать на вопросы!

Азеф пристально смотрел на Герасимова темными блестящими, выпуклыми маслинами. В них, в вывороченных губах Азефа Герасимов явно увидел хохот. Азеф хохотал гнусаво, закатисто, неприятно. Это был хохот над генералом Герасимовым.

— Вам отвечать я во всяком случае не буду, — резко прогнусавил Азеф. — А будьте-ка любезны прислать мне действительного статского советника Рачковского.

— Петра Ивановича? Вы дадите ему показания?

— Дам, — пробормотал Азеф, заходя в камеру.

— Прекрасно, — усмехнулся Герасимов.

6

В камере было темновато. Азеф резко обернулся на шум отворяемой двери. Входили Герасимов и Рачковский.

— Что это значит, Петр Иванович!? В какое вы меня ставите положение!?! — закричал Азеф.

— Прежде всего не кричите, — протянул руку Рачковский, — никакого положения тут нет.

— Для вас! Не вы ходите под виселицей! — искажаясь, выпуская слюни на вывороченные губы, закричал Азеф.

— Положим, к сожалению, и я.

— Вы виноваты! Вы не отвечали! Вы бросили меня!

Вы дурацкой слезкой поставили меня чорт знает в какое положение перед революционерами!

— Да не волнуйтесь, Евгений Филиппович, всё образуется, тут дела были почище наших с вами.

— Почище, — злобно пробормотал Азеф.

— Ну, разумеется, — спокойно протянул Рачковский, — дел по горло, вот и не отвечал.

Герасимов, посмеиваясь, глядел на Рачковского и Азефа.

— Из-за этой же моей занятости, сейчас сношения с вами будет вести, вот, Александр Васильевич, собственно-ручно, так сказать, — любезно-злобно сказал Рачковский. — Стало быть, Александр Васильевич, удостоверяю, арестованный является сотрудником, арест произведен очевидно по недоразумению, — улыбнулся зло Рачковский. — Надо вышколить людей, чтоб зря своих не подводили. А теперь, что же мне тут, вы уж сами сговоритесь, не так ли? Одно скажу, чрезвычайно ценный сотрудник, — засмеялся с хрипотцой Рачковский.

Герасимов молчал. Азефу показалось, что-то нехорошее пробежало по рыбьему лицу генерала.

— А вы, батенька, не сердитесь, старую дружбу-то не забываете, — пожимал Рачковский руку Азефа. — Кипяток вы, Филиппович, и как это спокойный человек так может раскипятиться, нехорошо батенька, в нашей работе нервы первое дело.

Азеф пытался выпростать маленькую руку из жилистой мертвячей руки Рачковского. Тот, опять почему то засмеявшись, вышел.

— Прежде всего позвольте извиниться, что я принял вас за революционера, — садясь к столу, проговорил Герасимов. — Вполне понимаю ваше возмущение. Винаваты люди, чистая случайность. Надо надеяться, что в этом лучшем из миров всё делается, быть может, к лучшему.

Азеф рассматривал генерала. Волновала пипка. Казалось, пипка в разговоре перепрыгивает с щеки на щеку.

— Так вот, работать с вами буду я. Принципы работы коротки: — мало слов, много дела. Освобожу, разумеется, вас сегодня же. Дам адрес. Как-нибудь вечером потолкуем. Только предупреждаю, — вдруг ударил ладонью в такт словам генерал: — вы вели игру на две руки, не возражай-

те! — повысил он голос, — знаю! С этого часа на двойной игре ставьте крест. Поняли? Не допущу.

— Это ложь и интрига, — спокойно сказал Азеф, — никакой другой работы я не вел.

— Вели.

— Нет, не вел.

Герасимов смотрел на Азефа. Азеф на Герасимова. Прошла минута.

— Ладно, — улыбнувшись стальными глазами, прервал Герасимов, — во всяком случае или служите только мне, или... — и Герасимов чиркнул рукой по шее также, как чиркал Азеф на приеме боевиков.

— Понятно? — сказал он, не сводя стальных щелей с мясистого лица Азефа.

Всеми силами Азеф скрывал волнение, скрыл бы, если бы не выступивший пот.

— Это ложь. Я никогда на революционеров не работал.

— Евгений Филиппович, слово держу крепко. Ваши сведения, знаю, были всегда ценны. На оплату работы не поскуплюсь. Вы сколько получали последнее время?

— Очень мало. 500 рублей.

— Ну, положим, это не мало. Многие получают гораздо меньше. За отдельные дела получали наградные? Не правда ли? Денег больших в моем распоряжении нет. Но, цена вас, набавлю до 800 в месяц.

— Мало, — глухо прохрипел Азеф. — Я ставлю голову, не за 800 же рублей.

Герасимов, улыбаясь, видел, что Азеф согласен.

— Ха-ха-ха! Да не втирайте вы очки! Ведь живете и жить будете на партийный счет, а он побольше нашего! Наши чистоганчиком пойдут в Лионский Кредит. За год, батенька, 10 тысяч одного жалованья. За три — фабрику купите, завей горе веревочками! Ночью вас освободят, так удобней, — вставая, сказал Герасимов. — Вот адрес: — Пантелеймоновская 9, кв. 6, спросите папашу. Лучше к ночи. Проверять буду другими сотрудниками. Хорошие дела, — хорошие деньги. Малейшая ложь — уж не обессудьте, придется. Ну всего хорошего, Евгений Филиппович! — и, по военному прямо, генерал Герасимов вышел из камеры.

В черном пальто, в руках с цилиндром Азеф стоял в одиночке. Не меняя упершегося в пол взгляда, что-то про себя бормотал, ожидая освобождения.

Из темных ворот Охранного извозчик тронул хорошим ходом. Путь с Мойки на Стремянную, в квартиру Хеди, был длинен. Ночь поздняя. Летел теплый, тающий на тротуаре снег, от фонарей, света из окон, казавшийся желтым. Сырость стояла сплошная, тяжелая, в этом тумане столицы было не продохнуть. В липком ветре летела мокреть, сжавшиеся люди в котелках, шляпах бежали походкой странных выдуманных силуэтов. И Азеф, ушедший в цилиндр и в поднятый воротник, на быстром извозчике, казался тушей без головы.

Так промчался он на Стремянную. Извозчик, резко осаживая лошадь, пролетел дом Хеди. Лошадь поскользнулась у тротуара и упала скользко раскатившись ногами, затрещав по камням подковами.

— Уууу, чорт, — пробормотал Азеф, выпрыгивая из пролетки. Он не додумывал, почему было неприятно падение лошади. Да она уж и вскочила, встряхивая спиной и вытягиваясь, кашляя. Азеф взглянул: — в окне красноватый свет. Он тяжело стал подниматься по лестнице. Но вдруг, на втором повороте почувствовал слабость, сердцебиение и остановился, переводя дыхание.

Хеди, поджав ноги, в теплом халате и мягких туфлях, читала на диване «Викторию» Гамсуна. В сильных местах не могла читать, а опуская книгу, шептала — «wie süß!» Три звонка Азефа застали ее в таком состоянии. Хеди стремительно бросилась к двери.

— Hänschen! Papachen! Um Gottes Willen! — кричала она, обнимая еще не успевшего снять цилиндр и отдышаться Азефа.

— Lass doch, lass, — вдруг грубо проговорил Азеф. — Он сам не ожидал, что так встретит Хеди. Сел на стул. Острая режущая боль прорезала почки. Он схватился за поясницу.

— Um Gottes Willen! Was ist los mit dir? O, mein Gott! — испуганно вскрикнула Хеди.

Морщась от боли, Азеф постарался улыбнуться.

— Sei nicht böse, Muschi, Papachen hatte schlechte Geschäfte — растягивая толстые губы в подобие улыбки, проговорил Азеф. И встав, крепко поцеловал Хеди.

8

Полицейская конспиративная квартира на Пантелеймоновской улице меблирована была отлично. Генерал любил красное, александровское дерево и выдержал обстановку в стиле.

Азефу в темноте отворил дверь темный мужчина.

— Папаша дома?

— Дома. — Азеф узнал по голосу и фигуре разоблаченного провокатора социал-демократов «Николая, золотые очки».

— Милости прошу, Евгений Филиппович, — улыбался генерал, словно дружили они двадцать лет. Азеф ответил точно также:

— Я вас, Александр Васильевич, еле разыскал.

Герасимов в серых верблюжьих туфлях, в бархатной куртке с бранденбурами. От его вида веяло уютом.

— Идемте, голубчик, — говорил он, ведя Азефа анфиладой комнат. Одна была заставлена клетками — на стенах, столах, на полу.

— Что это у вас такое? — бормотал Азеф.

— Птицы, — проговорил генерал — А вы не любите птиц?

— Птиц? — промывчал Азеф

— У меня с реального училища страсть, я в харьковском реальном был, к канарейкам. Отдыхаю. Только времени то нет, — сказал генерал Герасимов, вводя в просторный кабинет, с низкими креслами и портретами императоров в золотых тяжелых рамах.

— И фотографией не интересуетесь? — спросил, подкатывая Азефу кресло.

— Нет, — рокотнул Азеф.

— А я и фотографией. Снимаю. Садитесь, Евгений Филиппович, располагайтесь удобней, вот тут, голубчик.

Кресла, сделанные по рисунку генерала, были великолепны, успокаивающи. Утонув в черном сафьяне, Азеф распустил по ковру ноги, пророкотав:

— Хорошая квартира у вас, Александр Васильевич.

— Ничего, не жалуюсь, — роясь на столе, ответил

Герасимов. — А вот моя работа, увеличиваю. Незнакомы? — и он смеясь кинул фотографию.

Азеф рассматривал портрет Савинкова 13×18.

— А этот поясной портрет не видали? — кинул генерал смеющегося Чернова с альбомом в руке. — Видите, сразу знакомыми угостил, — смеялся Герасимов, сев в кресло, пододвигая меж ними курительный прибор. Азеф закурил предложенную папиросу.

— Ну, скажу прямо, Евгений Филиппович, задали вы мне перцу! Сгоряча то вам наобещал в охранном горы, а сунулся к нашим высокопревосходительствам, те на меня и руками и ногами. С ума говорит сошли, это же чуть не министерское жалованье! Но только со мной ведь разговоры то коротки. Пришлось вопрос ребрышком поставить: — или с вами работаю, или вовсе нет.

Азеф исподлобья разглядывал генерала, видя ясно пипку на правой щеке.

— Они, наши то высокопревосходительства обладают ведь, простите за выражение, бараньими мозгами. Зато знают твердо, что без генерала Герасимова станут вмиг «знаменитостями революции»! ха-ха-ха! без пересадки отправятся в лучший из миров! Ну, так вот, на ваше вознаграждение согласились под конец, но, конечно, с большими lamentациями. Нелегко было.

— Александр Васильевич, — тихо пророкотал Азеф, шурясь в голубом дыму папирасы, — что вы от меня хотите?

— Прежде всего, Евгений Филиппович — познакомиться, — улыбнулся генерал, ловя Азефа стальными глазами — это первое, здесь мы одни, говорить можем по душам, а для дела, знаете, сойтись с человеком, это — первое. Скажу вам прямо: генерал Герасимов не невероятный болван, вроде Ратаева, и не прожженный мерзавец вроде вашего прежнего шефа, глубокоуважаемого Петра Ивановича Рачковского. Запомните, пригодится. Впрочем, сами увидите, откровенность и человеческие отношения у меня в принципе. Чуть ли даже не Марк Аврелий сказал — «В прямоте красота»? Так вот-с! Работать со мной просто. И от вас требуются сущие пустяки. Первое — ка-те-го-ри-че-ски — поднял палец Герасимов, — запрещаю вникать в другие сферы партийной работы, кроме боевой! Краеугольный ка-

мень. Даже мне не обязаны сообщать о небоевой работе партии. Поняли?

— Почему? — рокотнул Азеф.

— Это, батенька, без вас освещается. Да и не интересует меня. Моя с вами работа боевая, исключительно. Ведь и вам же удобнее, чего ж упираетесь то, а?

— Как хотите, — отвернувшись от глаз Герасимова, сказал Азеф.

— Так вот и хочу. Второе — вот что. Знаю то ведь я вас с самой лучшей стороны. Прямо скажу, считаю человеком большого ума, громадной воли, а главное, Евгений Филиппович, удивительнейшим организатором! Если б в партии у вас, таких как вы было, скажем, человек десять, может нам всем давно бы и шею свернули. Но мелковато-с, мелковато-с, ха-ха-ха — больше так, телячьи восторги, да брыки. Так вот-с. И о себе скажу я мнения неплохого, считая и себя не бездарностью, кроме того точка приложения сил есть. А это, знаете, всегда важно. Если пойдем рука об руку, Евгений Филиппович, кто знает, может и оставим имена в русской истории.

— Малоинтересно, — липкими лопухами губ ухмыльнулся Азеф.

— Как сказать. Неужто так и нет никакого тщеславия? Что вы, голубчик, слабы все мы в этом местечке то!

Азефу надоело это выщупывание. Он проговорил.

— Ну, а конкретно, что вы хотите?

— Конкретно, Евгений Филиппович, следующее: — с сегодняшнего дня я буду абсолютно в курсе планов боевой. Наиабсолютнейше! Но не волнуйтесь, лубка не выйдет. Знаю, что у вас уже есть карьера в партии, при моей помощи продвинетесь еще дальше. Ни ареста без вашего согласия не произведу. Кто нужен вам, пальцем не трону, знаю, что у вас там чертово кумовство, хуже чем у нас в департаменте. Друг ваш, например, Чернов может спокойно гулять и болтать, сколько хочет. Не трону. Савинкова тоже. Но тех, кого можно взять без убытка, возьму и повешу. С удовольствием даже повешу, Евгений Филиппович. Вот так то мы с вами революцию и вылушим. Кого купим, кого повесим. Не по глупому, а по умному.

— С моей стороны будут следующие условия, — слово не слушая генерала, сказал Азеф, — чтобы никто из охранного ничего не знал обо мне, чтобы провала не было.

И чтобы аресты боевиков, которых укажу, производились до момента покушения, чтоб меньше виселиц было.

— Первое подтверждаю. Второе, это уже деталь. Но сам скажу, я против излишней крови и даже здесь с вами согласен, хотя раз на раз, конечно, не придется.

— А теперь, видите ли, Александр Васильевич, — улыбался Азеф конфузной улыбкой, не глядя на Герасимова, — вы выдвигаете меня, хорошо, но ведь и вы этим выдвигаетесь? Стало быть и я делаю вам карьеру.

— Разумеется.

— За это надо платить. Вы монополию берете на мои сведения. Меня подставляете под верную опасность.

— То есть почему же?

— Сами же говорите, что вылушивать.

— Ах, та-та-та! Вот куда махнули, те-те-те! — засмеялся Герасимов. — Да это же вы наверное насчет удачных покушений, что ли? А? Ээээ, батенька, куда хватили, ха-ха-ха! Рад, что заранее сделал вам много комплиментов. Рад. Эдак вы меня без пересадки чего доброго революционером сделаете, а? Ха-ха-ха-ха. Говорили кстати мне, я, конечно, не верю, будто, вы, Евгений Филиппович, в Варшаве с Петром Ивановичем встречались, приблизительно так, перед... — глаза Герасимова сощурились на Азефе, — перед смертью... Вячеслава Константиновича...

— За кого вы меня принимаете? — нахмуренно проговорил Азеф — Я Рачковского в Варшаве в глаза не видал, был за границей, может подтвердить Ратаев, всё глупая болтовня.

— Конечно, конечно, Евгений Филиппович, я же пошутил, язык у людей без костей, чего не болтает. Хотя, конечно, розыск настолько деликатная вещь, что если будет вести его человек плохих нравственных устоев, он эту тоненькую линию всегда перейдет, понимаете? А скажите, а ргорос, боевая то ведь готовит что то по моим сведениям, а? Кто «у вас», так сказать, «из нас» на очереди?

— Конкретного нет, — нехотя, проговорил Азеф — толкуют о Дубасове.

— О Дубасове, — медленно, раздумчиво проговорил Герасимов, — боюсь я всё, не забыли ли вы моих условий, Евгений Филиппович?

Азеф глянул на Герасимова — он чиркал пальцем по воротнику.

— Повторяю, Александр Васильевич, что это ложь! — пробормотал Азеф. — С таким запугиванием я не стану работать, я не мальчик. Если хотите ссориться, давайте ссориться.

— Ну-ну, шучу, не распаляйтесь, не распаляйтесь.

— А если согласен на ваши условия, то соловья тоже баснями не кормят, — бормотал Азеф. — Вы любите откровенность, я говорю, мне нужны деньги.

— Какие, Евгений Филиппович?

— Меньше чем две тысячи не обойдусь.

— Много. На дело иль лично?

— На дело.

— Максимум тысяча.

— Завтра еду в Финляндию, ставлю мастерские.

— Какие мастерские?

— Динамитные.

— Сколько?

— Две.

— И денег?

— Говорю: две тысячи.

— Нет, батюшка, дорогонько. Одну то уж на партийный счет ставьте, на одну так и быть, — засмеялся Герасимов, и встав отпер секретер заманчивыми звонами.

— Меньше полуторы тысяч не обойдусь, — рокотал Азеф, — если хотите, зачтите в жалованье.

— Ох, и несговорчивый вы человек! Ну, уж только для первоначалу, так и знайте, больше чтоб нажима не было. А главное, ничего не забывайте, — повернулся генерал, держа бумажки с изображением Петра Великого.

И проводя Азефа по комнатам, находу говорил:

— Попытели мы с вами! Ни с кем ей Богу так не во-
зился, зато думаю не зря. Только не втемяшивайте вы себе в голову, что я дурак, всё дело, батенька испортите.

От толщины Азеф чуть кряхтел, надевая пальто.

— Если телеграммой — на охранное, донесения сюда. Если что, вечером заворачивайте по семейному. Дома нет, справьтесь в «Медведе» у швейцара, спросите кабинет Ивана Васильевича.

И совсем уж на пороге сжимая руку Азефа, Герасимов проговорил: — В прошлую то пятницу на северо-донецких, да мальцевских играли. На бирже то? Своими глазами ви-

дел. Там то вы мне и понравились. Сразу решил, что с вами дела можно делать. Ну, и скрытный же вы человек, ай-ай-ай, с вами надо осторожней, а то чего доброго взорвете на воздух, — и Герасимов, обнимая Азефа, похлопал его по задней части, убедиться нет ли револьвера.

— Из Финляндии то черкните.

— Хорошо, — бормотнул, выходя, Азеф.

Азеф крепился у генерала Герасимова. Но выйдя на улицу, почувствовал нервный упадок, слабость. Он понимал, что его расчеты смяты.

9

Савинков с братьями Вноровскими и Шиллеровым ставил в Москве покушение на Дубасова. В крошечном, охряном домике, зажатом в зелени сосен, Азеф жил в Гельсингфорсе. Дом был уютен. Воздух резок и ароматен. Но Азеф волновался. Мерещилась генеральская пипка, веревка, чорт знает что.

Савинков подъезжал на финке, семенившей мохнатыми копытцами по серебряному, снежному насту.

— Ждал тебя, ждал, — рокотал Азеф, крепко обнимая и целуя Савинкова.

Азеф провел его в небольшую, солнечную комнату. За окнами: — сосны, снег, сад.

Савинков мыл руки, Азеф, приготавливая чай, спросил:

— Кто убил Татарова, Двойников?

— Федя, — вытирая руки полотенцем, сказал Савинков.

— Так, а я думал Двойников. Как в Москве?

Через окно солнце залило Савинкова. Азеф наливал чай, подставлял Савинкову лимон, хлеб.

— Я тут по-холостяцки, плохо живу.

— В Москве, не понимаю причин, но скверно, Иван. Регулярного выезда не можем установить, измотались, истрепались. Приехал советоваться с тобой, по моему покушение может выйти только случайное.

— Ерунда, — нахмурился Азеф, голова ушла в плечи. — Стало-быть плохо наблюдают, если не могут установить. А случайное покушение, это — ерунда, я не могу рисковать людьми ради твоих импрессий!

— Импрессий! Ты не ведешь и не знаешь. Выезды стали настолько нерегулярны, обставлены такой конспиративностью, словно он знает, что мы здесь. А при случай-

ном выезде успех может быть. Надо взять кого-нибудь из мастерской, пусть приготовит снаряды, будем ждать возвращения Дубасова из Петербурга.

Азеф пыхтел, грудь поднималась от тяжелого дыхания. Он повернул всё тело в кресле, пробормотал:

— Вообще у нас теперь ничего не выйдет, я в этом уверен.

— Почему?

Азеф каменный, мрачный, сморщился, махнул рукой:

— Я не могу больше работать, я устал. Убежден, ничего не выйдет. Папиросники, извозчики, наружное наблюдение, старая канитель, ерунда! Все это знают. Я решил уйти от работы, пойми, со времени Гершуни я всё в терроре, имею же я наконец право на отдых, я не могу больше. Ты и один справишься.

— Если ты устал, то конечно твое право уйти, но без тебя я работать не буду.

Азеф посмотрел ему в лицо.

— Почему?

— Потому, что ни я, ни кто другой не чувствуем себя в силах взять ответственность за руководство центральным террором. Ты назначен ЦК. Без тебя не согласятся работать товарищи.

Азеф молчал. Савинков говорил убежденно, доказывая, что отказ Азефа — гибель террора, а стало быть и партии. Азеф изредка поднимал бычачью голову на короткой шее, взглядывал на него. Когда он кончил, Азеф сидел молча, сопя.

— Хорошо, — проговорил наконец, лениво роняя слова, — будь по твоему, но мое мнение, ничего у нас не выйдет. Если хочешь бросить регулярное наблюдение и рассчитывать на случайную поездку Дубасова — хорошо, поезжай, возьми из мастерской Валентину, она поедет с тобой, приготовит бомбы. Только по моему это нерационально, дробится организация. Во всяком случае прежде всего извести меня телеграммой. Я приеду сам и всё проверю.

10

В тот же вечер Савинков ехал из Гельсингфорса в Териоки. На даче, у взморья стояла динамитная мастерская, поставленная Азефом.

Продремав ночь на станции за чашкой чая, Савинков с

раосветом тронулся к взморью. По снежной дороге нес вейка. Раскатывались санки на крутых поворотах. Ни впереди, ни сзади — ни души. Лес, снег, небо, да пробегающие лыжники. Финн знал путь. Быстро с лесистой дороги свернул на малоезженую снежную полосу. У дачи с подстриженными заснеженными кустами остановился.

Савинков шел по узкой тропе, которую вытоптали здесь жильцы. Было тихо. В саду стучал дятел. Звенели в легком ветре сосны. Под ногой заскрипели ступени лесенки. Коротким стуком Савинков постучал в стеклянную дверь. Навстречу вышла женщина, похожая на монашку. Лицо было желтоватое, изможденное. Темные глаза ушли вглубь. Движенья спокойные. Смотря на Савинкова, террористка Саша Севастьянова проговорила:

— Проходите, все дома.

В просторной, светлой столовой Савинков застал хозяина дачи Льва Зильберберга.

— Вот неожиданно! А мы тут как затворники! Вот радость! — говорил изящный, хрупкий Зильберберг.

На их голоса вышли Рашель Лурье, худая, резкая брюнетка, лет 20-ти и смеющаяся Валентина Попова. Но по губам и полноватой фигуре Савинкову Попова показалась беременной.

Обступив Павла Ивановича все здоровались, смеялись. Как молодо! Какие голоса! Как бодро! Какой смех! Саша Севастьянова, работающая за прислугу, накидывала на стол скатерть, суетилась, готовя закуску, ставя самовар с холоду приехавшему гостю.

— Как же живем, а? — похлопывал Зильберберга Савинков.

— Да готовим, — смеялся Зильберберг, — вы вот расскажите, что на воле делается? Мы тут целый месяц без газет, ничего не видали. Может там уж и царя то у нас нет, свергли? — засмеялся Зильберберг.

— Нет куда сидит еще. Вот покажите-ка полностью мастерскую, тогда и решим, долго ли еще сидеть будет, — и Савинков с Зильбербергом вышли из столовой, где молчаливой монашенкой хлопотала Саша Севастьянова.

Дача была в девять комнат с отдельной кухней. Наверху три летних. Низ же оборудован по зимнему. Богатая

дача, с мебелью карельской березы, картинами, креслами. До того хороша, что многих боевиков даже стесняла.

— Здесь вот барин живет, то-есть, значит я. Здесь вот — барыня, то-есть, Рашель. А вот это и есть мастерская, не Бог весть что, но работать можно, — ввел Зильберберг Савинкова в просторную квадратную комнату, почти без мебели, с туго спущенными белыми шторами.

Савинков ощутил знакомый запах горького миндаля, от которого всегда болела голова. На двух столах стояли спиртовки, примусы, лежали медные молотки, напильники, ножницы для жести, пипетки, стеклянные трубки, наждачная бумага, в флаконах, аккуратно как в аптеке, была серная кислота. В углу — запасы динамита. И рядом, внутри выложенные парафиновой бумагой, в виде конфетных коробок, консервных банок — оболочки снарядов.

Горький миндаль напомнил номер Доры в «Славянском базаре», Каляева, зимний день, смерть Сергея, радость убийства и тоску. Савинков знал, Каляев повешен, Дора сошла с ума в каземате Петропавловской крепости.

— А у вас не болит от него голова? — спросил, указывая на динамит.

— Привычка. Вот у Валентины сильные боли.

— У меня тоже, — говорил Савинков, вспомнив о Доре, о ночи, когда пришел к ней, и о том, что, как говорят, она в тюрьме просила дать ей яду и сошла с ума, изнасилованная стражей.

— А где ваша жена? — выходя из задумчивости спросил Савинков.

— Жена? — переспросил Зильберберг. — Она заграницей, у меня даже двухмесячный ребенок, пишут уже улыбается, не видал еще.

— Да? — процедил Савинков. Они входили в комнату, похожую на гостиную; кроме желтой мебели, посредине стояла кровать, покрытая байковым одеялом. Навстречу им шли Попова и Рашель Лурье. Попова весело кричала:

— Павел Иванович! пожалуйста обедать! Только вы ведь привыкли к изысканностям. А у нас по-простецки. Саша даже стесняется, ей Богу.

— Валентина, — сердито проговорила Саша и сама засмеялась.

За большой круглый стол садились шумно. Савин-

ков помолодел, он почти студент, бегающий за Невскую заставу на рабочие собрания.

Саша несла сковороду с шипящей глазуньей.

— Извините, товарищи, что-то сегодня неудачно, кажется.

Попова подставляла деревянные подставки.

— Какой неудачно! Дело не в удаче, а в количестве, товарищ Севастьянова. Голоден, как волк. А вот винца бы? Нет у вас? В вашей работе не надобится? Жаль. А мы развратились, привыкли заливать трапезу, — смеясь говорил Савинков.

Все смеялись. Ели яичницу, картофель, пережаренное Сашей в волнении, мясо. А после обеда, обняв за плечи Валентину, смотря в ее смеющееся лицо с раскрытыми губами, за которыми белели мелкие зубы, Савинков говорил:

— Товарищ Валентина, я ведь вас увезу. Хотите?

— На дело?

— Ну, конечно. А то на что же? — Савинков кратко рассказал о их плане.

— Согласны?

— О чем спрашиваете? Зачем же я здесь?

— Только один вопрос. Вы не беременны?

Краска залила щеки, лоб, словно выступила даже сквозь брови Валентины.

— Это вас не касается, это мое дело.

— Напрасно думаете. Меня очень касается. И как человека и как революционера. Во первых, в случае вашей гибели, вы убьете живого ребенка. Кроме того можете ослабеть, не совладать. Ведь придется трудно.

— Я за себя ручаюсь.

— Нет, поскольку вы подтверждаете, я на себя взять этого не могу. Изменить тоже не могу, дело Ивана Николаевича. Приеду завтра. Но говорю прямо, не обижайтесь, я буду настаивать, чтобы вместо вас ехал кто-нибудь другой.

— Если Иван Николаевич назначил меня, я поеду. Вы не имеете права, — вспыхливо проговорила Валентина. — Вы обижаете меня, как члена Б. О. Я говорю, что способна на работу.

— Я не могу, Валентина, не будем спорить.

В своей комнате, сдержанная, строгая плакала Рашель Лурье. Назначение должно было принадлежать ей, а Павел Иванович вызвал Попову.

11

Азеф собирался к генералу Герасимову, когда внезапно вошел Савинков. По ушедшей в плечи голове, наморщившемуся лбу и затуманившимся глазам, Савинков понял, что Азеф не в духе.

— Почему ты приехал? — отрывисто спросил Азеф. — Постой, не ходи ко мне, у меня женщина. Пойдем сюда.

Они вошли в кухню. Опершись о стол, Азеф слушал Савинкова.

— Какой вздор! — пробормотал он. — Нам нет никакого дела, беременна Валентина или нет. Я не могу производить медицинских освидетельствований. Раз она приняла на себя ответственность, мы должны верить ей.

— Я отвечаю за всё дело. Мне важна каждая деталь, я не могу рассчитывать на успех, если сомневаюсь в Валентине.

— Я знаю Валентину, она всё выполнит.

— Я повторяю, беременную женщину в дело я не возьму.

Азеф захохотал. Кончив хохотать, проговорил:

— Бери Валентину и поезжай сейчас же в Москву. Менять поздно. Сантименты побереги для других.

— Это слишком по-генеральски, Иван! — вскрикнул Савинков. — Вот тебе последний сказ: — или я выхожу из организации, или вместо Валентины едет Рашель.

Азеф остановился в дверях. Смотрел насмешливо, был похож на большую гориллу.

— Сегодня же езжай в Москву. Понял? — проговорил он и, не прощаясь, вышел.

12

Восемь раз, в голубой форме сумского гусара с коробкой конфет, выходил Борис Вноровский навстречу коляске Дубасова. Волосы Вноровского поседели. Но коляска Дубасова ускользала. Савинков, Вноровские, Шиллеров и Валентина Попова — обессилели. И тогда в Москву, убивать Дубасова, приехал из Финляндии Азеф.

Он назначил убийство на день именин императрицы. Чтоб, когда по случаю тезоименитства грянут оркестры,

в весеннем солнце блестя бастромбонами, корнетами, литаврами, тронется отчетливая пехота и, расходясь плавным тротом, завальсируют кони под кавалеристами, тогда в разгар парада метальщики замкнут пути из Кремля и Дубасов в весенний день поедет на бомбу.

Поседевший, еще более красивый, Борис Вноровский оделся в форму лейтенанта флота. Азеф передал ему восьмифунтовый снаряд, чтоб Вноровский замкнул Тверскую от Никольских ворот.

Одетому человеком в шляпе, с портфелем, Шиллерову Азеф дал снаряд, чтоб замкнул Боровцкие ворота. А на третий путь по Воздвиженке стал, одетый простолюдином, Владимир Вноровский, дожидаясь чтоб Азеф привез снаряд.

Летающие в весеннем воздухе звуки военных маршей и крики ура наполняли Москву. Вноровский волновался. Не понимал, как можно быть неаккуратным. Сжимал покрывавшиеся потом руки. Крутясь, высматривая в толпе, Вноровский мог казаться даже подозрительным. Но вдруг толпа отшатнулась. Вынырнул взвод приморских драгун в канареечных бескозырках. Коляска Дубасова плавно ехала в двух шагах от Вноровского. Дубасов поднял к козырьку руку. Адъютант к кому то обернулся, улыбаясь. Но уже неся замыкающий взвод драгун. И только тут Вноровский, недалеко, на извозчике увидал полного, безобразного человека в черном пальто и цилиндре, с папиросой в зубах. Извозчик Ивана Николаевича скрылся. Но вдруг раздался глухой, подземный гул...

Это, увидав выехавшую из Чернышевского переулка на Тверскую площадь коляску Дубасова, уже готовую скрыться в воротах дворца, бросился наперерез ей седой лейтенант, швырнув под рессоры коробку конфет.

Тяжело дыша, не разбирая, сколько он сунул извозчику, Азеф в кафе Филиппова на Тверской в изнеможении и испуге опустился у столика. Вокруг кричали люди — «Генерал-губернатор! Убит! Дубасов!»

На торцах площади у дворца, возле убитых рысаков валялся, разорванный в куски, адъютант Дубасова граф Коновницын. Поодаль, с седой головой, странно раскинул руки окровавленный труп молодого лейтенанта.

Раненого Дубасова вели под руки в покои дворца.

В полчаса девятого генерал Герасимов ждал Азефа. Генерал ходил по паркетной зале, был в военном. Шпоры звенели отрывисто, доносясь во все шесть комнат. Судя по заложенным за спину рукам и слишком быстрому звону шпор, генерал был взволнован и в нетерпении.

Когда в передней раздался звонок, генерал полужлобно протянул — «аааааа».

— Я запоздал, — глухо говорил Азеф, отряхивая капли дождя с цилиндра.

— Я вас жду полчаса.

Азеф кряхтя снял пальто, кряхтя повесил на вешалку, потирая руками лицо, пошел за Герасимовым. С виду он был спокоен. Генерал же напротив шел, готовя жестокие слова.

— Потрудитесь сказать, где вы были во время покушения, Евгений Филиппович? — проговорил Герасимов, когда меж их креслами стал курительный прибор.

— В Москве, — доставая из кармана спички, сказал Азеф. — Даже был арестован в кофейне Филиппова, что не особенно остроумно. Я выехал, чтоб захватить дело.

— И не ус-пе-ли? — расхохотался злобно Герасимов. — Дубасов спасся чудом! Коновницын убит на глазах всей охраны! Вы понимаете или нет, что мне скажут в министерстве?!

— Ну, знаю, — лениво проговорил Азеф, — но что вы от меня хотите, я не Бог, я не давал вам слова, что революционеры никого никогда не убьют, это неизбежно...

— Не финтить! — в бешенстве закричал Герасимов. — Забываете?!

Дым заволакивал лицо Азефа, оно становилось каменным.

Герасимов замолчал, стараясь подавить бешенство.

— Евгений Филиппович, — проговорил он тихо, — в нашей работе всё построено на доверии. Сегодня в департаменте Рачковский заявил, что московское дело — ваше. Скажите прямо: — у вас были данные, что покушение назначено на время парада? — и серостальные глаза не выпускали черных глаз Азефа.

— Либо вы мне верите, либо нет, — лениво сказал Азеф. — Я хотел захватить всё дело, Дубасов сам виноват.

Я указал маршрут, сказал, чтоб из предосторожности выезжали на Тверскую из Брюсовского, а они выехали из Чернышевского.

Герасимов похрустывал пальцами, смотря в пол.

— Кто ставил дело?

— Не знаю.

— А я знаю, что Савинков! — закричал Герасимов.

— Возможно, — пожал плечами Азеф, — в ближайшие дни узнаю.

— Я уверен. Но понимаете вы, что получается, или нет? Вы просили не брать Савинкова, потому что он вам нужен. Я не брал. А теперь? Мы с вами ведем сложнейшую канитель, а Савинков на глазах всей Москвы убивает? Так мы ни черта не вылушим, кроме как самих себя! Рачковский, будьте покойны, намекнет кому надо.

— Это будет сознательная ложь с его стороны. Но если вы этому верите, то арестуйте меня, — и Азеф стряхнул пепел в никелевую пепельницу на приборе.

В комнате наступила большая пауза.

— В Москве я узнал, что в Петербурге хотят готовить на Дурново, повели наблюдение трое извозчиков.

Герасимов подошел к письменному столу.

— Один живет на Лиговке, улицу не знаю, брюнет, еврей, но мало типичен, выезжает на угол Гороховой в три часа. Другой — газетчик, лохматый, русский, в рваном подпоясанном веревкой тряпье, почти как нищий, у Царскосельского вокзала. Дурново не должен ездить в карете, пусть идет пешком. И в пути принимает меры предосторожности, не то будет плохо.

Азеф сидел спокойно, заложив ногу на ногу, виден был розовый носок. Ботинок острый, лакированный на высоком каблуке.

— Есть еще?

— Послезавтра дам точные данные, сможете взять.

Взволнованность Герасимова, как будто, прошла. Он знал, что сказать в министерстве, и сложив блокнот, вставил в него карандаш.

— Вы ручаетесь, что с Дурново не повторится дубовская история?

— Будем надеяться, — пожал плечами Азеф. Но вдруг

увидал, что генерал улыбается и пипка на его щеке заметалась.

— У меня есть терпение, но не столько, как вы думаете. И ума больше, чем кажется. В данном случае мои условия коротки: всех боевиков на Дурново сдать. Если хоть одно покушение будет удачно и ваша роль также неясна, как в Дубасове, не пожалею. Дубасова запишем а конто революции. Больше таких не будет, ни одного. Савинкову гулять довольно. Не допущу, чтоб шлялся по России и убивал, кого ему нравится. Не позднее этого месяца я его возьму. Ваше дело обставить шито крыто.

— Хорошо, — проговорил Азеф, — только его брать надо не здесь.

— Отошлите. Говорили, что хотели ставить на Чухнина? Вот и пошлите. Мы отсюда отправим людей.

Азефу показалось, что генерал выбивает из под него табуретку и он повисает в петле.

— Подумаю, — проговорил он, — только не понимаю вашего отношения. Запугиванье. Я не мальчик. Не хотите, не буду работать, я же вам обещал...

— Ээээ, батенька, обещаньями дураков кормят.

Азеф вынул платок, отер лоб.

— Так работать нельзя, — пробормотал он, — нужно доверие.

У него было тяжелое дыханье. Ожиренье.

— Я не получил еще за прошлый месяц, — глухо сказал Азеф.

— Дорогоньки, Евгений Филиппович.

С Невы дул ветер. Из мокрой темноты летели колкие капли. На тротуаре Азеф огляделся. В направлении Летнего сада стлалась темная даль Петербурга. По Фонтанке он прошел к Французской набережной. На Неве разноцветными огнями блестели баржи. Открыв зонт, Азеф пошел к Троицкому мосту.

14

Перед созывом Государственной Думы, волнуясь в табачном дыму, боевики собрались на заседание в охряном домике Азефа. Комната прокурена. На столе бутылки пива. Облокотившись локтями о стол, тяжело сидел уродливым изваянием Азеф. Абрам Гоц развивал план взрыва дома министра внутренних дел Дурново. Он походил на брата,

но был моложе и крепче. В лице, движениях был ум, энергия. Чувствуя оппозицию плану, он горячился.

— Если мы не можем убить Дурново на улице, если наши методы наблюдения устарели, а Дурново принял удесятеренную охрану, надо идти ва банк. Ворвемся к Дурново в динамитных панцырях!

— Иван Николаевич, ты как? — сказал Савинков.

Азеф медленно уронил слова:

— Что ж план хорош, я согласен. Только в открытых нападениях руководитель должен идти впереди. Я соглашаюсь, если пойду первым.

Родилось внезапное возбуждение.

— Не понимаю, Иван! — кричал Савинков, размахивая папиросой. — Какой бы план не был, мы не можем рисковать головой организации!

— Невозможно же, Иван Николаевич!!

— Я должен идти. И я пойду, — пробормотал Азеф.

В дыму, в криках, в запахе пива поняли все, что воля главы Б. О. не ломается, как солома. А когда разбитые бесплодностью заседания, боевики выходили, Азеф задержал Савинкова.

— Надо поговорить, — пророкотал он и сам пошел выпустить остальных товарищей из охряного домика.

15

Оставшись один в комнате, Савинков растворил окно: — чернели силуэты деревьев. Комната вместо дыма, стала наполняться смолистым запахом сосен.

Азеф вернулся ласковый. Он лег на диван. Савинков стоял у окна. Так прошла минута.

— Какая чудная ночь, — проговорил, высовываясь Савинков. И в саду его голос был слышнее, чем в комнате.

Азеф подойдя, обнял его, и тоже высунулся в окно. Но быстро проговорил:

— Ну, ладно, брось лирику.

Окно закрылось, занавесилась штора.

— Устал я очень, Борис, — сказал Азеф, — жду возможности сложить с себя всё, больше не могу.

— А я не устал? Все мы устали.

— Ты — другое дело. На тебе нет такой ответственности, — зевнул Азеф, потер глаза и потянулся. — Но как бы то ни было, до сессии Думы надо поставить хоть два

акта, иначе чепуха. Жаль, что Дурново не дается, не понимаю, почему началась слежка, всё шло хорошо, теперь ерунда какая то. По моему надо снять их всех, как ты думаешь?

— Судя по всему, наблюдение бессмысленно.

— Я тоже думаю. Мы их снимем.

Азеф словно задумался, потом заговорил с неожиданным волнением.

— Что же тогда из нашей работы? Дубасов середина на половину. Дурново не удастся. Акимов не удастся. Риман невыяснено. Что ж мы, стало быть, в параличе? ЦК может нам бросить упрек и будет совершенно прав. Израсходовали деньги и ни черта. Остаются гроши. Надо просить, а вот тут то и скажут: — что же вы сделали?

— Не наша вина.

— Это не постановка вопроса, чья вина. Важно дело. Я думаю послать когонибудь к Мину или Риману прямо на прием. Яковлев, например, лихой парень, подходящий. Но в Питере вообще, знаешь, дело дрянь. Как ты думаешь насчет провинции?

— Можно и в провинции.

— Зензинов говорит, что Чухнина убьют. А я не верю. Не убьют. А Чухнина надо убить. Это подымет матросов.

Савинков молчал.

— Ты как думаешь?

— Следовало бы.

— Надо послать кого-нибудь. Только кого?

Савинков сидел, небрежно развалясь в кресле. Лицо длинно, худо, грудь впалая, плечи узкие. Азеф ласково глядел на него.

— А знаешь, что, Иван, — улыбаясь проговорил Савинков. — Давай я поеду на Чухнина? Крым я люблю, полгода прекрасная.

— Ты? — задумался Азеф, — а как же я без тебя?

— Ну, как же? Что ж у тебя без меня людей нет?

— Они все не то, — сморщился Азеф.

— Так все уже и не то! — засмеялся Савинков, ласково ударяя по плечу Азефа.

— А что? Тебе хочется съездить в Крым?

— Отчего же? Говорю, я люблю Крым, взял бы Двойникова, Назарова.

— Не знаю. Нет, Борис, я без тебя тут совсем развинулся. Впрочем, если ты хочешь...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

В одиночной камере севастопольской гауптвахты Борис Савинков стоял на табуретке и, положив на высокий, узкий подоконник руки смотрел в квадратный кусок голубого неба.

Уже с Харькова ему показалась слежка. Но Назаров и Двойников разуверили. В Севастополе в гостинице «Ветцель», где он остановился под именем подпоручика в отставке Субботина, подозрителен был рябой швейцар. Но счел за свою мнительность. Да и действительно в день коронации всё произошло невероятно глупо.

День был жаркий. Савинков ушел к морю. На берегу лежал, смотря на выпуклую, серебрящуюся линию горизонта. Волны ползли темными львами, шуршали пеной о мягкую желтизну песка. Бежали парусники. Вдали нарисовался кораблик, как игрушка. Савинков долго лежал. Потом, по пути в гостиницу, услышал удар. «Бьет оружие», подумал. И вошел в вестибюль «Ветцеля». Но на лестнице кто-то крикнул: — Застрелю, как собаку! Ни с места! — И площадка наполнилась солдатами.

Савинкова крепко схватили за руки. Совсем близко было лицо поручика с выгоревшими усами. Поручик в упор держал черный наган. Савинков видел сыщика с оттопыренными ушами и бельмистами глазами. Но сыщика оттолкнул поручик, потому что он наступил в свалке поручику на ногу. — Ведите для обыска! — закричал поручик. И Савинкова втащили в номер и начали раздевать.

2

Сознание, что именно он, а никто другой через день будет повешен, перевернуло в душе всё. Стоя у окна, смотря в решетчатый, голубой квадрат, Савинков ощущал полную оторванность от всего. Всё стало чуждо, совершенно не нужно. Нужнее всего было это окно.

«Буду болтаться, как вытянувшаяся гадина, и эта гадина будет похожа на Савинкова, как неудавшаяся фотография». — Савинков слез с табурета, прошелся по камере, заметил, что в двери заметался глазок. «Подсматривают», — остановился он и стало смешно. «Я в синем халате, в дурацких деревянных туфлях, чего же подсматривать?». И, прорезая сознание, резко прошла мысль: — «Всё равно. Осталось держаться на суде так, чтобы все знали, как умирал Савинков».

«Гадость», — думал он, — «повесят». Вспомнил, давно в именин рабочие вешали какую-то собаку. Пес извивался, когда ташили, вился змеей в петле, потом протянулся, высунув язык. Рабочий подошел, дернул за ноги, в собаке что-то хрустнуло. Оборвалось сухожилие что ли...

В коридоре слышались шаги ошпоренных ног. Винтовки звякали, прикладами ударяясь о каменный пол.

«Идут».

Шаги и голоса затоптались у двери. Завертелся ключ. Савинков увидел на пороге караульного офицера.

— Приготовьтесь к свиданию с матерью.

Меж любопытно смотревших солдат с винтовками, вошла старая женщина, не в шляпе, как представлял ее себе Савинков, а в косынке, с седыми висками. И вдруг, старая женщина, его мать закачалась. Савинков бросился к ней, застучав по полу туфлями. Упав ему на руки Софья Александровна Савинкова резко, странно, высоко закричала.

— Мама, не плачь, наши матери не плачут.

Солдаты у дверей смотрели деревянно. Громадный дедина даже улыбнулся.

— Каков бы приговор не был, знай, я к этому делу непричастен. Смерти я не боюсь, я готов к ней.

«Боже мой, Боже мой, как он худ», — думала Софья Александровна.

— Боря, дело получило отсрочку, приехали адвокаты, завтра будет Вера, я получила телеграмму.

— Свидание окончено.

Ощувив на губах смоченные слезами, морщинистые щеки матери, он выпустил ее из рук. Софья Александровна тихо вышла, окруженная солдатами.

Через полчаса, в уборной Савинков увидел Двойникова. Выводные курили, толкуя о смене Белостокского полка Литовским. И эта смена им была нужна и интересна. А Савинков говорил обросшему колючей бородой Двойникову:

— Эх, Шура, это пустяки, что отсрочка, ну повесят стало быть не 17-го, а 19-го.

— Повесят? — дрогнувше пробормотал Двойников. — Всех? И Федю?

— И Федю.

— И вас?

— И меня.

Кивнув вниз головой, словно от короткого удара, Двойников тихо произнес:

— Федю жалко. — Помолчав добавил: — Часы при обыске взяли. Не отдадут.

— Часы теперь ни к чему, Шура.

Выводной сплюнул и крикнул:

— Ну ребята, айда!

Всё было ясно: — виселица. Но всё смешалось, когда в камеру ввели Веру. Ее глаза показались настолько испуганными, что Савинков думал: — не выдержит, упадет. Но, обвив его шею, Вера прошептала: «приехал Николай Иванович», и крепко, неотрывно целуя его, зарыдала.

Это было отчаянно-невероятно. Если б переспросить?! Вглядываясь в любящее лицо, в темные испуганные глаза, Савинков понял, что не ослышался: — «Николай Иванович» — Лев Зильберберг, глава териокской мастерской, у которого двухмесячная дочка.

— Свидание окончено.

Но это ж секунда, в которую запомнилось лишь выражение глаз. В глазах Веры слезы, отчаянье и что то еще. «Неужто надежда?» — думал Савинков, ходя по камере. — «Почему Зильберберг? Может быть перепутала, вместо Николая Ивановича — Иван Николаевич? Азеф?» С страшной силой желанье свободы и жизни прорезало всё тело. Савинков даже застонал.

На конспиративной квартире ЦК, в традиционном дыму, слушая план Зильберберга, Чернов был рассеян. Азеф

насуپленно молчал. Натансон, отмахнувшись, толковал с приехавшим из провинции крестьянином.

Зильберберг кипел. — Я требую от имени боевиков! — кричал Зильберберг. Но почему Льву Зильбербергу пришла в голову сумасшедшая мысль освободить из крепости Савинкова? Он меньше других знал его. Только однажды, на иматрской конференции боевиков, на праздничном обеде, Савинков на пари писал между жарким и сладким два стихотворения. И когда читал, веселей всех радовался такой талантливости боевик Зильберберг.

— Требую, — ухмылялся Чернов Азефу, — требовать то все мы мастера. Молодо-зелено, Иван. Ну как там его из крепости освободишь?

— Товарищи! — заговорил Азеф, — я глава террора и друг Бориса, но должен сказать, как мне ни дорог Борис, я высказываюсь против плана освобождения. Надо знать, что такое крепость и что такое охрана в крепости. Эмоции — это не резон, чтобы мы теряли бешеные деньги. К тому же вместе с деньгами потеряли бы и таких работников, как Николай Иванович. Мы ими не богаты. Наша единственная цель — революция. Мы не имеем права идти на сантименты даже по отношению к Савинкову. Да, я первый бы пошел спасать его, но у нас нет сейчас средств спасения, поэтому и нечего строить испанские замки.

И всё же Зильберберг зашивал в пояс деньги, и конспиративные адреса, торопясь поспеть к поезду.

6

Жандармские офицеры за столом были в парадной форме, в густых эполетах, в аксельбантах, с орденами. Заседание красиво-одетых людей казалось торжественным. Во фраке с белым пластроном, бритый адвокат поблескивал стеклами пенснэ. Впечатления торжественности не портил.

— Суд идет! Встать!

Председатель генерал Кардиналовский сказал низким басом: — Введите подсудимых!

Колыхнулась дверь. Блеснули сабли. Среди сабель шел легкой походкой, в руке с розой, Борис Савинков. Конвойные были выше его ростом. Увидев среди публики Веру и мать, Савинков улыбнулся им и кивнул головой.

Сзади, Двойников и Назаров ступали тяжелее. Брови сжаты, лица сведены.

— Подсудимый встаньте! Ваше звание, имя и отчество?

— Потомственный дворянин Петербургской губернии Борис Викторович Савинков.

Вера не слыхала ответов других подсудимых. Видела только, что встают, говорят, «Господи», прошептала она.

Из-за стола защиты поднялся адвокат Фалеев во фраке, поблескивая пенснэ. Непохоже на военных заговорил: — Смею указать суду, что на основании законов военного положения данное дело не согласно закону передано военному суду генералом Каульбарсом. Оно могло быть передано только адмиралом Чухниным. Таким образом совершенная неправильность является, с точки зрения права, кассационным поводом...

В противоположном углу поднялся прокурор. Худ, желт, черноглаз. Тоже поблескивает пенснэ, но язвительно: — Это является формальным моментом судопроизводства. И нам решительно безразлично, каким путем дело дошло до военного суда — говорил прокурор раздраженно, словно скорей хотел убить Савинкова, Двойникова, Назарова и Макарова, покушавшегося на адмирала Неплюева, смешного шестнадцатилетнего юношу, который сидя на скамье, чему-то улыбался.

— Суд удаляется на совещание.

Савинков обернулся к жене и матери. Вера сидела закрыв лицо платком.

— Суд идет!

Генерал Кардиналовский громко произнес басом:

— Суд признал дело слушанием продолжать.

Вера видела чуть сгорбившуюся спину и затылок Савинкова. Из-за стола защиты поднялся фрак адвоката Л. Н. Андронникова. Голос Андронникова резче, манеры острее.

— Смею обратить внимание суда на происшедшее нарушение прав обвиняемого Макарова. Согласно закону подзащитный имел право двухнедельного срока на подачу отзыва на решение судебной палаты о его разумении, между тем прошло лишь четыре дня. Таким образом права обвиняемого Макарова я должен считать нарушенными, если суд не признает дело слушанием до истечения положенного срока отложить.

— Суд удаляется на совещание!

«Уважат», — говорили в публике, — «Едва ли». Прямыми шагами в зал входил генерал Кардиналовский. Наступила полная тишина. Вера слышала: скрипит спинка ее стула. Генерал читал: — Принимая во внимание статью, принимая во внимание указанное, а также в подтверждение сего, принимая параграф... суд признал дело рассмотрением... отложить.

Звон сабель, крик, шум. Конвой оттеснял метлешащиеся фракы. Подсудимых уводили среди блестящих сабель, в белую дверь.

7

Радостней всех из зала суда выбежал худой, красивый брюнет. Он почти побегал, торопясь на Корабельную, где жил в семье портового рабочего Звягина в полуподвальной комнате.

Но лишь только Зильберберг, пригнувшись в сенях, перешагнул порог подвала, навстречу ему метнулись испуганные лица Звягина, жены и девятилетней Нюшки. А за ними в темноте сверкнула военная форма и двинулась высокая фигура.

Зильберберг сунул руку в карман за револьвером и отшатнулся. Дверь захлопнулась, стало темно.

— Вы, Николай Иванович? — проговорил в темноте голос.

— Кто вы и что вам нужно?

— Я член симферопольского комитета партии — Сулятицкий. Хочу говорить по интересующему вас делу.

Голос молодой, полный веселья. В последних словах Зильберберг различил почти что смех.

— Чорт бы вас побрал, — пробормотал Зильберберг. — Я вас чуть не ухлопал.

И когда раскрыли дверь, Сулятицкий увидел, что Зильберберг прячет в карман браунинг.

— Веселенькая история, — пробормотал он, — куда же мы пойдем?

— Пойдемте в мой «кабинет», — улыбаясь, сказал Зильберберг.

— А как ваши хозяева? Мы в безопасности?

— О, да. Не будем терять времени, мне через час надо уходить.

— Ваш комитет, — говорил Зильберберг, когда они

сели в подвальной каморке, — известил что вы придете завтра.

— Завтра не могу, наавтра я в карауле.

— В крепости?

— Да.

— Но позвольте, караул занят Белостокским полком, а вы Литовского?

— Мы сменяем. Не волнуйтесь, знаю, что установили связь с белосточанами. Литовцы будут не хуже.

Сулятицкий высок, силен, белокур, с большим лбом и яркими глазами. Он внушал к себе полное доверие.

— С вами, думаю, не пропадем, — говорил Зильберберг, глядя на веселого Сулятицкого. — Видите, у меня два плана. Первый — открытое нападение на крепость, как вы думаете?

Сулятицкий покачал головой.

— Не выйдет, — проговорил он. — Освобождать надо с подкупом и риском побега прямо из тюрьмы.

— Это второй план. Если вы отклоняете первый, обсудим второй.

Сидя на смятой, пятнастой кровати, застеленной лоскутным одеялом, они стали обсуждать второй план.

8

Савинков знал: гауптвахта охраняется ротой. Рота делится меж тремя отделениями. Общим, офицерским и секретным, где содержатся они. Коридор с двадцатью камерами он досконально изучил, проходя в уборную. С одной стороны он кончался глухой стеной с забранным решеткой окном. С другой кованной железом дверью, ведущей в умывальную. Дверь эта всегда была на замке. В умывальную же с четырех сторон выходили: — комната дежурного жандармского унтер-офицера, кладовая, офицерское отделение и кордегардия. А из кордегардии — знал Савинков — единственный выход к воротам.

Но в секретном коридоре на часах стоят трое часовых. У дверей в кордегардию двое. У дверей в умывальную двое еще. Между внешней стеной крепости и гауптвахтой тянутся бесчисленные посты. За внешней стеной опять протаптываются караульные. И стоят еще на улице, у пестрых, полосатых будок.

Это узнал Савинков у выводящего в уборную солдата

Белостокского полка Израиля Кона. Кон связал его с солдатом членом партии, и был готов помочь бегству, умоляя об одном, чтобы Савинков взял и его с собой.

Савинкову казалось: — всё налаживается. Но, встав утром, и условно кашлянув три раза, он заметил, что глазок в двери не поднимается. А попросясь в уборную, увидел незнакомых солдат.

— Какого полка? — спросил он, идя с конвойным.

— Литовского, — и по окающему говору Савинков понял, что солдат нижегородец.

«Повесят», — умываясь, думал Савинков.

— Чего размысля! — грубо проговорил нижегородец, здоровый парень лет двадцати двух.

Савинкову хотелось всадить штык в живот этому нижегородцу, затоптать его, вырваться наружу, к товарищам. Но вместо этого, он пошел обратно в камеру с нижегородцем.

И когда щелкнул замок, силы упали. Савинков лег на койку. Лежал несколько часов, даже не заметив, как повернулся ключ в замке и дверь отворилась.

На пороге стоял высокий вольноопределяющийся с смеющимися глазами.

— Я разводящий, — проговорил он. В лице, в смеющихся глазах Савинкову почудилась странность. Но Савинков не встал с койки, а еще плотнее запахнулся в халат.

— Я от Николая Ивановича, — проговорил, подходя, разводящий.

— Что? — проговорил Савинков.

— Чтобы вы не сочли меня за провокатора, — посмеиваясь, быстро говорил Сулятицкий, — вот записка, прочтите и скажите, готовы ли вы на сегодня вечером?

— Побег? — прошептал Савинков и кровь бросилась ему в голову.

Зильбергерг писал: — «Сегодня вечером. Все готово. Во всем довериться Василию Митрофановичу Сулятицкому».

Сердце забилося. Сидя на койке, Савинков сказал:

— Я готов. Только как же с товарищами? Шли вместе на виселицу.

— Я так и думал. Вы с ними получите свидание. Жандарм подкуплен, ровно в 12 дня проситесь в уборную. На-

заров, Двойников будут там. А теперь надо идти, итак до 11 ночи.

Когда Савинков остался один, им овладело страшное волнение. «Неужели вечером? свободен?» В такую быстроту появления Сулятицкого, в подкуп жандарма, в побег — не верилось.

Но время шло. Крепостные куранты проиграли 12. Савинков стал стучать в дверь. На стук подошел нижегородец.

— В уборную.

Дверь открылась. Савинков пошел с конвойным. В дверях уборной конвойного окликнул красноносый жандарм. Они заговорили. В уборной стояли Назаров, Двойников и Макаров.

— Товарищи, — быстро, тихо прошептал Савинков, — сегодня один из нас может бежать. Надо решать кому.

Наступило краткое молчание.

— Кому бежать? — проговорил грубовато Назаров, — тебе, больше говорить не о чем.

— Без вашего согласия не могу.

— Тебе, — проговорил Двойников.

Макаров тихо сказал:

— Я ведь вас не знаю.

Назаров наклонился к Макарову, шепнув ему что-то на ухо.

— Да? — радостно переопросил Макаров и по взгляду Савинков понял, что Назаров шепнул ему о Б. О.

— Конечно, конечно, вам, — глаза Макарова наполнились детским восторгом.

«Хорош для террора», — подумал Савинков.

— Что ж, товарищи, это ваше решение?

— Да, — проговорили все трое.

Секунду молчали.

— А как убежишь? — тихо сказал Двойников. — Часовых тут! Как пройдет? Убьют.

— А повесят? — баском проговорил Назаров, — всё одно, пуль то легче, беги только, — засмеялся он, показывая оплошные, желтоватые зубы. — А убежишь, кланяйся товарищам.

В уборную раздались шаги.

Они разошлись по отделениям уборной.

— Довольно лясы точать! — прокричал красноносый,

подкупленный жандарм. Савинков вышел из отделения, застегивая для виду штаны. И с нижегородцем пошел в камеру.

9

Но вечер не хотел приходить. Время плыло томительно. Савинков лежал на койке из расчета. Копил силы. Выданный на неделю хлеб весь сжевал. Иногда казалось, сердце не выдержит — разорвется.

Как только зашло за морем солнце, в камере сразу стемнело. В коридоре зажглись огни. Савинков слышал крики — «Разводящий! Разводящий!» — кричал видимо караульный офицер поручик Коротков. Потом кто-то закричал — «Дневальный! Пост у денежного ящика!» — Потом раздавались шаги, ударялись приклады, звякали винтовки.

Когда приоткрывался глазок, Савинков видел кружок желтого света. Вечер уж наступил. Савинков был готов каждую секунду. Вот сейчас, вот эти шаги остановятся у двери. Вот сейчас войдет Сулятицкий и они пойдут по коридору. Как? Савинков не представлял себе, не в халате наверное. Надо будет переодеться. А может быть тот самый часовой, что спокойно зевает, проминаясь у наружной стены, разрядит в спину Савинкова обойму и он скувырнется на траве также, как Татаров на полу своего дома.

Савинков чувствовал, сердце бьется неровными ударами, словно вся левая сторона груди наполнилась крылом дрожащей большой птицы. Куранты проиграли медленно, отчетливо выводя каждый удар: — 11 ночи.

«Ерунда. Не удалось», — подумал Савинков через час, поднимаясь с койки. В ожидании прошел еще час. В течение его куранты играли четыре раза: — четверть, полчаса, три четверти и наконец тяжело и гулко: — час!

«Кончено. В три светло. Остается полтора часа темноты. Обещал в одиннадцать. Если не придет через полчаса, надо ложиться». Савинков встал с койки, подойдя к столу бессмысленно взял жестяную кружку, посмотрел на нее. Кружка показалась странной. В это время услышал: — сильные, твердые шаги остановились у двери. Ключ повернулся может быть чересчур даже звонко. И в камеру чересчур может быть громко вошел Сулятицкий. Савинков понял: — побег сорвался.

Стоя посредине камеры, Сулятицкий закуривал. Закурив сказал:

— Ну, что ж, бежим?

— Как? Можно еще?

— Всё готово. Вот сейчас докурю, — проговорил Сулятицкий. Он был спокоен. Только глаза сейчас были темны.

— Послушайте, вы рискуете жизнью, — сказал Савинков, подходя к нему.

— Совершенно верно. Об этом я хотел предупредить и вас. А посему возьмите, — протянул браунинг.

— Что будем делать, если остановят?

— Солдаты? В солдат не стрелять.

— Значит назад, в камеру?

— Нет зачем же в камеру? Если офицер, стрелять и бежать. Если солдаты, стрелять нельзя. Застрелиться.

— Прекрасно.

— А теперь идемте, — вдруг сказал Сулятицкий, отбрасывая окурок, и Савинкову показалось, что он совсем еще не готов. Но Сулятицкий уже вышел и Савинков пошел за ним в коридор.

Коридор горел тусклым светом керосиновой лампы. Фигуры часовых у камер были сонны. Савинков увидал, что один дремлет, прислонясь к стене. Но рассматривать было некогда. Соображать было незачем. Он быстро шел за Сулятицким к умывальне.

Увидав разводящего, часовые вытягивались, оправляя пояса и подсумки.

— Спишь, ворона? — бросил Сулятицкий в умывальной. Вздвогнув, солдат не сообразил, что арестованного умываться водят не в два, а в пять и водит его жандарм.

— Мыться идет, болен, говорит, — бросил Сулятицкий другому. И тот ничего не ответил разводящему, что-то шевельнув губами. Когда же дошли до железной двери, Сулятицкий ткнул в живот смурыгого солдатенку и крикнул в самое ухо:

— Спать будешь потом, морда! Открой! — солдат быстро открыл железную дверь.

Савинков вошел в умывальную, стал умываться, размыливая квадратный кусок простого мыла. Справа, слева стояли солдаты. Он видел в отворенную дверь: — на деревянном желтом диване храпит подкупленный дежурный

жандарм, с упавшей на грудь головой и лампочка у него в комнате совершенно тухнет от копоти. Сулятицкий вышел в кордегардию осмотреть всё ли спокойно. Вернувшись, выводя Савинкова, сунул ему в темноте коридора ножницы и указал быстро на кладовую.

В кладовой Савинков с предельной быстротой сбросил халат, надел солдатские штаны, сапоги, гимнастерку. Пряжка ремня не застегивалась вечность. Но прошло всего четыре секунды.

Савинков вышел. Быстрее чем до этого они пошли прямо в кордегардию. Часть сменившихся солдат спала на полу. Воздух был зловонен. Часть солдат возле лампочки слушала чтение. По складам читал двадцатидвухлетний нижегородец: — «Го-су-дар-ствен-на-я ду-ма в по-след-нем за-се-да-ни-и»...

Кто-то посмотрел. Отвернулись, увидав разводящего. Они прошли по кордегардии и вышли в сени. Из сеней Савинков увидал: в караульном помещении сидел к ним спиной поручик Коротков, в полном снаряжении, с ремнями через плечи, шашкой, кобурой револьвера сбоку. Но наружная дверь была в двух шагах сбоку. Савинков почувствовал, как необычайно пахнет предрассветный воздух. Закружилась голова, он покачулся, задев локтем Сулятицкого. Но они молча, очень быстро шли. Часовой у фронта двинулся им наперерез. Увидав погоны литовского полка, остановился, повернул назад и было слышно, как он сладко и громко зевнул в ночи.

Они шли по длинному, узкому, каменному переулку. Еще нельзя было бежать, могли заметить часовые, но они уж почти бежали. В темноте уж видели сереющего своего часового, поставленного Зильбербергом — матроса Босенко. У Босенко от холода ночи и ожидания дрожали челюсти и били зубы.

— Скорей переодевайтесь, берите, — бормотал он, подставляя корзину с платьем. Но Сулятицкий проговорил: — Нет, нет, надо бежать, может быть уже погоня. — И втроем, повернув за угол, бросились бежать по направлению к городу. Они вбежали в начинающийся в рассвете севаstopольский базар. Торговки уставляли корзины с зеленью, фруктами. Шлялись матросы в белых штанах и рубашках. На бежавших никто не обратил внимания. Миновав

базар, они бросились по темному, но уж сереющему переулку.

Звягин и Зильберберг слышали, как спящая Нюшка что то бормочет во сне, на печи. У обоих были в руках револьверы. То тот, то другой выходили к калитке. Наконец первый Звягин услышал топот ног и, вглядываясь в сереющую темноту, разглядел быстро увеличивающиеся три темные фигуры. Он вбежал в квартиру.

— Николай Иванович, здесь!

Зильберберг вскочил, бросился к выходу, сжимая револьвер. Но в двери уж один за другим вбегали: — Савинков, Сулятицкий, Босенко.

Зильберберг схватил Савинкова. И как были оба с револьверами, они надолго, крепко обнялись.

— Скорей переодевайтесь, Босенко вас проведет к себе, тут опасно.

— Да што опасно, пусть тут, Николай Иванович.

— Нет, нет, Петр Карпыч, ты брось, дело надо делать по правильному.

Савинков в торопливости не попадал ногой в штанину поношенной штатской тройки, какие носили севастопольские рабочие.

10

В береговом домике пограничной стражи блестел желтый огонек, закрываемый в ветре кустами. Мимо стражи до шлюпки по воде добрались беглецы. И вот уж крепкими мозолями травил и снова выбирал шкот Босенко. Командир бота, отставной лейтенант флота Никитенко, приложив ладони к глазам, всматривался в темную даль, где прыгали волны бунтующего моря.

Ночь была темна, ни зги. Ветер рвал черный, отчаянный. Меж круглыми, тупыми холмами, обрывающимися к морю рыхлыми скатами, шлюпка по Каче уходила в открытое море.

— Отдай шкоты! — басом кричал Никитенко. Парус полоскался в темноте ветра, как черный флаг. На шкотах сидел Босенко. Шкот второго паруса на баке держал студент Шишмарев. Савинков, Зильберберг, Сулятицкий сидели на банках. Море было бурно. В темноте далекого горизонта мелькали огни.

— Эскадра, — проговорил Никитенко.

— Для стрельбы, — ответил Босенко.

Но ветер уж налетел, уперся в парус и нес раскачивая шлюпку с Савинковым, Зильбербергом, Сулятицким дальше и дальше в открытое море.

— Куда держим курс?

— На Констанцу.

— А дойдем?

— За это не ручаюсь, — сказал Никитенко.

Волны подбрасывали шлюпку, ударяли с обеих сторон по дну, словно кто-то бил ее мокрыми ладонями. И снова — такой же шлепок, плеск, качанье. И так в темноте — всю ночь.

А когда пришел морской, серый рассвет, обернувшись на север, Савинков увидел едва видневшиеся очертания Яйлы.

Через несколько часов исчезли и они. Шлюпку охватило открытое море. Ветер свежел. Волны перелетали, обдавая солью брызг и пены. Лейтенант Никитенко становился беспокойнее.

— Босенко, говорил он, — видишь дымок? иль мне так кажется? — Обо всем Никитенко говорил только с матросом. Штатские на море были у него в гостях.

— Дымок, — проговорил Босенко, вглядываясь на север.

Никитенко приложил бинокль.

— Шесть человек повернулись на север с чувством их настигающей опасности. Но в бинокль было видно, как уже близившийся миноносец, положив лево руля, прочертил вдруг быструю дугу и стал уходить.

И снова в порыве ветра, когда налетал он вместе с кучей пенистых волн, Никитенко кричал:

— Отдай шкоты!

Босенко травил шкот. В ветре полоскался белый парус. Пассажиры изредка переговаривались.

Во вторую ночь, когда усталый Зильберберг, прислонившись к Савинкову, спал, Никитенко пробормотал:

— Как хотите, до Констанцы не дойти.

— Куда же? — спросил Сулятицкий.

— Надо по ветру на Сулин.

— А из Сулина куда денемся? — проговорил Савинков. — Накроют в Сулине, выдадут.

Шлюпку рвало, метало в стороны. Волны неслись круглыми, пенистыми шарами, прыгавшими друг на друга.

— На Констанцу не поведу — верная гибель, — проговорил Никитенко. — Начинается шторм. А из Сулина проберетесь как-нибудь.

И шлюпка запрыгала меж волн по ветру. К вечеру третьего дня показались огни маяков. Осторожно меж мелей плыла шлюпка. Чем ближе чернел берег, быстрее скользила она по ветру. Уже смякли, упали паруса. Босенко с Шишмаревым в темноте подняли весла. Все молчали. Прошуршав по песку, шлюпка привскочила и встала. На чужой, пологий берег выпрыгнули три темных фигуры. Шлюпка, скользнув, скрылась в темноте.

11

В средневековом романтическом Гейдельберге умирал русский революционер Михаил Гоц. Гоц уж не мог даже сидеть в кресле. Он давно лежал, похожий на высохший труп. Светились только глаза, но и они слабели.

— Дорогой мой, дорогой... как я... — старался подняться Гоц, но Савинков склонился к нему.

— Если б вы знали, как я мучился...

«Умирает», — подумал Савинков.

— ...негодовал, ведь вы поехали... не имея права... Было постановление временно прекратить террор... вы знали?

— Я всё равно бы поехал, Михаил Рафаилович. Ведь боевая была в параличе.

— Была, — улыбнулся синими губами Гоц, — теперь она в полном параличе. Ничто не удастся. Иван Николаевич выбился из сил. Ни одно дело. Всё проваливается... Максималисты на Аптекарском, взрыв — читали? Бессмысленно... ужасно. Такие отважные смелые люди... Но вы знаете прокламацию нашего центрального комитета, осуждающую этот акт? Не читали?.. — Гоц заволновался, и бессильно откинулся, закрыв глаза. — Очевидно меня уж считают погрешным, — тихо сказал он. — Я ничего не знал о прокламации. В ней резко, не по товарищески, мы отмежевываемся от максималистов, после их геройского акта, после жертв, смертей...

— Но кто же ее писал?

— К сожалению, Иван Николаевич...

— Азеф??

— Я ничего не понимаю... он наверное устал, неудачи его измучили. Иначе не объясняю, позор... — Гоц сморщился от внутренней боли и застонал.

Глядя на него Савинков думал о том, что в чужом городе, в чуждой, размеренно текущей жизни, умирает брошенный, забытый, никому уже ненужный товарищ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Всё смешалось вокруг Азефа. Никто не знал, что глава боевой не спит по ночам. Кто б подумал, что этот каменный человек труслив и способен предаться отчаянью. Азеф боролся с боязнью. Но умная голова, как ни раскладывала карты, как ни разыгрывала ровер, — выходило неизбежное разоблачение. Но Азеф боялся не разоблачения, а смерти. Чтоб не повесили, как Гапона, не убили, как Татарова. Ночью представляя, что, во главе с неожиданно освобожденным Савинковым, его тащат товарищи убивать, Азеф зажимурил глаза, тяжело вздыхая громадным животом, под тяжестью которого лежал в постели.

«Всё складывается подло», — думал он, — «Мортимер, максималист Рысс, став фиктивным провокатором, передал в партию обо мне. Об этом же пришли в партию два письма, вероятно, от обойденных Герасимовым чиновников. Как бы то ни было, недоверие начнет вселяться». Азеф клял Герасимова, что думая о своей карьере, он схватил его мертвой хваткой и не дает передышки. Страхи приводили к припадкам, с хрипами и мучительной икотой.

2

— Ээээ, полноте, Евгений Филиппович, я думал вы, батенька, смелее. Да, что там поднимется? Факты, фактики нужны! А фактиков нет! Да, если б и поднялось что, вас Чернов с Савинковым всегда защитят. Прошное за всё рушается. Дело то Плеве да Сергея Александровича не фунт изюму для партии!

Азеф недовольно морщил желтое жирное лицо.

— Я не при чем в этих делах, бросьте шутки, Александр Васильевич.

Герасимов только похлопывает его по толстому коле-

ну, похохатывает. Подпрыгивает на щеке генерала кругленькая пипка.

— Преувеличиваете всё, дорогой. Слышите, как новый кенар поет, а? Это к добру, батенька, к добру. Изумительней-шей-й кенар!

Азефу противна птичья комната генерала. Не за тем он пришел. Отчего только весел генерал Герасимов?

— Я, Евгений Филиппович, думаю вот что, с террором, батенька, надо под-корень ударить. Отдельные выдачи ничего не дают. Ну, что, отдали Северный летучий отряд, ну повешу лишних десять негодяев, не в этом музыка. Распустить надо, официально распустить, понимаете? Устали, скажем, не можете, уехали за границу, сами говорили, без вас дело не пойдет. Деньги дадутся, будьте покойны, ну, вот бы...

Азеф лениво полулежал в кресле, он казался больным, до того был обмякш, жирен, желт.

— Я к вам по делу пришел, — проговорил он, раздувая дыханьем щеки, — можно сделать большое дело, только говорю, это должно быть оплачено. После этого я действительно решил уехать за границу. Мне нужен отдых.

— Я же вам сам говорю.

Азеф молчал. Затем поднял оплывшие глаза на Герасимова и медленно проговорил:

— Ведется подготовка центрального акта. Отставной лейтенант флота Никитенко, студент Синявский. Для совершения акта Никитенко вступил в переговоры с казаком, конвойцем Ратимовым.

— Ра-ти-мо-вым? — переспросил генерал.

— Возьмите конвойца в теплые руки, всё дело захвачено. Сможете вести, как хотите, через конвойца свяжетесь с организацией. На таких делах жизнь строят, — лениво рокотал Азеф. — Около этого дела выются Спиридович и Комиссаров, но они ни черта не знают. Берите завтра же Ратимова и дело ваше.

Силен, хитёр, крепок, — какой корпус! — у генерала Герасимова. Проживет сто лет. Бог знает, чему слегка улыбается. Может, скоро сядет на вороных рысаков, мчась по туманному Петербургу. Ведь это же личный доклад царю, спасение царской жизни!

— Кто ведет дело, Евгений Филиппович? — прогово-

рил генерал и серостальные глаза схватили выпуклые, ленивые глаза Азефа.

— Я сказал же, Никитенко, отставной лейтенант. Да, вам никого не надо, берите Ратимова.

Глаза не сошли с глаз Азефа. Генерал соображал, с каким поездом завтра выедет в Царское, как удобней возьмет дворцового коменданта генерала Дедюлина, чтоб не выдать игры.

— Вы говорите, Спиридович и Комиссаров вьются? Но знать о деле не могут?

— Нет.

О, у генерала Герасимова много силы и крепки нервы!

— Когда же вы за границу? Вы с женой? То-есть простите, если не ошибаюсь ваша жена партийная? А это страсть. Ну, оцениваю, оцениваю, роскошная женщина. Колоссальное впечатление! Если не ошибаюсь, ведь «ля белла Хеди де Херо» из «Шато де Флер»? Знаю, знаю, как же страсть вашу даже великий князь Кирилл Владимирович разделил, — ха-ха-ха!

— Не знаю, — нехотя бормотнул Азеф. У него ныли почки.

3

— Борис! Борис! — вскрикнул Азеф, и все увидели, как Азеф зарыдал, обнимая Савинкова. Три раза близко перед лицом Савинкова мелькало желтое, толстое лицо, когда целовали влажные, пухлые губы.

— Позволь познакомиться, Иван — Сулятицкий, Владимир Митрофанович, мой спаситель от виселицы.

— Счастлив, счастлив. — Глаза каменного человека засветились лучисто, мягко, лицо приняло ласковое, почти женское выражение. — Этого мы вам никогда не забудем, ведь спасение Бориса для нас...

— Я уже придумал ему кличку, Иван, по росту, — засмеялся Савинков, — он у нас будет называться «Малютка».

Но каменное лицо мрачнее и глаза ушли под брови.

— Разве вы хотите работать в терроре?

— Да.

— Гм...

Савинков хорошо знает этот пронзительный взгляд и недоверчивое просверливание.

— А почему именно в терроре? Почему не просто в партии, нам нужны люди...

— Я хочу работать в терроре.

— Ну, это мы поговорим еще, правда? — улыбается мягко Иван Николаевич и говорит уже о постороннем. Только изредка вскользь видит на себе пронизывающие глаза Сулятицкий.

— Ха-ха-ха! А ты все такой же! Ничуть не изменился! Тебе крепость на пользу пошла, ей Богу, ха-ха-ха-ха! — и грудa желтого мяса, затаенная в модный костюм, трясется от высокого смеха.

4

Кабинет ресторана «Контан» мягко освещен оранжевыми канделябрами. Из-за стены несется прекрасный вой гитар и скрипок. Когда смолкают, запекает мужской, перепитый, полный чувства голос.

— Ну, рассказывай, — говорил Азеф, наливая бокалы.

Савинков, меж едой и вином, с блеском и даже с юмором рассказывал о крепости, побеге, о бегстве морем в шлюпке с Никитенко. Азеф нетерпеливо перебивал.

— Молодец Зильберберг! молодец! Я ведь не надеялся, даже знаешь возражал, это ужасно, ужасно...

Азеф был с Савинковым нежен. Таким Савинков знал его. Но когда настала очередь Азефа рассказывать, он обмяк, подобрал без того бесшейную голову в плечи, нахмурился.

— Я же говорил тебе, без тебя мне совсем трудно. ЦК критикует бездействие. А попробовали бы сами. Чем я виноват, что наружное наблюдение ничего не дает, что Столыпин охраняется так, что его даже увидеть не могут. Почти все товарищи говорят о слежке за ними. Нет, Борис, уж таких товарищей, как Каляев и Егор, все мелочь, я уверен, что многие врут, что замечают слежку, уж что то очень сразу все стали замечать. Я не верю. Я так устал из-за этого. Как ты думаешь, что бы сделать для поднятия престижа Б. О., а?

Азеф смотрел на Савинкова прямо, как редко на кого смотрел. Он хорошо знал Савинкова.

За стеной неся рокот, стон инструментов, гортанные выкрики. Кто-то отплясывал, слышались тактовые удары быстрых ног.

«Цыганскую пляшут», — подумал Савинков.

— Что предпринять? — проговорил он, играя наполненным бокалом. — Вот, например, Сулятицкий предлагает цареубийство. Он поступит по подложным документам в Павловское военное училище. На производство всегда приезжает царь, он его убьет.

— Это неплохо, но не выпускают же юнкеров каждую неделю? Надо ждать чорт знает сколько времени. Это не поднимет боевую сейчас. А ЦК требует. Они ставят вопрос ребром — или прекращают финансировать или боевая должна перестроиться.

Снова взвизгнули томным визгом скрипки, гитары. Кто-то чересчур рвал гитарные струны, выкрикивал. Ах, застенные скрипки, русских отдельных кабинетов! Как любил их Борис Савинков. За одну ночь с цыганками, румынскими скрипачами отдавал много души и денег. И теперь его волновал кабак.

— Грозят прекратить финансирование?

— Ну, да. Они правы. Если организация не работает, за что же платить?

— Милый мой, мы не подряды берем.

— Ну, да, — недовольно пробормотал Азеф, — ты лучше посоветуй, что делать.

— Сразу трудно что-нибудь придумать. Постой, Иван, дай осмотреться, вот, например, Мин или Лауниц?

Азеф махнул рукой, надувая губы.

— Можно поставить, но ведь ерунда, нужен первостепенный акт, чтобы заговорила Европа, всколыхнулось все, вот что нужно, тогда будут и деньги.

Савинков налил шампанского в узкогорлые бокалы с золотым ободом. Грыз жареный миндаль и прислушивался к далекой музыке.

— Тут с тобой ничего не выдумаем, надо осмотреться.

Азеф вскинул на него темные, выпуклые глаза. Сидел, грузно облокотившись о стол.

— Знаешь, Боря, я так устал, да и ты, я думаю. Поставим дело перед ЦК так: — мы вести больше не можем, нам нужен отдых и выедем за границу.

— Совсем отказаться?

— Зачем совсем? Отдохнуть. Ведь это же невозможно,

ты пойми все в боевой и в боевой, не мясник же я, у меня тоже есть нервы.

— Но тогда кто-нибудь другой возьмет.

— Кто? Чернов, что-ли? — захохотал трескающимся смехом Азеф.

— Слетов может взять.

— Брось. За Слетовым пойдут товарищи? — лицо Азефа выразило презрение. — Я тебе говорю, кроме как за мной и за тобой боевики ни за кем не пойдут, ну, пусть на время приостановится террор, ты видишь, все равно ничего не выходит, одни провалы. Надо поискать новых средств, вот у меня в Мюнхене есть знакомый инженер Бухало, он строит какой-то не то воздушный шар, не то еще что-то, я думаю это может нам пригодиться, я уж вступил с ним в переговоры.

Снова за стеной запел мужской голос, заныли цыганские гитары.

— Собственно говоря, ты прав, отдохнуть надо, мы не железные, пусть попробует кто-нибудь другой. К тому ж наши способы действительно устарели, вон, максималисты перешли к новым способам и к ним уходят от нас свежие силы. Наш террор устал.

Азеф молчал. Разговор должен был кончаться. Он знал, в заседании ЦК Савинков выступит с заявлением о сложении полномочий. Он нажал кнопку звонка, изображавшего декадентскую женщину. Вошел мягконогий лакей.

— Ту же марку, — проговорил Азеф.

— Ты что мало пьешь? Я почти один выпил?

— Я могу пить каждый день, — улыбнулся Азеф, — а тебя в Крыму шампанским поди не поили.

Двери кабинета открылись. На пороге появились смуглый цыган наглого вида, в бархатном костюме, с гитарой в разноцветных, шелковых лентах и цыганка в пестром, таборном костюме. Идя к Азефу и Савинкову она певуче проговорила:

— Разрешат богатые господа?

Азеф только ухмыльнулся липкой мясистой губ. И пестрым гомоном, визгом, криком наполнился кабинет. Испитой старичек с хризантемистой головой стучал маленькими, желтыми руками по клавишам пианино. Цыганка спросила имена. Под два удара сверкнув глазами, повела:

«Ах, все ли вы в добром здравьи».

В оранжевом свете многих канделябр, как на елку в Рождество, грянули цыгане старое величание обращаясь к Савинкову.

«. вина полились рекой.

К нам приехал, наш родимый, Пал Иваныч дорогой!»

— Ииэх! Ииах! Ииэх! — трепет, дребезг ног по отдельному кабинету заглушил смех Савинкова. Он пил поднесенный цыганкой бокал. Пели цыганки, ныли гитары настоящими полевыми песнями. До рассветного, петербургского мглистого утра ходил коротенький, ожиревший в отдельных кабинетах цыган легкой пляской, в такт дрожавшей костлявой цыганке-подростку звенели бубенчики гитар, трепыхались разноцветные ленты.

— Здрóрово, Борис, а!? жизнь!! — говорил хмелевший Азеф.

— Да, хоть коротка, Иван, да жизнь!!

Выходя в синеве рассвета из ресторана, Савинков с удовольствием глотнул сырой воздух. Швейцар посмотрел на него пристально. Когда за ним пошел грузный Азеф, чуть заметная улыбка скользнула по лицу переодетого швейцаром филера.

5

Если б знать, откуда заносится удар? Тогда просто его отвести и отомстить ответным ударом. Но сколько на свете случайных и, казалось бы, невозможнейших гибелей.

Ну, кто б предположил, что в тот хилый петербургский день, когда Азеф на конспиративной квартире генерала Герасимова получал 10 тысяч за план его, генерала, карьеры, именно в этот день в редакцию журнала «Былое» к маленькому, узенькому с седенькой головой редактору Бурцеву вошел курчавоголовый брюнет в значительно более темных, чем у Бурцева, очках

— Простите, чем могу служить?

Вошедшему лет 28. Одет, как богатый петербуржец. Среднего роста. Ничего необыкновенного. Но какое-то движение воздуха, флюида какая-то изошла, — отчего приоткрыл рот, выставив два передних зуба, Бурцев.

— Я по личному делу, я вас очень хорошо знаю, Владимир Львович, — произнесли черные очки, при этом полезли в бумажник, вынув фотографию.

— Вот это вы, Владимир Львович, снимок я взял в департаменте полиции.

— В де-пар-та-мен-те? — удивленно проговорил Бурцев, еще больше выставляя зубы.

— Я чиновник особых поручений при охранном отделении. Но по убеждению я эс-эр.

Голова Бурцева наполнилась роем подозрений. Никакой уж флюиды уловить он не мог.

— Позвольте, зачем же вы пришли?

— Я был революционером. Случайно попал в охранное. Теперь пришел снова быть полезным революционному движению. Вы занимаетесь вопросами, так сказать, гигиенического характера, выяснением провокации? Так? Вопрос это трудный, я его понимаю гораздо лучше, чем вы и хочу быть вам полезен.

Четыре глаза скрестились.

— Тут есть неувязка, — сказал Бурцев. — Вы становитесь революционером, оставаясь на службе в охранном или уходите оттуда, становясь революционером?

— Я именно остаюсь в охранном.

Бурцев сидел распаленный тысячью возможностей, если гость честен и тысячью скверных мыслей, если гость провокатор. Он решил попробовать.

— Ваше имя отчество?

— Михаил Ефимович.

— Прекрасно, Михаил Ефимович, — произнес Бурцев, смотря в сторону, — так что же, может быть, начнем немедленно?

— Извольте-с.

Бурцев подвинулся пискнувшим стулом к столу.

— Меня интересует, — проговорил, снимая очки и протирая глаза малокровными, старческими пальцами Бурцев, — вопрос провокации у эс-эров. Она существует.

Собеседник кивнул курчавой головой.

— Вы разрешите закурить?

Бурцев чиркнул спичку.

— Покорнейше благодарю.

— Но где она, вот как вы думаете? Желая оказать революционному движению услугу, начнем именно с этого. Как чиновник охранного вы, конечно, знаете, что боевая организация в параличе.

— Знаю, да. Но тут, — дымчатые очки задумались. «Провокатор», — подумал Бурцев, — «пришел поймать, завлечь, предать».

— Видите ли, провокация там есть, как везде, но боюсь, позвольте, позвольте, агентуру ведет лично генерал...

— Не скажете ли какой?

— Скажу, конечно: — Герасимов. Позвольте, вспоминая даже псевдоним агентуры, кличку, по моему она — «Раскин». Да, да — «Раскин».

В дверь раздался стук. В светлом пальто, в панаме, на тулье с светло-красной лентой, вошел В. М. Чернов.

— Одну минуту, Виктор Михайлович, — недовольно проговорил Бурцев. — Я занят, подождите, пожалуйста, в соседней комнате.

Обернувшись к собеседнику, Бурцев тихо сказал:

— На сегодня давайте кончим. Дайте адрес.

— Главный почтамт. Михайловскому.

— Прекрасно.

И Бурцев проводил чиновника особых поручений департамента полиции Бакая до выхода.

6

У Владимира Львовича Бурцева вся жизнь с некоторых пор превратилась в нюх. Поэтому он ходил нервно, словно что-то ища. На следующий день после посещения его Бакаем, идя по Английской набережной среди оживленных маем людей, Бурцев был необычайно взволнован. «Раскин», — повторял он. — Центральная провокатура. Раскин. Натансон? Савинков? Тютчев? Гоц? Ракитников? Чернов? Раскин. Но кто же он?

На углу набережной в беспорядке скопились экипажи. На лаке крыльев пролеток горело весеннее солнце. Людям было весело. Рослый городской, маша рукой, казалось, весело ругал ломового, запрудившего движение. Бурцев стоял, запахивая пальто.

«Кто это кланяется?», подумал он вдруг, глядя на подъехавшую к скоплению пролетку. Господин в темном пальто, цилиндре. Дама в пролетке выше его плечами, очевидно несколько коротконога. Шляпа в белых страусах, голубоватый костюм. Господин поднял блестящий цилиндр.

«Азеф». Бурцев обмер. Не ответив, а только кивнув

ему, Бурцев двинулся. Поток карет, колясок, пролетов прорвался и разносился с набережной. Бурцев видел еще голубоватый костюм, обвившую его черную руку, черную спину, черный цилиндр.

«Среди бела дня? Глава боевой? По Петербургу? Раскланивается с бегающим от шпиков редактором революционного журнала? Раскин? Азеф? Азеф? Раскин?» — Волнение перешло все границы. Бурцев почти побежал по набережной, бормоча, — «Боже мой, Боже мой, глава террора, агент полиции, какой ужас, какой ужас, но и... каккая сенсацияяя!!!!...»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

По сложении с себя полномочий руководителей Б. О. Азеф и Савинков выехали во Францию. Савинков с Верой и детьми снял квартиру на рю де ля Фонтен. Это была первая проба жизни семьей. И Савинков чувствовал много нового, никогда ранее не входившего в его жизнь. Вместе с Верой выбирал мебель, говорил о распределении дня детей, во-время обедал и ложился. После долгого горя, Вера почувствовала, что наконец пришло счастье.

Может быть первый раз в жизни ей захотелось покупать пестрые материи, носить красивые платья, нравиться окружающим и прежде всего нравиться ему, Борису. Это было потому, что началось счастье. Оно было. Иначе б бледная Вера, с глазами похожими на испуганно-улетающих птиц, не была б так оживлена.

И Савинкову хотелось поддержать это счастье. Но чем тише шла жизнь, тем томительней она становилась для Савинкова. Рю де ля Фонтен одна из спокойных улиц Парижа. Но живя спокойно, Савинков ощущал все большее беспокойство. Росла скука. И неизвестно, что б из этого вышло, если б не родилось желание изложить эту скуку литературно, в форме романа.

Правда, он думал, что тема убийства уже сильно использована Достоевским, но разница была в том, что Достоевский никогда сам никого не убивал, а Савинков убивал и Савинкову казалось, что Достоевский не знал многого,

что так хорошо знал Савинков. Он знал настоящую тоску, рождающуюся у убивающего людей человека.

На тему этой тоски, на тему этой скуки он хотел написать роман. Но и это была не вся тема. Савинков хотел обострить тему, и героя романа противопоставить, — всему миру. Герой, по его замыслу, должен «плюнуть в лицо» человечеству.

В размеренной жизни на рю де ля Фонтен тема захватила с такой остротой, что Савинков чувствовал в себе неперестававший трепет, как бы озноб. Вечерами, в толпе, гуляя по потемневшим Елисейским полям, был уверен, что с славой террориста придет и слава художника.

Вести роман он решил от лица героя, сделав его революционером, начавшим убивать и узнавшим, что в сущности, убивать интересный спорт. И вот герой, став усталым спортсменом убийства, «плюнет в лицо» всему человечеству.

Савинков не задумывался, почему в мыслях о работе помогали Тютчев и Апокалипсис. Ходил по бесконечным кольцам парижских бульваров, переполненный музыкой своей темы, повторяя лишь: «О чем ты воешь ветр ночной, о чем так сетуешь безумно?!»

Иногда перед тем, как сесть писать, зачитывался Апокалипсисом, находя и здесь музыку подкрепляющую тему. Особенно волновала глава 6-я.

«И вышел конь рыжий и сидящему на нем дано взять мир с земли и чтоб убивали друг друга... Я взглянул и вот конь вороной и на нем всадник имеющий меру в руке своей... Я взглянул и вот конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть и ад следовал за ним...»

Вспоминая свои ощущения после убийств Савинков решил назвать роман «Конь бледный» или «Конь блед», а героя дать нарочито пошлое имя «Жорж».

2

Сколько счастья, Боже мой, сколько счастья было в хрупких руках Веры! Иногда даже не верилось. Полно, неужели она живет вместе с ним, Борисом, с детьми? Это было всегдашней мечтой. Только еще немного любви, немного ласки, участия к Вере и разрешения войти в его внутренний, прекрасный духовный мир.

Войдя тихо в кабинет, Вера подошла сзади, обняла лысеющую голову Бориса и сказала:

— О чем ты пишешь?

Савинков отбросил перо, улыбнулся, проговорил, потягиваясь:

— Ты не поймешь.

— Если не скажешь, не пойму. Скажи.

— Ладно. — Савинков нехорошо улыбается. — Я пишу, Вера, о человеке, убивающем людей из чувства спорта и скуки, о человеке, которому очень тоскливо, у которого нет ничего, ни привязанности, ни любви, для которого жизнь глупый, а может быть гениальный, но ползущий в пустоту глетчер. Ты понимаешь?

«Зачем он так смеется. Ведь это жестоко».

— Я понимаю. Но ты прав, эта тема мне чужда. Я больше люблю твои стихи.

— Но в стихах я пишу о том же? О том, что человек потерял обоняние и запах гнилых яблок принимает за л'ориган? Не различает запахов, — нехорошо смеется Савинков.

«Это он смеется над ней, над Верой. Он знает ее. Знает, что она сейчас скажет, что думает».

— Что ж твой роман будет автобиографичен?

— Пожалуй. Это тонкое замечание.

— Очень грустно. И в нем не будет ни к кому любви?

— В конечном счете — нет. Хочешь, я прочту тебе единственное место о настоящей любви моего героя? Слушай: — «Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок. Растение тропиков, палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заостренных игл, багрово-красный, махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и как пурпур застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листы, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий аромат. Сверкало море, сияло в зените солнце, совершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил».

«Почему он не чувствует, что это больно? Зачем говорит, что любит? Зачем всегда хочет делать боль, убивать

этими ужасными мелочами. Он читает только для того, чтобы доставить мне неприятность».

Держа исписанный лист, смотря на Веру, Савинков видел, что она не выдерживает игры.

— Иногда мне кажется, что я напрасно с детьми приехала к тебе, — говорит Вера.

И тихо вышла из кабинета.

3

— А разве мы не вместе? — вечером говорил Савинков, сидя с Верой.

— Мы под одной крышей. Если это вместе, то мы вместе. Ведь казалось бы пустое: — расскажи, о чем ты думаешь, что пишешь, ведь ты же ходишь по вечерам один и думаешь над работой? Разве многого я хочу, после стольких лет горя? Я хочу части твоей души, твоего внутреннего мира,пусти меня, мне нужно человеческое участие. Ты замыкаешься в себе. Разве это любовь? Если ты называешь любовью нашу жизнь, то мне такая любовь без слов, без внутреннего чувства ужасна.

Савинкова сердил тон Веры. Не хотелось слушать, но не хотелось и уходить.

— Вот вчера, — говорила Вера, — ты после работы лежал на диване и спал, я вошла и мне показалось, что даже твои закрытые глаза обращены внутрь, в самого себя, что в них может быть мука, но скрытая от меня, мне показалось, что ты совсем чужой и я испытала буквально физическую боль, я чуть не вскрикнула.

— Какая ерунда, — пробормотал Савинков, — и какая тяжесть. Так нельзя жить. Ты хочешь того, что я не могу тебе дать и что ты может быть даже сама не возьмешь.

Савинков, говоря это, глядел на Веру, и думал — «как она постарела». Савинков боялся слез.

— Зачем же тогда ты вывез меня? — проговорила Вера. — Неужели затем, чтобы я и здесь, в Париже испытала еще раз свое одиночество? И убедилась, что ты не только меня не любишь, как я хочу, но что я тебе совсем чужая? Ведь ты же мучишь меня, ты убиваешь меня.

— Чем я убиваю, скажи, ради Бога? — раздраженно вставая, проговорил Савинков.

— Муж и жена, Борис, могут быть счастливы, когда

меж ними нет недоговоренного. А между мной и тобой — глухая стена. И ты убиваешь меня тем, что не хочешь сломать ее, словно тебе это будет мешать. А мне... — голос Веры дрогнул, но она собралась с силами, выговорив: — Зачем же тогда говорить о любви? Ее нет. А может быть никогда и не было. Я знала, что ты живешь необычной, тяжелой жизнью, я мирилась с этим. Я ждала. Но чего же я дождалась? Вот я пришла к тебе, как девочка, опять думала, наконец, будет счастье. Оказалось мы друг другу стали чужды. У тебя для меня нет даже слов. При любви такого одиночества, Борис, не испытывают. Ведь я совсем одна...

Савинков сидел молча. Ему было даже скучно. Он знал, что в романе будет подобная глава несчастной любви. Он только удивлялся, что Вера тонко и верно говорит. Не подозревал.

— А то, что ты считаешь любовью, это для меня ужас, Борис. Ведь я знаю, что за порогом моей комнаты всякая связь со мной прекращается. Ты ушел и я вычеркиваюсь из сознания. Я тебе больше ненужна. Это позорно, это ужасно, Борис. Меж нами нет и не было того духовного заражения, которое у любящего мужчины превращается в благодарное и любовное отношение к женщине. У тебя это исключено. Ты — один. Ты хочешь быть один. Твоя любовь — сухая обязанность. Но ведь есть женщины интереснее меня, которым ничего другого и не требуется?

Савинков сидел, не меняя позы. Сейчас он взглянул на Веру, внезапное злобное чувство, как к страшной тяжести, охватило его.

— Вот этого, самого важного женщине, как я теперь лишь поняла, у нас с тобой, Борис, нет и никогда не было. Ты не будешь возражать. Именно поэтому я и была несчастна, а не потому, что много приходилось страдать. Ведь когда ты обращаешься ко мне, делишься мыслями, я знаю, что это ничем не отличается от разговора с твоими товарищами. Моя мысль ничего тебе не прибавит, ничего не отнимет. Ты не видишь, не хочешь замечать моей жизни. Даже в мелочах, когда мы идем с тобой по улице, здесь в Париже, ты никогда не возьмешь меня под руку. Ведь я бы не отдернула руки. Может быть, я была бы даже счастлива. В отсутствии этого жеста я чувствую, как ни в чем

твою отчужденность. Ты хочешь идти один, быть один. Так зачем же тебе я?

— Может быть многое из того, что ты говоришь, верно, — проговорил Савинков холодно. — Но если ты хочешь меня в чем-то обвинять, то вины я не чувствую. Я не могу очевидно тебе дать того, что тебе надо. Тебе нужно, собственно говоря, мещанское счастье покойного житья-бытья Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановной!

— Неправда! — вскрикнула Вера, не сдерживая слез. — Я хочу искренности! Только искренности! А ты ее не даешь... — и, не будучи в силах больше сдерживаться, Вера зарыдала.

Савинков вышел из кабинета. Накинул пальто, надел котелок и, легко ступая, спустился по лестнице. Он ехал на скачки в Лонгшан и не любил опаздывать.

4

Вера сидела в угловой комнате. Был сумрак. В окно виднелся красный край падавшего за церковь солнца. Очевидно к вечерне в церковь шли люди. Вера смотрела на них и думала: счастливы ли они, ну вот та дама, что идет под руку с мужчиной в кепки? Он ее крепко держит, что-то говорит. Вера старалась скрыть, как завидует встречным на улице, по виду счастливым людям.

Ей казалось с девичества, что вся она полна каким-то неизжитым, необычайным чувством и настанет момент, она отдаст себя всю этому чувству, будет держать в руках свое счастье и счастье любимого единственного человека. Этот момент, казалось, наступил, когда в квартиру к ним вошел Савинков. Вера шла навстречу любви, но в любовь вплелась странная темнота, в которой не выговаривалось настоящее, темнота ширилась и покрыла все чувство. Пришли дети, страхи, боязни, горе, одиночество, вся гордость, страсть были растоптаны. А жизнь стала уходить. И вот Вера, словно вчера отворившая дверь студенту Савинкову, выброшена и никому ненужна. Ведь жизнь не начиналась еще, а уж кончилась и другой нет. Вера чувствовала в этих сумерках безграничное отчаяние и рыдала.

5

Савинков становился всё молчаливей. По ночам не приезжал. Мало говорил. В это утро Вера не узнала себя. Она прошла быстро в комнату, еще слыша голоса Тани и Вити,

которых уводила мадемуазель. Вера прошла, словно в комнате забыла что-то важное. Но войдя, остановилась, сжала руки, потом схватилась за голову и почувствовала жутко и остро необходимость порвать эту невыносимую жизнь.

Все словно от пустяка. Оттого что вчера не отвечал на вопросы. А когда Вера заплакала, встал, уехал и не вернулся на ночь.

«Должна, должна», — простонала Вера и почудилось, что ворот душит. Вера расстегнула платье. От внезапного узнания, что она действительно уйдет, стулья с гнутыми ручками-головами львов, которые вместе выбирали, темно-красные портьеры, кресла, зеркала, все показалось сразу чуждым, словно Вера вошла в незнакомую квартиру.

«Боже мой, Боже мой», — повторяла она, ощущая тяжелую притупленность чувств. Словно руки, ноги, вся она была в то же время не она. Вспомнилось: когда пришла мебель, как распаковывали, разворачивали бумагу, как смеялся Борис. Вера, рыдая, упала на диван — «Боже мой, как любим, как любим, о, как ненавижу я этот Париж, товарищей, всю эту революцию, разбившую мое счастье».

Вера видела, как сейчас, новенькую студенческую шинель, фуражку, он был иным, сильным юношью. Все ушло, даже выражение лица стало жестоким и надменным. И вот такой, неласковый, он приходил к ней, она отдавала ему тело, а душа замирала от ужаса, голова была холодна и той любви, которой хотела, не было, не было. «Я не виню», — шептала Вера, — «я сама ошиблась, я ошиблась всей жизнью».

6

Вера ждала Савинкова, чтобы сказать об отъезде. Она представляла себе лицо и слова. Внутренно знала, как все будет.

Он стоял у стола и слушал, смотря в сторону. Он тоже знал, что этот день наступит. Но у него не было сил смотреть ей в лицо. Он боялся слез. Был еще странный, почти необъяснимый стыд, который он скрывал даже от самого себя. Разговор был короткий, сух, поэтому мучителен.

— Мне б не хотелось одного, — сказал он, когда Вера хотела выйти, — чтоб у детей осталось к отцу чувство неприязни.

Вера остановилась.

— Деньги я буду высылать на русско-азиатский банк... Горько улыбнувшись, Вера пошла, чтоб не разрыдаться при нем. Он ждал с нетерпением, когда она выйдет. И с удовлетворением слушал удалявшийся по корридору шелест ее юбки.

7

В квартире настал тот ужасный момент, когда она стала разоренной. Вера была молчалива. Беспочинно часто со слезами целовала детей. Дети были веселы, они хотели ехать. Пришедшая проститься мадемуазель, смеясь, лопотала с ними. Четырехместное извозчичье ландо уж подъехало к дому. В последний раз Вера, из ландо, взглянула на окна. В окнах никого не было. Вера, не в силах сдерживаться, зарыдала. И дети не умели успокоить мать. Дети думали, что она плачет оттого, что долго не увидит отца. Она же плакала потому, что не увидит его никогда.

8

Савинков был увлечен своим романом. Он работал над самым ответственным местом, вырисовывая героя и фон романа так: — «Мне скучно жить. Однозвучно тянутся дни, недели, года. Сегодня, как завтра, и вчера, как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни. Та же любовь, та же смерть. Жизнь, как тесная улица: дома, старые, низкие, плоские крыши, фабричные трубы.

Вот театр марионеток. Взвился занавес, мы на сцене. Бледный Пьеро полюбил Пьеретту. Он клянется в вечной любви. У Пьеретты жених. Хлопает игрушечный пистолет, льется кровь — красный клюквенный сок. Визжит за сценой шарманка. Занавес. Номер второй: — охота на человека. Он — в шляпе с петушиным пером, адмирал швейцарского флота. Мы — в красных плащах и масках. С нами Ринальдо ди Ринальдини. Нас ловят карабинеры. Не могут поймать. Снова хлопает пистолет, визжит шарманка. Занавес. Номер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На золоченых камзолах брызги вина. В руках — картонные шпаги. Они пьют, целуют, потом иногда убивают. Кто смелее Атоса? Сильнее Портоса? Лукавее Арамиса? Финал. Шарманка жужжит затейливый марш.

Браво. Раек и партер довольны. Актеры сделали свое дело. Их тащат за треуголки, за петушиные перья, швыряют

в ящик. Нитки спутались. Где адмирал Ринальдо, влюбленный Пьеро — кто разберет? Покойной ночи. До завтра.

Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, генерал-губернатор. Льется кровь. Завтра тащат меня. На сцене карабинеры. Через неделю опять: адмирал, Пьеро, Пьеретта. И льется кровь — красный клюквенный сок.

И люди ищут здесь смысла? И я ишу звеньев цепи? Нет, конечно, мир проще. Вертится скучная карусель. Люди, как мошки летят на огонь. В огне погибают. Да и не все ли равно?

Мне скучно. Дни опять побегут за днями. Завизжит за спиной шарманка, спасется бегством Пьеро. Приходите. Открыт балаган».

В квартиру Савинкова уже давно стучал взволнованный, седовласый патриарх партии, каторжанин Осип Минор. Он несколько раз ударял тростью в дверь. Он был возбужден. И так как дверь все молчала, Минор не отпускал еще и ручки звонка упершейся в пасть львенка. Наконец он услышал шаги. На пороге стоял Савинков.

— Что до вас не дозвонился, Борис Викторович! Возмутительнейшая история! — закричал Минор. — Чорт знает, что такое! — с порога заковылял старыми ногами по паркету, блестя лысиной, вея седыми волосами — Возму-ти-тель-ней-шая!

Савинков был во власти романа, не обращая внимания на Минора, вел его в кабинет.

— Посудите сами! Это же ходит по всей колонии!

— Успокойтесь, Осип Соломонович, что такое? Хотите папиросу?

Дрожащими концами подагрических пальцев Минор захватывал папиросу. — Да как же, сию минуту на рю Ломонд около библиотеки встречаю Бурцева, он с места в карьер заявляет, а знаете говорит, Осип Соломонович, что один из членов вашего ЦК агент полиции? Я глаза выпучил, он ничтоже сумняшеся так и брякает: — все, говорит, материалы налицо, я обвиняю члена ЦК Азефа в провокации!

— Бурцев осмеливается обвинять Азефа в провокации? — безразлично проговорил Савинков, уставясь куда-то в пространство. Савинков не мог еще освободиться от власти романа.

— Да, что вы словно это вас не касается! Про что я говорю! Бурцев трещит по всему Парижу! Я его спрашиваю, позвольте, говорю, да хорошо ли вы знаете роль Азефа в революционном движении? Начинаю рассказывать, а он руками машет, я говорит это лучше вас знаю! Азеф платный чиновник генерала Герасимова!

— То-есть, это серьезно? — приходя в себя проговорил Савинков? — Бурцев осмеливается? Я потребую немедленного удовлетворения.

— Дело тут вовсе не в вашем удовлетворении! Должен быть немедленный суд над Бурцевым! Ведь слухи идут о члене ЦК! О руководителе Б. О.! Вы понимаете, какую дезорганизацию это внесет??!!

— Какая низость, — проговорил Савинков, — обвинять Азефа, десять лет ходившего с веревкой на шее, творца террора? Какая низость!

— Да дело даже не в низости! Бурцев попал в ловушку охранного отделения, он не расстанется с каким-то охранником Бакаем, ну, и этот охранник ясно подослан, чтобы дискредитировать партию.

— Но Бурцев же не ребенок?

На столе зазвенел телефон.

— Алло!.. здравствуйте... что? — Савинков долго молчал, в трубке метался чей-то кричащий голос, а когда метанье оборвалось, Савинков проговорил. — У меня Осип Соломонович, он рассказал тоже самое. Бурцев с ума сошел и надо его вылечить... что?.. вот именно... послезавтра?.. прекрасно, прощайте, Виктор Михайлович!

— Виктор?

— Да, у него Натансон, Аргунов, Потапов, весь ЦК, оказывается Бурцев заявил, что выступит в прессе, если партия не назначит расследования. Это чорт знает что, Бурцев маньяк!

— Надо сейчас же написать Азефу, сейчас же напишите, у вас есть его адрес? — взволновался Минор.

— Я напишу.

— Пишите сейчас же и успокойте, скажите, что мы примем все меры.

Когда Минор ушел, Савинков постоял у письменного стола, подумал, и отложив рукопись романа, сел за письмо Азефу.

Заседание членов ЦК и кооптированных членов партии было многолюдно. Возмущены были решительно все. Но такого гнева, каким был полон Виктор Чернов, ни у кого не было. Чернов стоял с потемневшими глазами, он был решителен, словно сейчас пойдет за Азефа на распятие.

— Товарищи, — проговорил он негромко, — мы стоим перед делом величайшей важности. Товарищ, которому партия обязана многим, чересчур многим, если не всем, обвинен в предательстве! Господин Бурцев не стесняется в преступной лжи делать даже следующее заявление. Я оглашаю: — «В ЦК партии с. р. Уже более года, как в разговорах с некоторыми деятелями партии с. р. я указывал, как на главную причину арестов, происходивших во все время существования партии, на присутствие в центральном комитете инженера Азефа, которого я обвиняю в самом злостном провокаторстве, небывалом в летописях русского освободительного движения. Последние петербургские казни не позволяют мне более ограничиваться бесплодными попытками убедить вас в ужасающей роли Азефа и я переношу этот вопрос в литературу и обращаюсь к суду общественного мнения. Я давно уж просил ЦК вызвать меня к третейскому суду по делу Азефа, но события происходят в настоящее время в России ужасающие, кровавые и я не могу ограничиться ожиданием разбора дела в третейском суде, который может затянуться надолго и гласно за своей подписью беру на себя страшную ответственность обвинения в провокаторстве одного из самых видных деятелей партии с. р.».

Чернов перевел дух, сжав брови проговорил:

— Есть еще и достаточно подлая приписка, товарищи, я оглашаю и ее, господин Бурцев пишет: — «Разумеется это заявление не должно быть известно Азефу и тем, кто ему может о нем передать».

В зале раздался возмущенный ропот. Кто-то, сжав кулаки, ругался, вскочив с места. Чернов закричал, покрывая всех. — Товарищи, тишина! — и в наступившую тишину отрывисто бросил:

— Предлагаю, в ответ на заявление господина Бурцева, учредить суд над ним, над Бурцевым, который докажет его гнусную клевету на товарища Ивана! — гром аплодис-

ментов прервал его. — А на приписку предлагаю ответить так: — «Азеф и партия одно и то же. От Азефа нет секретов у партии и потому мы вам возвращаем господин Бурцев вашу прокламацию, действуйте, как хотите!».

И снова, — гром аплодисментов. Чернов опустил на стул, поправляя волосы и отирая платком рот.

10

Возвращаясь с заседания, Савинков нашел ответное письмо Азефа: — «Дорогой мой! Спасибо тебе за твое письмо. Оно дышит теплотой и любовью. Спасибо, дорогой мой... Ты пишешь о суде. Я не вижу выхода из создавшегося положения помимо суда. Не совсем понимаю твою мысль, что мы ничего не выиграем. Неужели и после разбора критики и опровержения «фактов», Бурцев еще может стоять на своем? Мне кажется, дорогой мой, ты слишком преувеличиваешь то впечатление, которое может получиться оттого, что выложит Бурцев.

Виктор пишет, что Бурцев припас какой-то ультрасенсационный «материал», который пока держит в тайне, рассчитывая поразить суд, но то, что я знаю, действительно не выдерживает никакой критики и всякий нормальный ум должен крикнуть: — «Купайся сам в грязи, но не пачкай других!» — Я думаю, что всё, что он держит в тайне не лучшего достоинства. Суд сумеет положить конец этой грязной клевете. По крайней мере, если Бурцев и будет кричать, то он останется единственным маньяком. Конечно, мы унизились, идя на суд с Бурцевым. Это недостойно нас, как организации. Но всё приняло такие размеры, что приходится и унижаться. Мне кажется молчать нельзя; ты забываешь размеры огласки. Но если вы там найдете возможным наплевать, то готов плюнуть и я вместе с вами, если это, конечно, уже не поздно. Я уверен, что товарищи пойдут до конца в защите чести товарища, а потому готов отступить от своего мнения и отказаться от суда.

Мне хотелось бы только не присутствовать во время этой процедуры. Я чувствую, что это меня совсем разобьет. Старайся насколько возможно избавить меня от этого. Обнимаю и целую тебя крепко.

Твой *Иван*.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Суд над Бурцевым состоялся в тяжелый день, в понедельник. Ровно в девять утра к квартире Савинкова на рю де ля Фонтен подъехала четырехместная извозчичья коляска. Из нее вылезли, похожие на апостолов, два старика с седыми бородами и строгая пожилая женщина. Это были ветераны русской революции: — князь П. А. Кропоткин и шлиссельбуржцы: Г. А. Лопатин и В. Н. Фигнер. Не разговаривая, один за другим, они поднимались по лестнице.

В передней Савинков хотел помочь Кропоткину снять пальто. Но, отстраняя его, Кропоткин, смеясь, проговорил:

— Человек должен уметь всё делать сам, Борис Викторович.

Кропоткин был невысок, строен, по военному выправлен. Красивую голову с седой бородой держал откинув, сквозь очки смотрели юношеские глаза, как бы приглашая заглянуть в душу, где всё ясно и чисто. Лопатин бурно сбросил пальто, посмеялся с Савинковым. Фигнер была суха и молчалива.

Садясь в кабинете, все заговорили о постороннем, как доктора перед входом к пациенту.

— Хорошая квартира у вас, Борис Викторович, прелесть и невысоко. Что платите? — покачивался в качалке Лопатин.

Кропоткин вынул простую луковцу часов, посмотрел.

— Как здоровье жены, Петр Алексеевич? — проговорила Фигнер.

— Благодарю, Вера Николаевна, ничего. Инфлуэнца.

В дверях кабинета столкнулись Чернов и Бурцев. Чернов вошел первым, не глядя на Бурцева, и даже как бы отпихнув его. За Бурцевым вошел плотный розовый, бело-бородый Натансон, на лысом упрямом черепе была толстая жила.

На середину комнаты выдвинули стол. На нем чернильницы, перья, бумага, карандаши. Три стула — для судей — за которые сели: — посредине председателем П. А. Кропоткин, справа Лопатин, слева Фигнер. От судей направо — обвиняемый в клевете Бурцев. Налево — обвинители от партии — Чернов, Савинков, Натансон.

Полчаса десятого, разглаживая седую бороду, тихо кашлянув, Кропоткин проговорил:

— Разрешите считать заседание суда по обвинению В. Л. Бурцева партией социалистов-революционеров в клевете на члена партии Евгения Филипповича Азефа — открытым. Слово предоставляется обвинителю от партии В. М. Чернову.

Бурцев сидел за ломберным столом, раскладывая бумажки, документы, записки. Казалось, он не видел окружающих. Когда, задумавшись, приподнимал голову с открытым ртом, были видны большие зубы. Глядел он в стену, быстро отрывался, снова в порядке раскладывая записки, бумажки, документы.

Савинков чувствовал внутри холодноватую, сжимающуюся спираль, сосущую, неприятную. Чернов всё время совещающийся с Натансоном и не обращавший внимания на Савинкова, после слов Кропоткина, встал.

— Товарищи судьи, — проговорил он громко. — Я просил бы разрешить обвинению задать господину Бурцеву совершенно необходимый для дальнейшего ведения суда вопрос.

— Пожалуйста, — бесстрастно проговорил Кропоткин. Несмотря на невысокий рост, Кропоткин казался величественным. Оглядывая судей, Савинков думал: «Лучшего не выбрать: ветераны революции и во главе благороднейший анархист с мировым именем».

— Я хочу задать господину Бурцеву, — говорил распевной скороговоркой Чернов. Он был непохож на Кропоткина. — Такой вопрос. Дает ли он слово прекратить клеветническую кампанию против Азефа в случае, если суд признает его виновность.

Лица трех судей обернулись к Бурцеву. Бурцев маленький, узенький, с седенькой головой нервно встал.

— Если суд признает мои обвинения Азефа недоказанными, а я останусь при прежнем убеждении, что Азеф провокатор, то я всё же буду бороться с ним. Но, если хотите, тогда при каждом выступлении против Азефа я буду упоминать, что суд высказался против меня. К тому же предоставляю партии эс-эров право реагировать на мою дальнейшую агитацию всеми способами, вплоть до убийства.

Лица трех судей повернулись от Бурцева к Чернову.

— Ах, так! Такой компромисс, вот именно с упоминанием «вплоть до убийства» для нас приемлем.

Чернов откашлялся и начал речь. Эта речь отличалась от его обычных выступлений. Она скудно была украшена пословицами, поговорками. Оратор забывал от взволнованности. Он говорил о биографии Азефа, затем об Азефе, как создателе партии с. р. и главном ее руководителе, об Азефе, как о главе Б. О., о том, как Азеф убил Плеве, как убил Сергея и как совсем недавно перед тем, как отказаться от руководства Б. О., Азеф подготовлял убийство царя на «Рюрике» и как исполнитель плана, матрос Авдеев, уже стоял с револьвером в кармане перед царем, смотря ему в лицо и, не зная почему, не выстрелил.

— Так неужели ж, товарищи, — кричал Чернов, — даже зная только этот факт готового цареубийства, нанесения удара самодержавию в самый «центр центров», несовершенного только благодаря случайности и без вины Азефа, неужели этого одного недостаточно, чтобы видеть какая ужасная, какая гнусная клевета возводится Бурцевым на большого революционера! Когда, скажите мне, когда были в истории провокаторы, убивавшие министров, великих князей, подготовлявшие цареубийство? Разве не видна здесь бессмысленность, низость и весь ужас обвинений Азефа?!

Лопатин перевел с Чернова удивленный взгляд на Бурцева. Одновременно с ним на Бурцева с сожалением смотрела Фигнер. Натансон ненавистно глядел на седенького старичка. Савинков, захваченный речью Чернова, был возбужден, не скрывая своего негодованья в жестах.

Кропоткин был бесстрастно спокоен.

Бурцев сидел, словно никаких новостей не было в криках Чернова. А он кричал распевным великорусским говором всё резче, всё сильнее. Теперь говорил о том, как царское правительство давно старалось скомпрометировать опаснейшего правительству врага — Азефа, подсылая в партию письма, и как наконец департаменту полиции это удалось осуществить при посредстве Бурцева.

— Этот тайный, гнусный поход на товарища, на друга был начат задолго до вас, господин Бурцев! Еще в 1903 году было брошено первое подозрение на Азефа и тогда же

суд из литераторов Пешехонова и Гуковского принужден был извиниться перед Азефом и признать все обвинения вздором. Но надо было видеть товарища, стоявшего во главе террора, как тяжело он переносил эти гнусности, которые незаслуженно бросали в лицо тому, кто вел партию к славе! Да, Азеф плакал тогда, плакал на моих глазах как ребенок! И мы утешали его, уверяя, что такие тернии в борьбе с царизмом есть и будут у всякого террориста, ибо эта борьба не на живот, а на смерть! И вот опять: — один из членов партии получил письмо явно полицейского происхождения, на которое, разумеется, мы не обратили внимания. За ним — предатель Татаров оговаривает лучшего, светлого борца партии на пути к революции! Но с Татаровым за это партия рассчиталась, доказав, что предатели к сожалению в партии есть, но это не Азеф, а — Татаров. И он нами убит!

Снова судьи повернулись к Бурцеву. Приоткрыв рот, выставив два зуба, Бурцев слушал Чернова. Ничего нельзя было разобрать на его лице.

На третьем часу своей речи Чернов перешел к характеристике Азефа, как человека и семьянина.

— Господа, попавшие в сети охранников, не гнушаются даже тем, что одним из доказательств провокации, так сказать, «подкрепляющим», приводят наружность Азефа и манеру его обращения с людьми! Да, скажу я, Иван часто производил первое неприятное впечатление на людей. Но ведь он же не институточка, не этуаль какая-нибудь, чтоб чаровать зрение господ с ним встречающихся! И тут да позволено будет, есть такая пословица: «Не цени собаку по шерсти»! Но все, кто только ближе узнавал Азефа, начинали его любить самой нежной привязанностью как друга, как брата. Надо только хорошенько всмотреться в это открытое лицо и в его чистых детских глазах нельзя не увидеть доброты, а увидев его в кругу семьи и товарищей, нельзя не полюбить этого действительно доброго человека и нежного семьянина. — Тут судьи увидели, что Бурцев записывает слова Чернова. — И вот чуткого, доброго человека, безупречного семьянина, отважного борца с самодержавием, вписавшего лучшие страницы в историю русской революционной борьбы, осмеливаются клеймить самым гнусным, самым беззастенчивым образом господа, либо просто ищущие сен-

саций, либо ставшие странными жертвами департамента полиции!

Чернов повернулся к Бурцеву и проговорил целый час. На пятом часу он, отирая платком лицо, рот и руки, сел.

Встал Савинков.

— Товарищи! — проговорил он тихо.

«Опять театр для себя» — подумал Чернов, взглянув на Савинкова.

— Товарищи, — повторил Савинков.

Чернов недовольно завозился.

— Я друг Азефа и может быть моя дружба с ним интимнее отношений всех остальных товарищей, ибо наша дружба спаяна кровью. Не день и не год мы жили с Азефом. Мы жили годы. И шли сквозь кровь, убивая многих во имя революции и теряя по кровавому пути многих любимых и дорогих. И вот лучшему другу, отважнейшему борцу, главе террора брошено грязное обвинение! Я рассматриваю это, как обвинение всей Б. О. и мне всего больней говорить об этом, ибо я противник даже всякого разбирательства деятельности Азефа. Он выше подозрений. Но теперь я вынужден и буду говорить об Азефе, как террорист, как его брат по духу и крови. Разрешите же сначала сделать мне сухой перечень славных дел, произведенных Азефом! Я начинаю: — он знал о покушении на харьковского губернатора Оболенского, он подготовлял убийство уфимского губернатора Богдановича, он руководил всей работой Б. О. с 1903 года! Он поставил убийство Плеве, он поставил убийство Сергея, он ставил покушение на генерала Трепова, на киевского генерал-губернатора Клейгельса, нижегородского барона Унтербергера, он ставил покушение на московского генерал-губернатора Дубасова, на министра внутренних дел Дурново, на генерала Мина, на заведующего политическим розыском Рачковского, дабы убить его вместе с предателем Гапоном, при чем Гапон был убит. Он ставил покушение на адмирала Чухнина, он покушался на премьер-министра Столыпина, он санкционировал и послал исполнителей убить провокатора Татарова, он ставил покушение на генерала фон дер Лауница, на прокурора Павлова, он ставил покушение на великого князя Николая Николаевича и, наконец, на царя Николая II. Сколько отдано крови и сколько пролито крови вы знаете сами! И неужто ж теперь

мы бросим грязью в того, кто был душой и гильотиной этих славных дел?

Чернов смотрел на фигуру Савинкова с неудовольствием. Савинков стоял чересчур бледный. Узкие монгольские глаза горели. Румянец выступил пятнами на продолговатом бледном лице. Вся фигура в черном, двубортном, ловко сидящем костюме была убедительна и красива.

— Я знаю Азефа так, как его никто не знает! Я люблю его как брата, и никогда не поверю никаким подозрениям в силу их полной бессмысленности! Я знаю Азефа, как человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта! Я видел его неуклонную последовательность в революционном действе, его спокойное мужество террориста, наконец его глубокую нежность к семье. В моих глазах это даровитый, твердый, решительный человек, которому нет у нас равного. И вот я обращаюсь к вам, Владимир Львович! — Савинков повернулся к Бурцеву и, жестикулируя правой рукой, проговорил с пафосом:

— Вместо необоснованных обвинений, пятнающих имя великого революционера и вносящих страшную дезорганизацию в святое дело террора и революции, вместо обвинений я призываю вас, как историка революционного движения, сказать: — есть ли в истории русского освободительного движения и в освободительном движении всех стран более блестящее имя революционера, чем имя Азефа?!

Бурцев нервно встал.

— Нет! Я не знаю в русском революционном движении ни одного более блестящего имени, чем имя Азефа, — проговорил он. — Его имя и деятельность более блестящи, чем имена и деятельность Желябова, Сазонова, Гершуни, но только под условием если он честный революционер. Я же убежден, что он негодяй и агент полиции!!

— Гадость! Мерзавец!! — бросившись с мест, закричали Натансон и Чернов.

Бесстрастный П. А. Кропоткин зазвонил в колокольчик и встав проговорил:

— Объявляю перерыв на два часа. После перерыва слово будет предоставлено Владимиру Львовичу Бурцеву.

2

На этот раз председательствовал шлиссельбуржец Герман Лопатин. Чернов казался опухшим и измученным. На-

тансон бледен меловой бледностью невыспавшегося человека. Савинков нервен. Спокойны были лишь судьи.

— Ваше слово, Владимир Львович, — проговорил Лопатин.

Бурцев встал, поправил очки, откашлялся.

— Я убежден в том, — начал он, — что в борьбе с революцией провокация является главным оружием существующего полицейского строя. Если бы революционерам удалось разбить эту цитадель самодержавия, то неизвестно удержалось ли бы самодержавие вообще. Это мое глубокое убеждение. И, исповедуя эту истину, я посвятил свои малые силы борьбе именно с этим злом: — с провокаторами. Но в силу многих причин, зачастую психологических, дело это чрезвычайно трудное. И вести его приходится с величайшей осторожностью. Вот именно с такой величайшей осторожностью начал я расследование моих подозрений Азефа.

В том, что в партии с. р. есть центральная провокатура я был убежден давно. В этом убеждены и члены партии. За это говорили многие события и прежде всего полный паралич террора. Что провокатор этот работает в департаменте под псевдонимом «Раскин» установил М. Е. Бакай. С этого момента все мои силы напряглись к одному: — выяснить, кто из членов партии скрывается под псевдонимом сотрудника «Раскина». Это было нелегко, длилось долго. Не буду рассказывать, сколько пришлось положить труда, чтобы систематизировать всё относящееся к неизвестному «Раскину». Эта работа проделана мной и Бакаем. Все собранные, тщательно выверенные факты, указывали с безусловной очевидностью, что «Раскин» — Азеф. Но я никому во время работы не выговорил этой фамилии. Только когда не было уже никаких сомнений, я решил сделать последнюю проверку через Бакаю. Я попросил Бакаю рассказать, что ему известно по службе в охранном о Чернове и Савинкове. Он рассказал. Сказал, что часто видел их карточки. Карточки охранным рассылались по провинции. Тогда, как бы невзначай, я спросил: — а что вы знаете об Азефе? Бакай ответил, что Азефа совсем не знает. Как же так, сказал я, это видный эс-эр? Бакай сказал, что никогда даже не слышал об Азефе. — Позвольте, говорю я, ведь это же глава боевой организации? — Невероятно, — ответил Бакай, — мне не знать главу боевой организации, всё равно, что не знать

директора департамента полиции. И тут я впервые выговорил фамилию Азефа, как подозреваемого «Раскина». — Если таковой существует, — ответил Бакай, — если он друг Чернова и Савинкова, глава боевой, и о нем у нас ничего неизвестно, его не разыскивают, карточек не рассылают, значит он «подметка», то есть сотрудник.

Вот когда впервые я назвал фамилию Азефа. В России лилась кровь революционеров, посылаемых Азефом на казнь. Я во всеоружии данных обратился в ЦК партии, заявив о подозрении. Но этот шаг оказался совершенно бесплодным. В течение года добивался я расследования ЦК моих подозрений Азефа. ЦК либо отмалчивался, либо отказывался от расследования.

Но время шло. Азеф губил людей. А я напрасно добивался у ЦК расследования дела. Когда же совсем недавно я прочел — Бурцев повернулся в сторону Чернова и Савинкова, — что в Петербурге опять повешены террористы Зильберберг, Сулятицкий, Никитенко, Синявский, Лебединцев, Трауберг, Синегуб, то будучи убежден, что их отослал на виселицу Азеф...

— Гнусная ложь! — закричал Чернов.

...Я заявил ЦК, что теперь уж выступаю в прессе, ибо необращение партией вниманья на обвинения Азефа равносильно посылке на виселицу молодых, самоотверженных революционеров. Я не мог молчать. И вот мы дошли до суда, но не над Азефом, а надо мной. Но теперь и я обвиняю не только Азефа. Я обвиняю партию в злостном попустительстве, стоившем жизни десяткам самоотверженных революционеров. Я обвиняю вас, господа Черновы и Савинковы! Вы всячески отводили расследование подозрений Азефа и слухов о нем в течение нескольких лет и только когда я пригрозил прессой, вызвали не Азефа, а меня на суд, недвусмысленно намекая, что можете со мной расправиться. Но когда я докажу вам, в этом суде, предательство Азефа, я позволю себе спросить и вас: — почему так долго, почему так страстно вы оберегали предателя и вешателя Азефа?

Ведь, разобравши весь материал о провокации Азефа и о попытках разоблачить его, оказалось, что я вовсе не первый, называвший его предателем и доведший это до сведения ЦК партии. Где ж причины тому, что в самом центре

партии, в течение множества лет безвозбранно работал провокатор? Причины эти в том, что в ЦК царили и царят самые темные стороны партийно-организационных нравов.

Шесть лет назад пропагандист студент Крестьянников обвинил Азефа в предательстве. Он узнал о полицейской службе Азефа через филера Павлова. Разбиралось ли это дело партией? Нет. Азеф, глава террора и полицейский шпион, был обелен кустарным способом. Но вскоре снова М. Р. Гоц получил письмо от Рубакина о подозрениях Азефа в предательстве. Что сделали с этим письмом члены ЦК? Его, смеясь, передали — кому? Главе террора и полицейскому шпиону Азефу. Но в партию снова пришло обширное, так называемое, «петербургское письмо», с подробными разоблачениями Азефа и Татарова. Письмо принесла неизвестная женщина члену партии Е. К. Ростковскому. Что вышло из этого? Прежде всего разрешите огласить это письмо:

«Товарищи! Партии грозит погром. Ее предадут два серьезных шпиона. Один из них бывший ссыльный, некий Т., весной лишь вернулся, кажется из Иркутска, втерся в доверие к Тютчеву, провалил дело Иваницкой, Барыкова, указал кроме того Фрелиха, Никонова, Фейта, Старынкевича, Леоновича, Сухомлина, много других, беглую каторжанку Якимову, за которой потом следили в Одессе, на Кавказе, в Нижнем, Москве, Питере (скоро наверное возьмут); другой шпион недавно прибыл из заграницы, какой то инженер Азиев, еврей, называется и Валуйский; этот шпион выдал съезд происходивший в Нижнем, покушение на тамошнего губернатора, Коноплянникову в Москве (мастерская), Веденяпина (привез динамит), Ломова в Самаре (военный), нелегального Чередина в Киеве, бабушку (скрывается у Ракитниковых в Самаре)... Много жертв намечено предателями, вы их обоих должны знать. Поэтому мы обращаемся к вам. Как честный человек и революционер исполните (но пунктуально: надо помнить, что не все шпионы известны и что многого мы еще не знаем) следующее: — письмо это немедленно уничтожьте, не делайте из него копий и выписок. О получении его никому не говорите, а усвойте основательно содержание его и посвятите в эту тайну или Брешковскую или Потапова (доктор в Москве) или Май-

нова (там же) или Прибылева, если он уедет из Питера, где около него трутся тоже какие то шпионы. Переговорите с кемнибудь из них лично (письменных сношений по этому делу не должно быть совсем). Пусть тот действует уже от себя не называя вас, и не говоря того, что сведения эти получены из Питера. Надо, не рассказывая секрета поспешить распорядиться, все о ком знают предатели будут настороже, а также и те, кто с ними близок по делу. Нелегальные должны постараться избавиться от слежки и не показываться в месте, где раньше бывали. Технику следует переменить сейчас же, поручив ее новым людям».

Кому было отдано это письмо? Несмотря на предупреждения письма, несмотря на указание лиц, коих надо посвятить в это дело, письмо тут же передали в руки главе террора и полицейскому шпиону Азефу. Я знаю, он прочел его, побледнев. Но тут же перед товарищами проговорил: — «Т», — это Татаров, а «инженер Азиев», — это я. Я отвезу письмо в ЦК». И Азеф лично Гоцу отдал письмо. Но письмо не имело копии. В отношении Татарова, он дополнил его фамилиями Барыкова, Фрелиха, Фейта, Никонова. В отношении же себя отрезал конец письма, который был таков: — «Если не можете сделать всё так, как мы советуем, — ничего не предпринимайте, если же исполните всё в точности, то уведомьте помещением в почтовом ящике «Революционной России» заметки: — «Доброжелателям. Исполнено». В этом случае последуют дальнейшие разоблачения».

Это письмо констатировало выдачу «инженером Азиевым», в котором сам Азеф признавал себя: — съезда боевиков в Нижнем, покушение на тамошнего губернатора, выдачу динамитной мастерской, транспорта динамита Веденяпина, убежища Брешковской. Казалось бы красноречивейшие факты, которые так легко проверить! Но расследовал ли эти факты ЦК? Нет. Он признал факты в отношении «инженера Азиева» мелкими и ничтожными. А письмо «шуткой» департамента полиции. В отношении Татарова поступили иначе. Татарова — убили! Кто? Азеф убил конкурента руками социалистов-революционеров.

Но ЦК не было передышки. Вскоре опять в партию пришли сведения о провокации от одесского охранника Сор-

кина. Но и ими не воспользовался ЦК. Тогда, через два года, получилось опять подробное письмо саратовских с. р., не оставляющее никаких сомнений в предательстве Азефа. Но это многостраничное письмо осталось до сих пор даже — я подчеркиваю это — известным только нескольким членам ЦК. Его замяли. Сунули под сукно. Но что же это такое? Злостное попустительство или наивность, граничащая с глупостью? Я не хочу верить, что так наивен и плох ЦК партии с. р.

Посмотрим же, что делал за эти годы бесплодных попыток разоблачения Азеф? Он стоял во главе партии и террора и убивал левой рукой министров, а правой товарищей по партии, но отнюдь не членов ЦК. Он не убил ни одного из них, он убивал чудеснейших юношей и девушек, веривших в террор и своего руководителя. Как же назвать это «легкомыслие» ЦК партии, скажите мне, где его корни?

Меня обвиняют в клевете после того, как до меня в распоряжении ЦК имелся Монблан данных, из которых так легко было установить провокацию Азефа. Но есть такая испанская поговорка: — самый глухой тот, кто не хочет слышать. И таким, внезапно глухим на одно ухо оказался ЦК! Корни этой глухоты были в неприглядной до жуткости картине партийно-организационных нравов. Я принужден коснуться этой атмосферы азефовщины, ибо именно она питала кровавыми соками неслыханное в мире предательство.

Члены ЦК партии с. р. вместе с монополией идейного руководства соединили и монополию организационного руководства. ЦК превратился в большую, хорошо сплоченную семью. Члены стали непогрешимыми папами, самодовольными нарциссами, не терпящими непокорности. ЦК проникся бюрократическим духом касты. Цекисты стали выше критики, они стали недосягаемы, как римские императоры. Как полноправные члены ЦК, вошли жены цекистов, их родственники, царила сплошная склока, кумовство, интриги, сплетни, прислужничество. В семейную касту замкнулся всякий приток свежего воздуха. И в этой затхлости расцвел пышным, махровым цветом Азеф.

Он был своим в своей семье. Так какие же могли быть подозрения члена семьи? Хуже того, сюда примешалась

самая гнусная, самая крепкая, самая страшная — власть денег. К деньгам льнут, перед деньгами пресмыкаются и совсем незаметно забота добывания денег для партии превратилась из средства в цель.

Азеф являлся для партии добывателем денег. Он доставал их. Откуда? Вопрос другой. Этим не интересовались нарциссы из ЦК. Провокатор Татаров тоже доставал деньги, благодаря чему и должен был быть кооптирован в ЦК. Эти деньги шли из департамента полиции от генерала Герасимова и сыщика Рачковского. ЦК был в их сетях. Но не целиком. Азеф, как главарь террора, доставал деньги и с другой стороны, от сочувствующих террору богачей и организаций. И вот с двух сторон он держал в руках партию, то есть, семью ЦК. Так, как же начнут разбирать дело его предательства? Ведь у такого предательства найдется слишком много родственников? Железная броня «круговой поруки» семьи ЦК стала для Азефа каменной стеной, за которой он убивал направо и налево, кого хотел, оставляя в живых членов ЦК и генерала Герасимова. Именно сознание кастовой солидарности считалось и считается «чувством товарищества» по отношению к Азефу, о котором так красно говорили члены ЦК. Но какую же чудовищную жестокость проявляли эти люди в отношении смелых, молодых, отважных товарищей? Я не могу поверить, неужели все подозрения, поступавшие в ЦК, не заставили господина Чернова хотя бы раз задуматься, хотя бы раз кого-нибудь остеречь. Ведь именно вы, господа Черновы, передавали беззаветную молодежь в руки Азефа, не чувствуя даже обязанности предупредить. А вы обязаны были предупредить так: — «знайте, что существует «петербургское письмо», что существует «саратовское письмо», что существует подозрение Крестьянинова, имеются показания Татарова, обвинение «Мортимера» Рысса, существует масса обличительных данных против Азефа, но мы абсолютно доверяем Азефу, оставям его в нашей среде и он осведомлен абсолютно обо всем, действуйте теперь, как хотите. Тогда бы, если б и шли на бойню, то хоть в полной осведомленности об опасности предстоящей игры. Но господа Черновы и Савинковы передавали Азефу молодежь молча. И беззаветную молодежь вешал генерал Герасимов. Правда, у Азефа были и другие, кроме виселицы, меры. Я должен

упомануть и о них. Со многими, отдавшими себя в распоряжение боевой организации террористами, Азеф поступал и иначе. Якобы для конспирации отсылал в самые глухие городки и местечки России, приказывая не двигаться с места без его вызова. Пьянствуя, развратничая, тратя безумные деньги, жандармские и партийные, он отсылаемым не давал средств к жизни, заставляя вести голодную и полную бездействия жизнь. За это он получал от Герасимова. Отважные идеалисты, преданные партией в руки провокатора, кончали там жизнь самоубийством. Это не единичные факты! Товарищ Чернов об этом знает! Но на стреляющихся молодых революционеров не обращали внимания потому, что, во первых, Азеф был чересчур свой человек в аристократии ЦК, а, во вторых, потому что диктатор террора бывал часто безапелляционен, указывая товарищам: — террор — это я! И вот перед нами сотни трупов, совсем недавние жертвы, повешенные Герасимовым беззаветные Зильберберг, Сулятицкий, Синявский, Никитенко, Лебединцев, Трауберг! И всё же и сейчас представители партии и друзья Азефа не желают видеть правду. Так разрешите же, перейти к фактической стороне, к деталям разоблачения, которые должны слепых убедить в том, что террор партии вел агент полиции.

Бурцев перешел к данным сыска, приведшим к убеждению, что «Раскин» — Азеф. На четвертом часу он чувствовал уже скрепы, пролегли меж ним и судьями. Было ясно: — Лопатин верит, Кропоткин поколеблен. Даже, кажется, поколеблена Фигнер. Факты шли нарастая, давая сознание. Бурцев рассказывал, как ездил в Варшаву к инженеру Душевскому узнавать, был ли у него пять лет назад Азеф, как ездил в Швейцарию к Рубакину. Сотни точнейших фактов передал Бурцев. Но вот, сделав паузу, и отпив воды, он проговорил:

— Я изложил историю попыток разоблачений Азефа, изложил факты, устанавливающие предательство, изложил свой гнев и ту атмосферу в ЦК, в которой при легкомысленном попустительстве действовал Азеф, но у меня есть и еще факт, после которого даже В. М. Чернову и Б. В. Савинкову придется, кажется, поверить. Но я могу его сообщить суду только под условием, если представители эсэров дадут честное слово, что не воспользуются сообщаем-

мым иначе, как с согласия суда. Суд же пусть делает из сообщения, что найдет нужным.

Наступила тишина. Ее прервал председатель Лопатин голосом, уставшим от молчания: — Угодно представителям обвинения согласиться с предложением Владимира Львовича Бурцева? — он щурил глаза, ибо за двадцать лет одиночной камеры стал близорук.

Чернов возбужденно совещался с Натансоном и Савинковым.

Встал Савинков:

— Мы согласны из сообщаемого Бурцевым факта не делать никакого употребления без согласия суда.

— Тогда, — проговорил Бурцев, — я сообщу. Совсем недавно, за неделю до моего последнего заявления партии, я узнал, что за границей находится бывший директор департамента полиции Лопухин, которого, я знаю, как противника революционеров, но честного человека, и который, как известно, именно поэтому, впал в немилость у правительства. Я был внутренне убежден, что если освещу Лопухину двойную работу Азефа, то он сам поразится услышанным, ибо знает Азефа только, как агента полиции, а не как революционера и, поразившись, как честный человек выдаст мне этого изувера, этого дьявола рода человеческого. Я ловил Лопухина. Узнал, что 25 числа он будет в Кельне на пути в Берлин, откуда поедет в Россию. Я поехал в Кельн ждать его.

Я узнал его в зале 1-го класса, видел, как он прошел в вагон. Я шел за ним. Сел умышленно в другое купе, не желая встречаться, пока не тронется поезд. Я тщательно следил и знал, что я «без хвостов». Когда поезд тронулся, я как бы случайно вошел в купе Лопухина. Он был один и читал «Франкфуртер Цейтунг».

Мы поздоровались, заговорили, беседа началась совершенно обыденно, я не старался брать быка за рога, но сказав, что провалы последних дел партии с. р. объясняются тем, что во главе Б. О. стоит провокатор, почувствовал, что почва создана и обратился к нему так: — Алексей Александрович, позвольте рассказать вам всё, что я знаю об этом провокаторе и о его деятельности, как среди революционеров, так и охранников.

Он согласился. Я начал рассказ. Знаю, что я шел ва

банк, рассказывая бывшему директору департамента полиции о карьере революционера Азефа, знаю, сорвись мое дело и господ Чернов и Савинков не поцеремонятся со мной. Но моя вера поставила на карту мою жизнь. Я рассказал детально, как Азеф убивал Плеве, как убивал Сергея, как ставил акт на Дубасова, как подготавливал убийство царя и в то же время посылал на виселицу революционеров, отдавая их Герасимову. Лицо Лопухина было передо мной, чем дальше я рассказывал, тем явственней видел, что Лопухин изумлен, подавлен, не хочет верить, что он знает этого охранника.

Когда я заговорил о цареубийстве, Лопухин побледнел, но он уж не мог скрыть волнения и не верить сообщаемым мной фактам, о которых знал с другой стороны баррикады. Лопухин был потрясен, по моему, именно тем, что если не непосредственно, то всё же и он принимал участие в работе Азефа. И тут, после шестичасового разговора, я сказал: — Будучи директором департамента, вы не могли не знать этого провокатора, он известен, как «Раскин», я окончательно разоблачил его, разрешите мне сказать, кто скрывается под этим псевдонимом. Я готов был назвать Азефа, как вдруг взволнованный Лопухин сказал: — Никакого Раскина я не знаю, я знаю инженера Евно Азефа...

Бросив председательское место, Лопатин тяжелыми шагами подошел к Бурцеву и положил ему руки на плечи:

— Львович, дайте честное слово, что вы это слышали от Лопухина! — Но тут же обернулся, безнадежно махнув рукой. — Да что тут, дело ясное! — в глазах старого революционера стояли слезы.

Вскочили представители обвинения, вскочили с мест судьи, произошло замешательство.

— Вы выдали Азефа! — кричал Чернов. — Вы подсадили его Лопухину!

— Азеф выше обвинений Лопухина! — жестикулировал Натансон.

— Герман Александрович, — подошел к Лопатину Савинков, — это невозможно, вы верите Лопухину?

— Конечно. На основании таких улик убивают.

Савинков был, как пьяный, болела передняя часть головы, он бормотал: — невозможно.

— Так, как же вы объясняете роль Лопухина?

- Лопухин и Азеф. Я верю Азефу.
- Почему? Лопухин не заинтересован.
- Я верю, что Азеф невиновен.
- Петр Алексеевич, но ведь это же полицейская интрига! Лопухин набрасывает тень на Азефа! — кричал Чернов, наседая на Кропоткина.
- Что же? Вера Николаевна тоже верила Дегаеву,
- проговорил Кропоткин, снимая с себя руку Чернова.
- Лопатин громко сказал:
- Объявляю сегодняшнее заседание суда закрытым.

3

Вечером Савинков стоял у парапета Моста Инвалидов. Он думал в темноте о суде, об Азефе и о герое романа. «Если клевета и заблуждения Бурцева окажутся правдой? Неужели Азеф равен герою, плюнувшему в лицо человечества? Ложь». Но страшные, смутные ощущения наполняли душу. «Невероятно. Ложь. Бурцев заплатит дорого за это. Его уже едет убить Карпович».

Сена стояла мутная, в красно-зеленых отраженьях огней. Под мостом, сжавшись, скрипели баржи. Савинков ощутил запах яблоков. Нагнувшись, увидел баржи груженные яблоками. Постояв, он тихо пошел через мост — к Бурцеву.

4

В дверях квартиры Бурцева Савинков столкнулся с Бэлой, одетой в пестрое мантио, остаток петербургской конспирации террора.

- Вы тоже сюда? — странно проговорила Бэла.
- Здравствуйте, Бэла, как вы бледны, вы нездоровы?
- А разве вы здоровы?

Не простившись, не здороваясь, Бэла зашелестела пестрым, дорогим мантио, нешедшим к ее некрасивой фигуре.

— Очень рад, что зашли, Борис Викторович, — сидя среди книг, газет, фотографических карточек говорил Бурцев. — Вы меня уж простите, вас считаю ведь единственным честным противником. Садитесь пожалуйста, — улыбаясь выставленными зубами седенький, узенький Бурцев.

— То есть вы, Владимир Львович, полагаете, что есть товарищи, ведущие себя на суде нечестно?

- Темна вода во облацех, Борис Викторович. Не ве-

рю, конечно, чтоб кто-нибудь из ЦК знал об одновременной работе Азефа в департаменте. На суде я достаточно обрисовал атмосферу коррупции в ЦК, чтоб понять почему проходили мимо подозрений. Но посудите сами: всякому непредубежденному человеку после моего доклада ясно, Азеф предатель. И вот тут-то, простите за откровенность, ЦК делает фортель. Спасай мол самих себя! Спасай партию! Пусть, мол, даже Азеф и предатель, но оглашать — ни-ни. Произойдет восстание периферии против центра, потеря лавров, постов, чинов, орденов, — улыбнулся Бурцев. — Да что там говорить, партия конечно сильно закачается, может даже и не оправится. Вы понимаете, что произойдет когда везде будет напечатано: глава партии Азеф — агент полиции. Ведь это же факт мирового масштаба, Борис Викторович! Небывалый случай в истории! Во всех странах заговорят.

— Если б это была правда.

— А это правда, Борис Викторович. Только партия не хочет роскоши правды. Партии выгодней другое, — Бурцев засмеялся, выставляя передние зубы, — покарать Бурцева за роскошь правды.

— Хотите сказать — убить? — сказал Савинков, поняв зачем к Бурцеву приходила Бэла.

— Разумеется.

Савинков тоже слегка улыбнулся.

— Ведь становясь на партийно-генеральскую точку зрения, Борис Викторович, выход из дела ясен: — Азеф предал многих товарищей, но их уже повесили, стало быть — не вернуть. «Что прошло — невозвратно». А разоблаченный Азеф покрывает партию позором. Так лучше покрыть сосновой доской Бурцева, чем позором партию. Концы в воду. А Азефа отвести под ручку: — поставь, мол, акт мирового масштаба с рекламой на весь мир — убей, мол, царя — реабилитируй себя и отойди в сторонку, поезжай, скажем в Южную Америку плантации разводить. Дегаев был много мельче и то во искупление грехов убил полковника Судейкина и получил индульгенцию. Ну а Азеф, знаете, многое может, хитрейшая бестия, голова не дегаевской чета. Царя-батюшку за милую душу кокнет и не вздохнет.

— Владимир Львович, — перебил Савинков, ему было трудно начать, ибо Бурцев говорил не переставая, — у меня

мозги заворачиваются, когда я вас слушаю. Неужели вы действительно верите? Поймите же, что Азеф ни в чем не виновен. Это ваш кошмар, ваше наваждение. У всех нас мысли нет о подозрении, малейшего колебания нет.

— Какое же колебание, — захохотал Бурцев, — когда Бэла приходит и прямо говорит, что пустит мне пулю в лоб. Тут не до колебаний, знаете.

— Я пришел к вам говорить совершенно искренно, Владимир Львович. Скажите, как на духу; — неужто не наваждение? неужто ж вы сами то твердо, каменно убеждены?

— Каменно убежден, — проговорил Бурцев.

— Не допускаете мысли, что Лопухин с Бакаем играют с вами в игрушку?

— Хороша игрушка! Да знаете вы, что Бакай разоблачил до 30 провокаторов! Докопался до таких столпов, как польский писатель Бржозовский, властитель дум революционной молодежи! А Лопухин? Да вы бы видели его лицо? Для чего ему лгать? Ведь я же нашел его, а не он меня?

— Невероятно, — бормотнул Савинков, — ничего не понимаю, но ни на минуту, понимаете, ни на минуту не допускаю мысли.

— А кстати, где Азеф? — как бы не расслышав сказал Бурцев.

— На днях приезжает. Был в Испании.

— В Испании? Недурное местечко. А скажите, Борис Викторович, правда, что Карпович тоже едет в Париж?

— Писал.

— Убивать меня едет?

— Писал и это.

— Так-так, — проговорил Бурцев. — А знаете, как он освободился? Нет? Так я расскажу вам: — после бегства из Сибири, он встал во главе отряда в Петербурге, не правда ли? Ну, вот, его совершенно случайно арестовали на улице. Но Азеф, зная, что Карпович верит в него как в Бога и берется в меня стрелять, защищая его честь, не перебивайте, не перебивайте... вместе с Герасимовым отпускают его из тюрьмы. Да, да, посудите сами, какой вздор разыгрывается среди бела дня. Опасного террориста, шлиссельбуржца, убийцу министра Боголепова, главу от-

ряда перевозит из тюрьмы в тюрьму околодочный на простом извозчике. Больше того, у аптеки околодочный, кстати сказать, переодетый Доброскок, «Николай золотые очки», слезает и говорит Карповичу: — «посиди, я сейчас приду». — Выходит из аптеки, видит, что Карпович сидит, не догадался. Поехали дальше. Околодочный останавливается у какого-то магазина, опять «посиди». Но тут уж Карпович догадывается, бежит. И к кому же? Прямо на квартиру к Азефу.

— Вы хотите, стало быть, сказать, что полиция и Азеф отправляют террориста с незапятнанным именем убивать вас?

— Конечно! Именно так, Борис Викторович! А вы думаете, что в департаменте все уж так и лыком шиты. Да там, батюшка, такие Мак-Магоны сидят, такую тончайшую инквизицию разводят, что сам бы Торквемада в восторг пришел. Это маги, Борис Викторович, маги своей техники!

— Владимир Львович, невозможно, — засмеялся Савинков, — вы больны шпиономанией, больны! Маниакальные, навязчивые идеи! И всё сходится как в аптеке! Сверхъестественно и феноменально! Но поверить хитросплетению, не обижайтесь, никак не могу.

— Да я и не обижаюсь. Я же знаю, что если меня Карпович и Бэла не убьют до окончания суда, вы решительно во все поверите. Даже, пожалуй, Чернову и то придется поверить, хотя он этого, ух, как сильно не хочет!

— Если суд вас оправдает, мы пойдем на конфликт с судом, — вставая проговорил Савинков, — вы понимаете, что это не укладывается в голове. По-ни-ма-е-те? — сказал он, указывая на лоб пальцем. — А если это будет правдой, то надо понять и то, что все провокаторы взятые вместе не нанесли бы такого удара террору, какой наносите вы, террорист Бурцев. Ведь вы же сами сторонник террора?

Бурцев сделал вид, что не расслышал этой фразы и вставая сказал:

— Тогда б и суда не нужно. Только вот что, Борис Викторович, когда увидите с Азефом, так уж, простите за напоминание, о Лопухине ни слова.

— Мы дали слово суду.

— Ах, знаете, дружба великая вещь, — улыбнулся

Бурцев. — Прощайте. А мучаетесь вы душевно, Борис Викторович? Ох, еще как помучаетесь, когда узнаете с кем людей убивали.

— А это мы увидим, — сказал, выходя, Савинков.

5

В этот день на парижских извозчиках ехало много разнообразных людей. Но едва ли был более встревоженный и беспокоящийся седок, чем тучный господин в легком песочном пальто и светлой шляпе.

Извозчик вез его в узком кабриолете на рю де ля Фонтен с средней скоростью, сдерживая кабриолет на углах, где неслись потоки встречных экипажей.

Уж вечерело. Сеял дождь. Господин в песочном пальто и светлой шляпе волновался не потому, что был без зонта и светлая шляпа от дождя могла испортиться. Господин просто боялся, что вот сейчас, на рю де ля Фонтен, в квартире «Мальмберг», он будет убит.

«Аргунов мог дать телеграмму, разоблачение может быть с минуты на минуту». Азефа передернула судорога. Он всматривался в номера домов.

— Иси, иси, — забормотал он и, остановив извозчика, слез.

Он перешел на обратную дому Савинкова сторону. И шел походкой вора, идущего на дело. Он кутался в тени домов, подъездов. Не доходя остановился. Отсюда видел: — окна квартиры Савинкова освещены, за ними мелькают человеческие тени. «Собрание. Может конечно?» Тени в окнах замелькали толпой. Отхлынули. Окна стали чисты и светлы. «Уходят». Азеф почти отбежал к следующему подъезду.

Он видел, как выходили. Узнал всех. «Боевики». Сердце захолонуло и упало. Вот — Савинков с непокрытой лысоватой головой, в одном пиджаке, провожает. Прощается с двумя женщинами — Рашель и Бэла. За ними — Вноровский, Слетов, Зензинов, Моисеенко. Услыхать хоть бы самое короткое слово. Он видел, как помахал рукой Савинков, повернулся и пошел в дом.

«Ерунда», — мотнул бычьей головой Азеф и наискось стал переходить улицу.

И все же сердце билось не оттого, что была крутая лестница. Азеф поднимался тяжело, останавливался в пролетах поворотов.

В кабинете был зеленоватый полусумрак от стоявшей на письменном столе лампы. Азеф вошел за Савинковым усталой походкой. Лицо словно налилось водянистым жиром. И яркие, вывороченные губы казались краснее обычного. По лицу, походке Савинков увидал в нем волнение. Азеф сел возле стола, от абажура толстое лицо стало зеленым.

— Расскажи подробно обо всей этой гадости, — пробормотал он. — Как это меня измучило и разбило.

— Страшен чорт, Иван, да милостив Бог. Конечно неприятно, но сейчас у меня были боевики, для всех ясно, что Бурцеву при обвинении его судом, ничего не остается, как пустить себе пулю в лоб. Он даже сам так сказал Бэле.

— Так сказал? — скороговоркой проговорил Азеф.

— Да. Главный его козырь — охранник Бакай, бежавший из Сибири; он был сослан за связь с Бурцевым.

— Я ему давал деньги на побег, — пробормотал Азеф.

— Бурцев говорил, что ты приходил вместо Чернова. Он тебя и тут обвиняет, маньяк. Говорит, что департамент по твоему распоряжению дал телеграмму об аресте Бакая в Тюмени и будто только совершенно случайно Бакай бежал.

— Какая чепуха, — прохохотал Азеф. — Ну, а дальше?

Савинков рассказывал о суде.

— А что это за «сенсация»?

— Какая сенсация? Ах да, Бурцев называет это «сенсацией».

— Что это такое?

— Я не вправе это сказать, Иван.

— Почему? Ты дал слово?

— Дал.

— Жаль, — проговорил Азеф. Савинкову показалось, что Азеф побледнел, но свет был зелен, разобрать было трудно. — Опять какой-нибудь Бакай?

— Чиновник полиции.

— Высший?

— Довольно.

Азеф смотрел на Савинкова в упор.

— Неужели же ты мне не скажешь, Борис? Лопухин? — делая улыбку, сказал Азеф.

— Может быть, Лопухин. Я дал слово, Иван. Я тебе ничего не говорил.

Азеф отвел глаза, вздохнул животом, после молчания проговорил быстрым, гнусавым рокотом:

— Так ты говоришь, Кропоткин подозревает двойную игру с моей стороны?

— Да.

Азеф помолчал, ухмыляясь. И вдруг рассмеялся резко, звонко, на всю комнату.

— Да, конечно. Не очень то вы умны, чтобы вас нельзя было обмануть. Вас действительно ничего не стоит обмануть. Бурцев врет вам, приводит «сенсации», а вы... хороши товарищи. Ну, Кропоткин из ума выжил, ему все может придти в голову, а вы?

— Почему мы? Ты так говоришь, будто мы в отношении тебя что-то упустили?

— Мы не должны были идти на суд, — зло проговорил Азеф, — это была фантазия твоя и Виктора, что Бурцев будет разбит в две минуты и что я выйду из всей этой грязи сухой. Вам до моего душевного состояния не было никакого дела. — В мгновенном, змеином, плоском взгляде Савинков ощутил ненавидящую злобу, которую знал редко.

Азеф сидел, сложа руки на животе. Он был, как безобразный Будда.

— Ты бросаешь упрёки, это только неблагодарность. Если ты думаешь, что тебя плохо защищают, иди сам на суд, опровергай вместе с нами, говори. Я считаю, что это было бы хорошей защитой дела.

Азеф взглянул на него искоса.

— Я думал, вы, как товарищи, с которыми пуд соли съел, защитите.

— Мы делаем все, что можем, Иван.

Азеф молчал. Савинков знал и этот переход от отчаянной злобы к ласковости, почти нежности. Азеф улыбался, не меняя позы. Потом хмурясь, проговорил:

— Так ты думаешь, лучше, если я явлюсь на суд?

— Конечно.

Азеф откинулся. Савинков увидал громадный, зобастый подбородок и шею в белом воротничке и красноватом галстуке.

— Нет, — проговорил он. — Этого я не могу. У меня нет сил на эту гадость идти, возиться. — И эту перемену Савинков знал, она была редка, но он ее видел. Азеф казался внезапно разбитым, подавленным.

— Эта история, — проговорил он, — меня совсем убьет, если вы не положите ей конец... Убить бы эту гадину Бурцева...

Играя спичечной коробкой, Савинков сказал.

— Немыслимо. Это будет скандал, а не реабилитация. Азеф молчал.

7

Ночью, когда Азеф вошел в комнату, Хеди проснулась, зажмуриваясь от зажженного света. Азеф ощущал озноб, проигрыш, гибель, ужас. Увидев выпроставшиеся руки, половину груди, разругавшиеся ото сна щеки, даже не выговорил слов. Тихо, быстро раздевался. Шлепая босыми ногами, скользнул голый, громадный, накренил матрац. Хеди ждала его и обожгла горячими ногами.

8

События развивались, как в стремительном, уголовном романе. Менялись. Колебались. Но вдруг узнали все, что Азеф ездил не в Берлин, а в Петербург, к Лопухину, именем детей умоляя пощадить его, не выдавать революционерам. За Азефом у Лопухина зазвенел шпорами генерал Герасимов, грозя именем Столыпина, смертью. За Герасимовым к Лопухину пришел следователь партии: Аргунов.

— У меня были Азеф и Герасимов, — сказал Аргунову Лопухин. — Меня обещают арестовать и сослать в Сибирь за государственную измену. Это меня ничуть не пугает. Но не думайте, что я выдаю революционерам Азефа из-за сочувствия революции. Я противник всякой революции. Я стою по другую сторону баррикад. Я делаю это из-за соображений морали.

9

Собрав последние силы, Азеф возвращался в Париж. От генерала Герасимова было четыре паспорта, две тысячи рублей на побег. Герасимову он оставил завещание в пользу семьи, прося помочь ей, если его убьют в Париже.

Азеф приехал к жене, Любови Григорьевне на Бульвар Распай № 245. И без Хеди был беспокоен. Оба сына были при нем. Мысль, что убьют именно тут, на глазах жены и детей была невыносима.

— Ваня, Господи, как ты изменился, как они тебя мучат и за что? За то, что ты десять лет ходил с веревкой на шее? Негодяй, этот Бурцев...

— Ну, хорошо, хорошо, не скули, без тебя тяжело, — и Азеф прошел в комнату детей. Сев там, он рассматривал школьные рисунки сына. Любовь Григорьевна готовила завтрак. Азеф листал и листал рисунки. Пока не понял, что не видит их, а листает от непокидающего его страха.

— Ваня! — крикнула Любовь Григорьевна. Азеф вздрогнул. И в тот же момент раздался звонок.

«Они», — подумал, вскакивая, Азеф, желая предупредить жену, бросился в коридор. Но Любовь Григорьевна уже открыла. И он увидел: — Чернова, Савинкова и боевика Павлова.

— А, Любовь Григорьевна! — улыбался в дверях Чернов. — А мы к Ивану! Дома?

Азеф, молча, шел из темноты навстречу им медленными шагами.

Поздоровавшись, не глядя повел в крайнюю комнату, в свой кабинет. Грузно сел за стол, слегка приоткрыв ящик, где лежали два револьвера.

— В чем дело, господа? — проговорил Азеф. Оглянувшись, он увидел, что они стоят, загородив выход.

— В чем дело? — собирая силы, чтобы скрыть волнение, дрожанье челюстей, проговорил Азеф.

Чернов вытащил из кармана сложенный вчетверо лист.

— Прочти документ, Иван. Из Саратова.

Савинков стоял необычайно бледный, узких глаз не было видно, губы словно вдавились, вид был болезненный. Павлов глядел спокойно на Азефа.

Савинков видел как, бледнея, Азеф встал спиной к окну, начал читать разоблачающий его документ, но он не читал, он только собирал силы, чтоб оторваться.

Овладев собой, Азеф грубо проговорил:

— Ну, так в чем же дело?

— Нам известно, — сказал Чернов, — что 11 ноября ты ездил в Петербург к Лопухину.

Азеф ответил спокойно.

— Я у Лопухина никогда в жизни не был.

— Где ж ты был?

— В Берлине.

— В какой гостинице?

— Сперва в «Фюрстенхоф», затем в меблированных комнатах Черномордика «Керчь».

— Нам известно, что ты в «Керчи» не был.

Азеф захохотал звонким смехом, который так хорошо знали Чернов и Савинков.

— Смешно, я там был...

— Ты там не был.

— Я был! — бешено закричал Азеф. — Что за разговоры! — Азеф выпрямился, подняв голову. — Мое прошлое ручается за меня! Я не позволю!

Тогда Савинков приблизился к нему, держа руку в кармане. Он был синевледный. Азеф смотрел ему в глаза.

— Если ты говоришь о прошлом, — глухо сказал Савинков, — скажи, почему в покушении на Дубасова, когда карета ехала мимо Владимира Вноровского — у него не оказалось бомбы?

— Это ложь! — бледнея, проговорил Азеф, у него дрожали ноздри и губы. — У всех метальщиков были бомбы. Карету Дубасова пропустил Шиллеров. Я не знаю почему.

— Мы допросили Вноровского. Дубасов проехал мимо него. Но у него не было бомбы. Ты ему не дал.

— Ложь! — закричал Азеф. — Было так, как я говорю!

— Стало быть Вноровский лжет?

— Нет, Вноровский не может лгать.

— Значит лжешь ты? — Савинков смотрел в упор, его лицо дрожало. Азеф был бел, но как каменный, он собирал последние силы.

— Нет, я говорю правду.

— Подождите, Павел Иванович, мы должны сначала выяснить вопрос о Берлине, — перебил Чернов.

— Иван, зачем ты ездил в Берлин?

— Я хотел остаться один, Виктор. Я устал. Я хотел отдохнуть. Я думаю, это понятно.

— Почему ты из «Фюрстенхоф» переехал в «Керчь»?

— В «Керчи» дешевле.

— Так ты переехал из-за дешевизны? С каких это пор, ты вдруг стал расчетлив? Ты всю жизнь жил глухими асигновками и, кажется не копейничал?

— У меня были и еще причины.

— Какие?

— Это не относится к делу.

— Ты отказываешься отвечать?

— Я переехал из-за дешевизны. Остальное не касается дела.

— Скажи, как ты понял мои слова, — проговорил записываясь Савинков, — когда я говорил тебе, что некто, имени которого я назвать не могу, сказал Бурцеву, что ты служишь в полиции и разрешил сообщить это мне?

— Я понял, что некто разрешил Бурцеву сказать это тебе.

— Некто — Лопухин, — проговорил Чернов. — Он не называл вовсе фамилии Савинкова. Но ты, со слов Павла Ивановича, понял, что Лопухин назвал его фамилию.

— Ну?

— И потому ты вошел к Лопухину со словами: — вы сказали Савинкову, что я агент полиции, сообщите ему, что вы ошиблись.

Вот сейчас дрогнул и стал зелен Азеф. И в тот же момент, прорезая пространство меж пришедшими, заходил по комнате.

— Что за вздор! Я не могу ничего понять! Надо производить расследование!

— Тут нечего понимать, — повернулся Чернов. — Иван, мы предлагаем тебе условия, расскажи откровенно о твоих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить тебя и семью.

Азеф услышал в этот момент, как отворилась дверь, из школы пришли мальчики и, зашикав, Любовь Григорьевна повела их по коридору на цыпочках.

— Иван, скажи всё без утайки. Разве ты не мог бы поступить тзк, как Дегаев? Ты мог бы больше, Иван.

Азеф ходил, молча. Голова была опущена.

— Принять предложение в твоих интересах.

Азеф не отвечал.

— Мы ждем ответа.

Азеф остановился перед Черновым, смотря в упор, в глаза, заговорил:

— Виктор, неужели ты можешь так думать обо мне? Виктор! — проговорил дрожаще. — Мы жили душа в душу десяток лет. Ты меня знаешь, также, как я тебя. Как же ты мог прийти ко мне с такими гнусными предложениями?

— Если я пришел, стало быть я обязан прийти, — ответил Чернов, отстраняясь от Азефа.

— Борис! — проговорил Азеф, обращаясь к Савинкову. — Неужели ты, мой ближайший друг, ты веришь в эту гадкую выдумку полиции? Господи, ведь это же ужасно!

— Мы сейчас уйдем, Иван. Ты не хочешь ничего добавить к сказанному? Ты не хочешь ответить на вопрос Виктора Михайловича?

— Мы даем тебе срок до 12-ти часов завтрашнего дня, — проговорил Чернов.

— После двенадцати мы будем считать себя свободными от всяких обязательств, — подчеркивая каждое слово, произнес Савинков.

10

Эта ночь в квартире Азефа была ужасна. Дети спали спокойно. Но вид освещенного камином кабинета Азефа был необычаен: стулья сдвинуты, ширмы повалены, на полу бумаги, вещи, дверь раскрыта. Растрепанный, в одной рубахе, в помочах Азеф торопливо просматривал кучи бумаг, часть утискивал в чемоданы, часть бросал в пылавший камин. В спальней у темного окна, дрожа, стояла Любовь Григорьевна.

Отрываясь от укладки, Азеф выпрямлялся, с лицом полным испуга говорил:

— Что, Люба? Всё еще там? А?

— Ходят, — из темноты отвечала Любовь Григорьевна.

— Ооооо... — рычал Азеф, стискивая голову руками, — убьют.

Любовь Григорьевна из-за угла всматривалась в темный бульвар Распай, видела двух в черных пальто, тихо прогуливавшихся по противоположной стороне. Она знала, дозор партии — Зензинов и Слетов.

В час ночи два чемодана были затянуты ремнями. Но выйти из дома нельзя.

— Люба, — проговорил Азеф, — потуши везде свет, пусть думают, что лег спать... — И скоро в одном белье, так, чтобы его видели с противоположной стороны, Азеф подошел к окну, постоял, электричество потухло, фасад квартиры потемнел. В темноте Азеф одевался. Любовь Григорьевна помогала.

— Господи, Господи, — шептал Азеф, — ты пойми, Люба, ведь если рассветет, я не уйду от них, знаешь, надо идти на всё, я переоденусь в твое платье...

— Ваня, ведь не полезет ничто, — дрожа, проговорила Любовь Григорьевна, — Боже мой, какой ужас, какая гнусность, и это товарищи.

— Постой, я посмотрю из опальной.

Азеф подошел к портьеру, всматриваясь в улицу. По противоположной стороне шел народ. Мужчины, женщины застлали. Слетова и Зензинова. Но вот они прошли. Азеф увидал наискось от дома — стоят два господина. «Они». Азеф всматривался, как никогда и ни в кого. «Но что это?» Азеф не верил глазам. Одна из фигур, Зензинов, он был выше Слетова, сделала странный жест. Слетов повторил жест, оба пошли по бульвару, уходя от квартиры.

— Люба, — вздрагивая, говорил Азеф, — пришла сме-на, теперь они наверное на этой стороне, уверен, пришел Савинков, на этой стороне мы их не выследим. Надо спуститься, из двора посмотреть.

Любовь Григорьевна уж одевалась, накинула платок и ушла через черный ход.

Азеф остался у портьеры. Сердце билось часто, сильно. Он держал правую руку на левой стороне груди. По черной лестнице раздались шаги, почти что бег. Выхватив из кармана револьвер, Азеф бросился за дверь.

Вбежала Любовь Григорьевна.

— Ваня, Ваня, никого нет, никого, Ваня, беги, беги...

Азеф держал ее за руки:

— Ты уверена? Ты хорошо смотрела? Может быть где-нибудь в подъезде?

— Никого, везде смотрела, никого: я остановила за два дома извозчика, он ждет, беги, беги.

Азеф быстро оделся. Согнувшись под тяжестью чемодана, обегала вниз с ним Любовь Григорьевна. Хотела об-

нять в подъезде, в последний раз, но Азеф рванулся из ворот и, оглядевшись, с чемоданами бросился к извозчику.

Любовь Григорьевна так и не успела его обнять.

11

Это было в пять утра, а в семь по бульвару Гарибальди бегом бежал возмущенный Бурцев. Вбежав к Лопатину, в дверях закричал, подняв вверх обе руки:

— Герман Александрович! Ужас!

— В чем дело?

— Упустили. Бежал ночью, — опускаясь на стул, проговорил Бурцев.

Шлиссельбуржец тихо качал седой, львиной головой.

— Скажем, вернее, не упустили, Львович, а отпустили, — проговорил он, горько засмеявшись.

— Помилуйте, на что же это похоже! Позавчера группа добровольцев эс-эров предложила ЦК всё дело ликвидировать собственными силами без всякого для ЦК риска. Так господа Черновы отклонили это предложение: — Ради Бога, говорят, не вмешивайтесь, вы всё дело испортите.

— Что ж там, — усмехнулся Лопатин, — снявши голову, по волосам не плачут. Давайте-ка, Львович, кофейку выпьем.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

В газетах всего мира писали об Азефе. Правда, историю его предательств и разоблачения газеты сопровождали фантастическими вымыслами, уголовными орнаментами, нелепыми психологическими домыслами. Азефа называли «инфернальным типом Достоевского», Бурцева — «Шерлок-Хольмсом революции».

В русской прессе и в обществе писали и говорили, что предательство было сложнее. Что ЦК знал об Азефе многое, но скрывал, ибо Азеф был выгоден партии. Незаслуженная грязь летела в ЦК. А после самоубийства боевички Бэлы, застрелившейся оттого, что Бурцев по легкомыслию спутал ее с провокаторшей Жученко, а Чернов слишком длительно ее допрашивал, ненависть боевиков к ЦК вспыхнула с новой силой. Молодежь взорвала и фраза Савинкова, брошен-

ная в пылу споров. Он сказал, что «каждый революционер — потенциальный провокатор». Сказал то, чего не хотел сказать, а может быть не удержал подуманного, он был не-вменяем: — ночи перед виселицей казались ему легче ночей после бегства Азефа.

Савинков по ночам ходил по кабинету, курил, садился, вставал, пил, снова ходил, похожий на ненаходящего себе места зверя. Он не думал об ужасе смерти товарищей на виселицах, о поражении дела, о том, что ЦК смешан с грязью. Он думал о том, что им, революционером Савинковым, пять лет играл провокатор Азеф, как хотел.

Савинков останавливался, сжимая кулаки, бормотал. До чего теперь всё было ясно! Выплыли двусмысленные разговоры, осторожные расспросы, неосторожные вопросы, нащупыванья, выщупыванья. Иногда Савинкову казалось, что у него не хватает дыхания. Знал теперь, почему в первом покушении на Плеве они были брошены, почему отстранил убийство Клейгельса, сорвал Дубасова, зачем в охряном домике отдавал приказание замкнуть ворота Кремля, почему была распущена Б. О. Вспоминал, как целовал его мясистыми губами Азеф, отправляя на виселицу, как выступал Савинков в ЦК, говоря о их усталости и о совместном сложении полномочий.

«Говорил от имени департамента полиции!», — проговорил Савинков вслух и вдруг рассмеялся.

2

Ночь была тиха. В квартире звуков, кроме шагов, не было. Савинков чувствовал разбитость, бессилие. «Игра в масштабе государства, быть может в масштабе мира, так ведь это ж гениальная игра?» Вместе с ненавистью, позором выплывало страшное чувство восхищения, которое надо было подавить. — «Ведь это ж и есть герой романа, в жизни правимой ветром и пустотой? Сазонов, Каляев, Азеф их целует. Бомбу вместе с их руками мечет действительный статский советник, обойденный по службе!» — Савинков — внутренне смеялся: над собой, над партией, над ползущим глетчером!

Сидя в куртке и теплых ночных туфлях, он перечел главу романа, кончавшуюся размышлениями Жоржа: — «А если так, то к чему оправдание? Я так хочу и так делаю. Или здесь скрытая трусость, боязнь чужого мнения? Бо-

язнь, скажут, убийца, когда теперь говорят герой? Но на что ж мне чужое мнение?»

Савинков хотел развить эту главу в апологию самости, единственности Жоржа. Но чувствовал внутреннюю помеху. Словно попало что-то в душу, волочится, тормозя. Это было, начавшее биться, стихотворение — об Азефе:

«Он дернул меня за рукав,
Скажи, ты веришь?
Я пошел впереди помолчав.
А он лохматый,
Ты лицемеришь!
А он рогатый,
Ты лгать умеешь!
А он хвостатый,
Молиться смеешь!
А он смердящий,
В святые метишь!
А он гремющий
Ты мне ответишь!
На улице зажигались поздние фонари
Нависали серые крыши.
Я пошел тише.
И вдруг услышал:
Умри!»

3

— Стало быть товарищи, — проговорил В. М. Чернов, председательствуя на заседании ЦК. — Поступило от товарища Павла Ивановича заявление с предложением возрождения Б. О. под его руководством. В первую очередь для реабилитации террора он предлагает центральный акт. Вопрос, товарищи, разумеется, ясен, реабилитировать террор должно и центральный акт был бы самым, разумеется, нужным партии актом, но есть тут товарищи, одно «но» и оно именно вот в чем: — можем ли мы выдвигать Павла Ивановича в начальники Б. О.? Прошу высказаться товарищей о Павле Ивановиче, а сам скажу следующее. — Как сейчас помню, сказал мне раз сам Азеф о Павле Ивановиче так: — чересчур он импрессионист, чересчур неровен для такого тонкого дела, как руководство террором. А уж он Азеф-то понимал, товарищи, ничего не скажешь. Да и Гершуни недолго с Павлом Ивановичем встречался, а при-

шел как-то ко мне и прямо сказал: — Ну, говорит, знаешь, этот ходульный герой не моего романа. Я ему говорю о Плеве, о Сергее, а Григорий свое: — нет, не знаю, говорит, чем он был, вижу только, чем он стал, мы, говорит, можем считать, что его не было. Вот, товарищи, что сказал такой тонкий в этом деле и понимающий человек, как Григорий, а мы вдруг, после провала Азефа, выдвинем Савинкова в главы Б. О., что ж из этого выйдет, товарищи? Да ровно нарочно ничего, товарищи, не выйдет. Прошу высказаться.

— Я буду краток, товарищи, — встал Минор, опираясь на стул, — полагаю, что кандидатура Павла Ивановича в начальники Б. О. сейчас в столь ответственный момент едва ли возможна. Чересчур он скомпрометирован близостью с Азефом и я не знаю даже, пойдут ли за ним боевики? Слишком много у Павла Ивановича врагов. Я против этой кандидатуры, товарищи.

— Да, что Савинков! — резко заговорил чернобородый Карпович, — куда ему там в главы Б. О.? Без Азефа не тот, эффектен, слов нет, да кишка коротка — пустоцвет!

— По моему мнению, товарищи, — сказал Слетов, — Павел Иванович даже едва ли лично поедет на террор в Россию. Уж не тот человек, в нем, товарищи, произошел какой-то надлом, что-ли. Он всё пишет роман о «праве на убийство», сомневается в том, что делал, как террорист. Как же может встать он во главе Б. О.? Не знаю товарищи.

— Я думаю, — встала жена Чернова, — что Павел Иванович никогда и не был подходящ для такой ответственной роли, как руководитель Б. О. Павел Иванович это аристократ партии, революционный кавалергард, свысока смотрящий на массовиков-штафинок. Не думаю, товарищи, чтобы за таким человеком пошли сейчас товарищи-боевики.

— Я недавно, товарищи, — сказал член военной группы Лебедев, — говорил с Павлом Ивановичем о реабилитации террора и он развивал мне свой план центрального акта и план организации новой Б. О. Признаюсь, мне не сильно это понравилось. Павел Иванович говорил о новых началах организации, а когда я спросил его, каковы ж они должны быть, он заявил, что принцип организации — военный. Дисциплина и иерархия. То-есть, стало быть, нужны рядовые Б. О., офицеры Б. О. — я его спрашиваю, ну, а генерал Б. О.? — Да, — говорит, нужны и генералы. После прова-

ла одного генерала, полагаю, товарищи, как бы не вышло чего нехорошего. Принцип иерархии показал нам, что это значит.

— Да, да, товарищи, — снова заговорил Чернов, — всё это верно, Павел Иванович под разлагающим влиянием Азефа при этом самом генеральстве стал действительно уж даже и не революционером как бы, а просто, так сказать, «решительным человеком», — засмеялся Чернов.

— Кхе, кхе, кхе, — закашлялся кто-то глубоко и длительно.

Перед заключительным голосованием встал Потапов. — Товарищи, — проговорил он, — всё это хорошо и то, что говорилось даже верно, но ведь кроме Савинкова никто не берется за эту работу? А реабилитация террора необходима. За Савинковым же, что ни говорите, опыт, акты, знание дела. Если отведем кандидатуру Павла Ивановича, то, кто же возьмет на себя организацию новой Б. О.?

4

Савинков проводил ночи в кабаках Монмартра. Ему хотелось одиночества. Пил с рванью последнего разбора. Но ведь он же почти и не видел эту окружающую его рвань? За аперитивами, винами владела мечта. Он решил во что бы то ни стало встать во главе новой Б. О. Он уже видел карету русского царя, которую взрывает Борис Савинков. Но трясясь по ночам на дешёвеньком извозчике из монмартрских кабачков, знал, что это неправда, что это пьяный сон. Он один знал, что с ним сделал Азеф...

5

На переговоры с ЦК он приехал в смокинге с красной гвоздикой в петлице. Не извинился за костюм, бросив, что с вечера артистки Гранд Опера. Небрежно, надменно, Чернову показалось даже нагло, словно не добивался руководства, Савинков стал договариваться об условиях.

— У вас Павел Иванович акт уж намечен?

— Центральный.

— Ну, и прекрасно, в данный момент, после Азефа, царевубийство именно спасло бы престиж партии. Так что же? Товарищи вам доверяют, опытность ваша известна, ЦК выражает вам доверие, не пуху не пера, стало быть подпишем?

Савинков, не читая, подписал договор с ЦК.

«1. Б. О. партии с. р. объявляется распущенной. 2. В случае возникновения боевой группы, состоящей из членов п. с. р. под руководством Савинкова, ЦК а) признает эту группу, как вполне самостоятельную, независимую в вопросах организационно-технических, б) указывает ей объект действия, в) обеспечивает ее с материальной стороны деньгами и содействует людьми, г) в случае исполнения ею задачи разрешает наименоваться Б. О. партии с. р., 3. настоящее постановление остается в силе впредь до того или другого исхода предпринятого Б. О. дела и во всяком случае не более года».

Поблескивая лакированными туфлями, закладывая в боковой карман договор, Савинков вышел из квартиры Чернова. Ехал в ветре открытого автомобиля. В откинутой фигуре была небрежность. Он любил быструю езду.

6

Боясь провокации, Савинков составил террористическую группу из старых товарищей. И из Парижа стал готовить цареубийство. Уже первые сведения пришли: — трое боевиков начали в северной столице слежку за выездами царя из Царского. Савинков отдал распоряжение готовить динамит в уединенной вилле в Нейи. Бесконтрольное обладание людьми и деньгами, сопряженное с ответственностью, доставляло удовлетворение.

Савинков любил боевиков. Знал, что каждого пошлет и каждый пойдет на смерть. Больше других любил молодого Яна Бердо, поляка с аристократически-военной внешностью, умевшего держаться, пить и есть. Поэтому дал ему кличку «Ротмистр».

«Ротмистр» любил жизнь. У него были утонченные вкусы. Вместе бывали завсегдатаями скачек в Лонгшан. И желтые людишки вертящиеся у тотализатора безошибочно узнавали их котелки.

Холодный для мало знакомых, заносчивый с врагами, пренебрежительный остролов, Савинков с товарищами был ласков. Но чаще искал одиночества с своим романом. За романом, давая отчеты души.

7

День был разорван, часто отрывали от работы, звонили, вызывали на явки. Когда Савинков остался один, испы-

тал удовлетворенное чувство одиночества, дающееся сильно усталым.

Савинков сидел в полутемноте. Ни враг, ни друг не знали, о чем он думал. Он думал, что герой его романа Жорж это «Савинков доведенный до конца». Героя он сделал переходящим все границы. Жорж — сильный зверь. Убивать генералов он будет хотя бы потому, что ему не нравится красная генеральская подкладка. Убьет всякого, кто встанет на дороге. Оттолкнет тех, кто его любит. Савинков вспомнил Веру. Не было ни жаль, ни не жаль. «Цифра жизни. Баланс не сошелся, сбрасывается. Всё покрывается бессмыслием смерти. Смешны грани, рамки, если всё умирает».

Ночью Савинков работал над романом. Потом сидел склонясь за зелено-освещенным столом. Сводил полученные донесения от боевиков из России. Донесение, полученное неделю тому назад говорило, что наблюдение поставлено, что два раза кортеж царя был замечен. Даже удалось несколько двигаться за ним. Если бы на месте была вся организация и бомбы, может быть удалось бы — убить. Но последующее было тревожно. Один из ведущих наблюдение заметил слежку, принужден скрыться, другие стали осторожнее. Товарищи ждали, звали Савинкова скорее ехать в Россию, нанести центральный удар, реабилитировать террор.

Савинков задумывался. Лицо было зелено, как у трупа, еле заметно улыбался. Этого никто не знал: — не было сил. Он знал, что теперь, по приезде в Россию, когда он уже не нужен Азефу, когда он только сорвавшийся с виселицы террорист, его схватят и повесят. И что же? Разве всю жизнь он не шел на виселицу? Разве в Севастополе она была далека, когда из-под него вышибал табуретку Азеф? Разве он трус? Виселица не страшна, он, конечно, не трус. Но в этот момент он ненавидел Азефа. Урод убил, уничтожил его, оставив жить. Савинков с отчетливым отвращением ощущал: — он обманул ЦК, он не поедет в Россию, у него нет сил. Он знал, что это — усталость переломленной пополам души.

«Усталость. Обманываю ЦК? Чернова? Да я ненавижу их, как мелкую человеческую сволочь. Я играл с петлей. Пусть играют другие». Но тут же представлял себе: — по

Невскому проспекту мчатся конвойцы на белых конях, коляски, кареты, филеры и полиция оцепили кварталы, выезд Николая II-го несется и вот: — Взрыв! Карета взлетает на воздух. Кто убил всероссийского императора? Николая Романова убил Борис Савинков!

«А, действительно, не поехать ли?» Савинков был зелен в свете лампы, как труп.

8

Он снял наблюдение за царем, вызвав боевиков за границу: — шли тревожные подозрения Яна Бердо и «Миши Садовника». Пока съезжались — Слетов, Вноровский, Зензинов, Бердо, Прокофьева, Моисеенко, Чернавский, Миша-Садовник, — Савинков посвящал дни Парижу и одиночеству. Днем его видели на скачках в Лонгшан. По вечерам в богатых барах.

Иногда он писал стихи. Они были больные, кровавые. Он знал, что не убьет царя, что напрасно ездили по Петербургу боевики в извозничьих армяках, ходили папиросники. Знал, их могли повесить. Но что ж делать? Он признался б тому, кто бы понял. Рассказал бы, как горела, выгорала и сгорела душа.

9

Заведующий наружным наблюдением русской политической полиции в Париже, сыщик Анри Бинт был стар и опытен. Исполнял самые деликатные поручения. По приказу царя, например, наблюдал за братом царя Михаилом, женившимся на Наталии Вульферт. Пронырливость Бинта превзошла всё возможное. В церковь св. Саввы на бракосочетание вел. кн. Михаила с Наталией Вульферт проник Анри Бинт. Он не виноват, что опоздал прибывший от царя генерал Герасимов.

О, Анри Бинт — штука! Он доставил царю фотографию ребенка Наталии Вульферт. И именно ему особым чиновником от Герасимова, привезшим секретные бумаги касательно боевиков, поручено теперь тщательное, ни на шаг неотступное, наблюдение за Савинковым.

Служка удовлетворяла Бинта. Джентльмены, заговаривавшие на скачках в Лонгшан, кокетки Мулен Руж, проститутки на дне парижских кабаков оплачивались Бинтом. До запятой выписывал в дневник наблюдений жизнь Бориса Савинкова Анри Бинт.

Только вначале удивлялся Бинт, зная опытность своего партнера. Поражало: — партнер не защищается. Даже не оглядывается, идя по улице.

10

На пароходах из Гамбурга и Марселя стягивались боевики в Лондон. Под видом туристов в отеле недалеко от Чаринг Кросса состоялось заседание. Савинков был очень усталый. Перед собранием завтракал в зале отеля, пил виски. Сидевший с ним Ян Бердо сказал, что он пьет больше обычного.

Но когда собрались товарищи, первое что почувствовал Савинков: — невозможность руководить подчиненными ему волями. Силы истрачены, пустота. Подавленная молчаливость от провала работы, от подозрений, что снова в террор впивается провокация, действовала. Он медлил открыть собрание, разговаривая то с матросом Авдеевым, то с Бердо, то спрашивая Зензинова о впечатлении от России, то говоря с Вноровским о самоубийстве Бэлы. И оттого, что ждали, оттого, что собрание не открывалось, оттого, что Яна Бердо подозревали в провокации, состояние боевиков было тягостное. Савинков ощущал боль самолюбия: — не верят. Чувствовал самое страшное: — теряет самообладание.

Ян Бердо был развязен, смеялся. Знал, что в провокации подозревают именно его, что вопрос будет обсуждаться. Смеялся потому, что не было фактов и близость с Савинковым, родившаяся в кабаках, в тотализаторе, за остроумием ницшеанской беседы, — защитят его.

— Объявляю собрание открытым, — проговорил Савинков, заняв место за столом. Секретарем села бывшая невеста Сазонова, тихая Прокофьева. Товарищем председателя — Слетов.

— Товарищи, — заговорил Савинков. Любовь к слову и всплывшая, привычная обстановка подняли нервы. — Мы знаем, что после предательства Азефа террор должен быть реабилитирован. Предпринятый центральный акт необходим нам, как воздух. Но нас снова подстерегает смутная неудача. Если это неудача действия это не страшно. Много неудач было в терроре. На неудачах учились, шли к удачам. Но неудача у нас неясная. Почему товарищи заметили слежку? Данные опять указывают на самое гнусное — на про-

вокацию. Начинает казаться, что она вновь вьет гнездо, вызывая тень Азефа. Но если Азеф по оплошности ушел пока живым, другой предатель на это может не надеяться.

Савинков в паузу видел выражение лиц, самолюбивой болью ощущая: — не верят.

— Товарищи! Мы братья, спаянные кровью. Мы должны и можем быть открыты друг другу, потому что все идем на смерть. Предлагаю единственный способ, может быть тяжелый, но другого я не вижу. Пусть каждый выскажет о другом все подозрения, если таковые только имеются. Пусть биография и жизнь каждого будут представлены на полное, детальное рассмотрение. Если в жизни и биографии кого-либо найдется неразъясненное место, такому товарищу не должно быть места в боевой организации. Я начинаю с себя. Прошу сказать, кто что-нибудь имеет против меня, кто желает обо мне что-нибудь узнать, задать какой-нибудь вопрос?

Ответило полное молчание.

— Вам, Павел Иванович, мы доверяем полностью, — проговорил Ян Бердо, — думаю, товарищи, я выражаю общее мнение?

Тишина стала напряженной, жутче. Савинков перебил ее:

— Предлагаю, в таком случае, разобрать жизнь и биографию «Ротмистра».

Кто-то перемялся на стуле. Кто-то кашлянул. Тишина перервалась. Слетов проговорил:

— Я хотел бы знать, где был две недели тому назад «Ротмистр», то есть 17-го числа?

— Где я был? — проговорил «Ротмистр», перекладывая правую ногу на левую. Глаза всех были — на нем. — Позвольте, это довольно трудно припомнить, — приложил он руку ко лбу — 17-го числа я был в Мюнхене, да, да... в Мюнхене...

«Ротмистр» знал, что 17-го из Мюнхена он экспресом, через Берлин, ездил в Петербург к генералу Герасимову. Но вполне владея собой, повторил:

— Да, да, 17-го я был в Мюнхене. А почему вы, Степан Николаевич, спрашиваете?

— А 17-го вечером вы никуда не уезжали?

— 17-го вечером? Да, уехал. В Париж к Павлу Ивановичу.

Слетов молчал.

— А почему вы спрашиваете?

— Павел Иванович, «Ротмистр» у вас был в Париже 19-го?

— 19-го? Да, по моему был 19-го. Есть еще вопросы к «Ротмистру»?

— Нет, если вы виделись с ним 19-го, то — нет. Это проверка одного сообщения. Но оно кажется неверным.

Глядя на Слетова, «Ротмистр» улыбнулся детской улыбкой красивого лица.

— Мне кажется, что жизнь «Ротмистра» в Париже не соответствует нашему представлению о жизни революционера. «Ротмистр» не станет отрицать, что кутежи, скачки и прочее, это не неизменная особенность революционера. Я бы высказалась раз навсегда против такой жизни товарищей, — тихо проговорила Прокофьева. — И не объяснит ли «Ротмистр», на какие деньги производит он эти кутежи?

«Ротмистр» рассмеялся. Все увидели его белые зубы, гармонировавшие с румянцем щек.

— Если я бываю в ресторанах, то, товарищи, только с Павлом Ивановичем, перед которым моя парижская жизнь проходит, как на ладони. Если когда-нибудь я кутил, то уверяю вас, не на свой счет.

Поднятое было Савинкову болезненно оскорбительно. Он знал, что товарищи за глаза обвиняют его за широкую жизнь на деньги боевой организации. Чтоб прервать эти разговоры, он, нахмурясь, проговорил:

— Пора бы знать, товарищ Прокофьева, что по делам террора приходится посещать места и заведения, не представляющие особого удовольствия. — Усталость и мгновенное презрение к окружающим охватили его. Он оборвал вопрос «Ротмистра».

11

— Скажи, Владимир, ну, что же это такое? — говорил Слетов Вноровскому, выходя из отеля. — На что это похоже? Разве это дело? Что мы сделали? Эти допросы — сказки для малых ребят. — Слетов был возбужден. — Ты знаешь, как я говорил, так и есть, без Азефа Павел Иванович нуль, пустоцвет, ничто. Вместо дела — фраза, поза,

ничего больше. А сам, поверь мне, в Россию он на террор никогда не поедет.

— Почему ты думаешь?

— Разве ты не видишь, он изломан, изъезжен не революционной работой, а какими-то своими философиями, писаниями, вообще Достоевщина за пять копеек. Разве такой человек может стоять во главе террора? Потом, его жизнь? Он в Париже сорит деньгами направо, налево, скачки, рулетки, пьянства, говорят про какие-то умопомрачительные оргии.

— Да, ты прав, — тихо ответил Вноровский. — Гоц называл его «надломленной скрипкой Страдивариуса» и, кажется, теперь эта скрипка сломалась. А как его любил, как в него верил брат, Борис.

— Пусть сломался сам, но он втаптывает в грязь и кровь товарищей, в Петербурге случайно не захватили извозчиков, они еле ушли, «Ротмистр» определенно на подозрении. Что же, потому, что Павлу Ивановичу ни до чего нет дела, мы опять посылаем людей на виселицу? Это кабак! Это та же азефовщина только с другой стороны!

— ЦК договорился с ним на год, если в течение года ничего не сделает, теряет полномочия.

— Через год? А год партия должна сидеть в грязи, в которую повалил ее Азеф при помощи Чернова и Савинкова?

Вноровский не отвечал.

— Я никогда не думал, что Савинков может сломаться.

— Белоручка, — злобно проговорил Слетов. — Философия всякая, «всё позволено», то да сё, а люди гибнут.

12

Никакой надобности Анри Бинту не было следить за Савинковым в Лондоне. Лондонская конференция проходила под наблюдением двух сотрудников генерала Герасимова. Анри Бинт ждал Савинкова в Париже, и когда после лондонской конференции, в квартире на рю Лало 10 вспыхнул огонь, Бинт понял, что Савинков вернулся.

Но в доме следить тоже было незачем. Следила мадемуазель Фуше, получавшая 50 месячных франков, за рассказы о «мсье Лежнев», по паспорту которого жил Савинков.

Через два дня Бинт писал сводку наблюдений сыщика Дюрюи и своих: — «Сегодня 3-го ноября можно утвер-

ждать, что Савинков, он же Мальмберг, он же Лежнев, спал один. Вышел из дому в 1 час 35 минут дня. Одет в пальто черного драпа с бархатным воротником, в черном котелке, несет в левой руке портфель с отвернутой застежкой, лицо худое, длинное, усы стрижены по-американски. Общий вид: элегантен, но сильно постарел. Выйдя из квартиры, пошел следующей дорогой: — рю Перголез, Авеню дю Трокадеро, там в табачном магазине, на углу авеню де ля Гранд Арме, купил почтовые марки и, выйдя, опустил в ящик письмо. Постояв на авеню де ля Гранд Арме, повернулся и снова пошел на рю Перголез, где вошел в дом № 7 в нижний этаж к своему другу мсье Герье, 25 лет, поэту. Я следовал за ним на расстоянии тридцати шагов. У дома, где живет Герье, я ждал около часу. Из дома он вышел один. Остановился на улице и мне показалось, что замечает меня. Я подошел к окну магазина. Савинков двинулся в направлении авеню де Малакоф. Здесь он взял извозчика и поехал к Булонскому лесу. Я следовал за ним на извозчике до Рут д-Этуаль. Здесь Савинков вылез, расплатился с извозчиком и в течение нескольких часов ходил совершенно бессмысленно и бесцельно...

13

На рю Лало, в квартиру Савинкова вошел Моисеенко.

— В чем дело? — проговорил Савинков, понимая, что что-то случилось и прикрывая листом рукопись.

— «Ротмистр» застрелился.

— «Ротмистр»?

— Да.

— Когда?

— Вчера вечером.

— Где?

— У себя на квартире, в Медоне.

— Оставил письмо?

— Нет.

— Товарищи подозревали его в провокации.

— Да.

— Это могло его оскорбить.

— Могло быть, что он, как провокатор, боялся мести.

— И сам поспешил себя убить?

— Самому убивать себя легче.

Савинков задумался, потом, как-то неестественно улыбаясь, проговорил:

— Так. Переехали человека. Ну, что ж. Вечная память «Ротмистру». Еще крестом на дороге больше.

— Только на какой дороге?

— На нашей.

— Вам не жаль?

— Не умею жалеть. Глупое чувство деревенских баб. Чем больше близких падает, тем легче идти самому. У «Ротмистра» остались деньги?

— Пустяковые франки.

— Я дам денег. Его похоронит боевая организация.

Савинков замолчал. Молчал и Моисеенко. Когда он ушел, Савинков перечел написанное и стал писать дальше: — «Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь — борьба. Я не могу не бороться. Но во имя чего я борюсь — не знаю. Я так хочу. И я пью вино цельное».

14

— Ну да! Так что же он делает? Готовит центральный акт? А в чем же это состоит? В том, что в Питере три товарища поездили извозчиками и снялись. Ведь это же форменное безобразие! Это же возмутительно! Таких денег не тратил Азеф! Но тот, по крайней мере, дело делал. Нет, Марк Андреевич, Савинкову надо прямо поставить: — едешь на террор — получаешь деньги, едешь на скачки в Лонгшан — твое дело, не гневайся, батюшка. А то на сене лежу, сама не ем и другим не даю.

— Сама то положим ем, — засмеялся Натансон, — в этом то и горе.

— Страннее всего, — проговорил Рубанович, — что штаб Павла Ивановича всё время ездит по Европе. То в Париже, то в Ницце, то в Мюнхене, то в Берлине. Ведь это же стоит сумасшедших денег.

— Я спрашивал его, — печально перебил Зензинов, — говорит, принужден это делать, заметил слежку.

— Я всегда был против передачи Павлу Ивановичу боевого дела, — сказал Карпович. — Теперь сами убеждаетесь. Это граммофон Азефа. Ничего больше.

— Ну это, положим, вы чересчур. Дело Плеве, дело Сергея, Татарова.

— Татарова! Для таких дел не надо организационных

талантов. Дал Назарову нож и уехал. В деле Сергея работали Каляев и Моисеенко. А Плеве создал Азеф.

— Нет, товарищи, надо как-нибудь всё это вывернуть наизнанку. Коль работа, так работа. Коль нет, так и денег нет, — замахал руками Чернов, мигая круглым косым глазом. — Ведь он на прошлой неделе, понимаете, на царевубийство глухую ассигновку в 20 тысяч взял!

15

Но если б он даже знал, что консьержка дома, мадам Гато и вертлявая прислуга куплены полицией, возможно, что отнесся б к этому безразлично. Чадный дым наполнял душу. Когда ночью подошел к квартире, в темноте раздался голос Веры: — Бо-ря!

Он остановился. Он быстро вбежал. На мгновение показалось, что снова с детьми приехала Вера. И это мгновение было счастьем. Но в квартире — темнота, тишина. Спальня неубрана, на полу банки откупоренных консервов, поваленные бутылки, смятая постель и запах затхлости досказали воспоминания ночи.

«Галлюцинации», — пробормотал Савинков. — «Слышал совершенно отчетливо». Опустился в кресло, показалось, что может заплакать, потому что стремительно проносились вся разбитая и окровавленная жизнь.

На письменном столе не так лежат полученные письма. «Что за чорт, я кажется начинаю сходить с ума?».

— Жаннет! — крикнул он. — Что за безобразие, вы брали письма с моего стола?!

— Как вы можете так говорить, мсье!?

— Ступайте прочь!

— Я буду жаловаться.

Скалькированные копии писем шли уже в Петербург, в департамент полиции. Анри Бинт знал: — зверь сдастся без боя.

16

— О мон шер! — хлопал он по плечу своего друга, титулярного советника Мельникова, — кажется зверь скоро будет совсем ручным!

Титулярный советник Мельников, необычайно боявшийся террористов, недоверчиво качал головой. Но Бинт смеялся, тыкая в живот титулярного советника.

— Император с своими министрами может спать совершенно спокойно, мон шер! Мсье Савинков выдохся! О, если б вы только знали, какой кутеж был позавчера в Мулен Руж, а потом за старым базаром в третьесортном бистро, куда этот террорист ездит чуть ли не каждую ночь. Он влюбился там в кухаркину дочь, которая дает о нем самые пикантные сведения! Вы понимаете, здесь в Париже он — кончен. Il faisait la bombe, au lieu de faire les bombes. Да, да, мон шер, верьте моему опыту. Я пишу в Петербург рапорт, чтоб с него сняли всякую слежку.

Бинт прочел титулярному советнику Мельникову:

«Рапорт заведующего наружным наблюдением Анри Бинта заведующему заграничной агентурой департамента полиции.

Ваше превосходительство!

Мои наблюдения за шесть месяцев за главой террористов партии с. р. Борисом Савинковым, он же Мальмберг, он же Лежнев, дают повод осмелиться указать вам, ваше превосходительство, что дальнейшее наблюдение за этим бывшим террористом является по моему мнению только лишь обременительным. Если этот мсье был когда-то страшен вашему правительству и угрожал жизни монарха, то милостью Божьей можно считать эту опасность миновавшей. Вы писали, что считаете его одним из самых опасных и отважных террористов. Веря мнению вашего превосходительства, полагаю, что вы основывались на бывшей деятельности этого господина. Будучи директором бюро наружного наблюдения, согласно вашей просьбе в продолжении шести месяцев я установил неотступную слежку за ним, так как вы просили меня не терять его из виду, чтобы он не появился внезапно в России и не произвел бы там террористического акта. Наблюдение за мсье Савинковым было поставлено более чем тщательно. Он был окружен в Париже всецело нашими людьми. Во всех квартирах консьержки домов были куплены нами, если они не состояли на нашей службе. Через консьержек нами покупалась прислуга, служившая у мсье Савинкова, через которую и доставлялись мной вашему превосходительству калькированные копии писем к Савинкову его друзей (Бурцев, Бунаков, Плеханов, Моисеенко, Сомова и других). По прошествии столь значительного времени я могу сейчас с чистой совестью сказать

вашему превосходительству о результате моих наблюдений. Мсье Савинков производит на меня впечатление «выдохшегося террориста» и «выдохшегося революционера». Это ужасный кутила, ваше превосходительство. Ужасный посеиг, вы даже не представляете его образа жизни и его кутежи в Париже. Они обычно начинаются с лучших ресторанов нашего прекрасного города и кончаются низкопробными кварталами, где этот террорист продолжает кутить вместе с отбросами общества и человечества, наводя, быть может, террор на них. Уверяю вас, ваше превосходительство, что мсье Савинков уж более не террорист, поверьте моему тридцатилетнему опыту, я знаю революционеров и скажу, что опасные из них не могут вести такого образа жизни. Il faisait la bombe, au lieu de faire les bombes. Женщины без конца! Если вы разрешите мне, ваше превосходительство, некоторую вольность, то я дам хотя бы такой характерный штрих из жизни мсье Савинкова, который может вам сказать о его образе жизни с одной стороны и тщательности нашего наблюдения с другой. Купленная нами его последняя прислуга на рю Лало 10 позавчера ночью устроила так, что я лично мог наблюдать через стекло (верхнее оконце) происходившую в квартире оргию. Были три женщины и он. — Все были в костюме Адама и Евы. Моя скромность не позволяет, ваше превосходительство, изложить вашему превосходительству дальнейшее, чему я был лично своими глазами свидетель. Но позволяю себе еще раз указать на вполне возможное снятие слежки с этого бывшего террориста, а ныне кутилы. Слежка за ним, как вы видите из предыдущих донесений и представленных мной счетов чрезвычайно дорога. Он постоянно меняет места, едет то в Ниццу, то в Сан-Ремо, то в Монте-Карло, то в Мюнхен, то месяцами кутит в Париже по ресторанам, притонам и кабакам. Им заняты помимо меня лично еще три чиновника. И все данные наблюдения говорят только о кабаках и женщинах. Мне известно даже доподлинно, что его товарищи стали чуждаться и сторониться. Против него в партии растет недовольство. Полагая, что вы вполне согласитесь со мной, ваше превосходительство, в ожидании вашего распоряжения

преданный вам
заведующий наружным наблюдением Анри Бинт».

В ЦК царило полное возмущение. В квартире Чернова кричали Рубанович, Натансон, Чернов, Слетов, Зензинов.

— Это решительно ни на что непохоже! — доказательно тряс обеими руками Зензинов. — Мы сидим в тупике, Павел Иванович должен был вывести партию на путь террора, поднять престиж, а вместо этого даже тогда, когда... чорт знает что! Мы сговорились, чтобы он ждал нас в Ницце. Привезли из России данные, которые он просил. Он хотел выехать тут же с тремя товарищами в Россию, так, по крайней мере, писал нам, и вот вчера я получаю телеграмму, что он приезжает в Париж. Встречаемся, я думаю, сейчас договоримся, а Павел Иванович вместо разговора смотрит на часы и сообщает, что ему надо ехать. Я спрашиваю — куда? Он говорит: — на скачки в Лонгшан, сегодня дерби. Говорю, это не по товарищески, это невозможно в отношении организации, мы приехали из России, мы ведь договорились, наконец его знают в Париже, за ним идет слежка по пятам, на скачках за ним будут, конечно, следить, мне передавали — филеры его не спускают с глаз. Он заявляет, что это пустяки, завтра мы сможем обо всем потолковать. Я ставлю на очередь вопрос...

Заломив руки за спину, Чернов ходил из угла в угол в предельном бешенстве.

— Да чего тут скрывать, товарищи! — закричал он вдруг. — Павел Иванович проиграл деньги боевой организации в Монте-Карло в рулетку!

— Что?!! — закричало несколько голосов.

— Проиграл три четверти кассы!

— Лопнула скрипка Страдивариуса...

— Если это была когда-нибудь скрипка, а не втора третьего сорта!

— Но ничего нельзя поделывать! С ним договор у ЦК! Надо настоять, чтоб он ехал в Россию.

— При таком состоянии Павла Ивановича, кроме провала в России ничего не выйдет.

— Ну, так что же?! — Ну, так как же?! — Ну, так что же вы предлагаете?!

— Немедленно расторгнуть договор ЦК с Павлом Ивановичем и распустить его боевую организацию.

Эта ночь была тяжелая и туманная. Мелкой, теплой сеткой накрапывал весенний дождь. Улицы горели желтыми пятнами огней. Поднимался дымный туман от мутной Сены. Змеями колебались огни. Савинков шел, ударяя тростью в плиты. Он был в котелке, в черном пальто с поднятым воротником. Алкоголь давал телу и воле фальшивую силу. Савинков находу коротко рассмеялся, думая, что если б нашлась вместительная петля, хорошо бы было повесить всё человечество.

Савинков находу думал о том, о чем всегда думал, когда оставался один, — об Азефе. Он знал, как страшно уничтожил его Азеф...

Питерсхэм (Массачузетс) — Нью-Йорк 1958

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОСТ» ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

Роман Гуль ОДВУКОНЬ

СОВЕТСКАЯ И ЭМИГРАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Содержание: — От автора. — Читая «Август 14-го» А. Солженицына. — Цветаева и ее проза. — Победа Пастернака. — Георгий Иванов. — О творчестве А. Белого. — Об Илье Эренбурге. — Поэзия нарциссизма (Вл. Ходасевич). — А. Солженицын и соцреализм. — Книга Светланы. — Светлана и неандерталы. — О прозе Л. Ржевского. — Двадцать пять лет «Нового Журнала». — Сотая книга. — «Дунька» и Коряков. — Юлий Марголин. — Об инсинуации и русофобии. — Идея свободы — в русском народе. — Писатель и цензура в СССР.

Заметки о книгах: Ахматовой, Булгакова, Адамовича, Дунинцева, Вейдле, Окуджавы, Мочульского, А. Терц, Одоевцевой, Клюева, свящ. Ельчанинова. Кузнецовой, Чиннова, Цветаевой, Седых, Буниной, Краснова, гр. Зубова, Нарокова, кн. Щербатова, Космана, Бертенсона, Берберовой.

В книге 320 стр. Цена книги — 6 долл.

Книгопродавцам обычная скидка.

Заказы направлять: по адресу «Нового Журнала»
и во все русские книжные магазины.



Роман Гуль, Париж, 1936 г.